

→ | Владимир МАКСИМОВ



Владимир МАКСИМОВ

Владимир

МАКСИМОВ

7

Владимир
МАКСИМОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Владимир МАКСИМОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ



«ТЕРРА» - «TERRA»

МОСКВА 1993

Владимир МАКСИМОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ СЕДЬМОЙ

ЗАГЛЯНУТЬ
В БЕЗДНУ

РОМАН

КАК В САДУ
ПРИ ДОЛИНЕ

МАЛЕНЬКАЯ
ПОВЕСТЬ



«ТЕРРА» - «TERRA»
МОСКВА 1993

**ББК 84Р7
М17**

Художник И. Сайко

Максимов В.Е.

М17 **Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7: Заглянуть в бездну:**
Роман. Как в саду при долине: Маленькая повесть. —
М.: ТЕРРА, 1993. — 272 с.

ISBN 5-85255-036-1 (т. 7)
ISBN 5-85255-038-8

М $\frac{4702010201-048}{А30(03)-93}$ **Подписное**

ББК 84Р7

ISBN 5-85255-036-1 (т. 7)
ISBN 5-85255-038-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1993

***«Все свершилось не по воле Наполеона,
не Александра Первого, не Кутузова,
а по воле Божьей»***

Лев Толстой

ЗАГЛЯНУТЬ В БЕЗДНУ

Роман

Глава первая

АДМИРАЛ

I

В гулком омуте дворцового колодца кружились белые мухи зацветающих тополей. В косых лучах уходящего за ближние крыши солнца цветы в палисаднике, казалось, тоже плыли куда-то наподобие пестрой армады утлых суденышек. Со двора, в распахнутые настезь окна, тянуло травяным дурманом, прелью остывающей земли и застоявшейся кухней.

Оттуда, из-за крыши соседнего, выходящего лицевой стороной на проезжую улицу дома, время от времени выплескивался автомобильный гул или паровозная переключка с дымившей поблизости товарной станции.

В комнате было сухо и сумрачно. В тишине, которую изредка перечеркивало мушиным зуммером, ее собственный голос слышался ей самой чужим, врывающимся в окна откуда-то со стороны.

Эту историю она рассказывала себе всю жизнь с того дня, когда ружейный залп над февральской Ангарой проставил в конце этой истории свое нестройное многоточие. С годами рассказ расцветчивался все новыми и новыми подробностями, возникавшими всегда внезапно, но тут же обраставшими плотью и явью реальных фактов, как бы случившихся когда-то в действительности.

Эта история тянулась за ней, как нитка за иголкой, через Иркутский централ, Бутырки, Забайкалье, Караганду, Енисейск, Рыбинск и Тарусу в этот московский двор на городской окраине, где время замкнуло вокруг нее свой заколдованный круг. И окончательно остановилось. У этой истории уже не было ни начала, ни конца, а оставалась замкнутая на самое

себя бесконечность, единственным выходом из которой было бы полное растворение в ней, смерть, небытие.

Когда это случилось? И случилось ли это вообще? А может быть, это давний сон или госпитальный бред, не отпускающий ее до сих пор, что, однажды провалившись в нее, сам сделался пленником своей жертвы?

Но если это так, то откуда же тогда сквозь тополиный пух майского дня тянуло на нее сейчас зябким холодком февральской поземки, посвистывающей над ледяным панцирем Ангары?

Было это, было, и никуда от этого не денешься!

2

— Я увидела его, деточка, в тот год, когда мир рассыпался в прах и невзнузданные лошади металась по земле как угорелые. Жизнь, словно линяющая змея, сбрасывала с себя одряхлевшую оболочку, являя человеку свой новый и легко ранимый лик. Он стоял, печальный и бледный, среди всеобщей разрухи, и не было вокруг ни одной души, способной понять его или ему помочь. Священные развалины дымились под ним, страна кабаков и пророков с надеждой обращала к нему пустые глазницы поверженных храмов, и даль клубилась меж копытами разбойничьих табунов. Он был, как новый Адам после светопреставления, сорокалетний Адам в поношенном адмиральском сюртуке с пятнышком Георгиевского крестика ниже левого плеча. У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России. Теперь им пугают детей, изображают исчадием ада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель. На своем долгом веку я не встречала человека более простого и уживчивого. Он был рожден для любви и науки, но судьба взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской власти и ответственность за будущее опустошенной родины. Стоило мне лишь увидеть его, деточка, как сердце мое безошибочно определило: он! Тот самый, которого я ждала с первых дней своего девичьего сознания и о котором никогда не переставала думать. До него, до встречи с ним меня еще, собственно, не существовало, я была только внешней оболочкой для той души, какую Господь предназначил создать из его ребра. Лишь познав его, я увидела и услышала себя как

женщину и человека. Он тихо сказал мне: «Пойдем со мной». И я пошла за ним, не ведая сожалений и страха. Пошла, благословляя судьбу за выпавшее на мою долю. Друг ты мой, свет единственный, свеча моя заветная, Сашенька, Александр Васильевич, страшно подумать, коли бы мы не встретились! Помнишь ту ночь нашу в Омске, когда все еще только начиналось? Помнишь, ты сказал мне: «Умереть бы нам вместе, Аннушка!» А потом: «Нет, нет — лучше я один, а ты живи, ты должна жить!» Помню, я плакала от любви и благодарности к тебе и все твердила, целуя тебя и задыхаясь: «Только вместе, Сашенька, только вместе, чтобы и там вместе». Сколько было потом у нас ночей и дней среди огня и крови великого потопа! Я знала, что не обманусь в нем, но он оказался много лучше моих самых радужных предположений. В содоме всеобщего помешательства он сумел сохранить в себе все, чем щедро одарила его природа: тонкость и великодушие, прямоту и мужество, бескорыстие и душевную целомудренность. Вокруг него вилоь множество человеческих теней, в которые он пытался вдохнуть живую жизнь, облечь их в плоть и кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом, — он лишь тратил попусту время. Вызванные к действию злобой и демагогией, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучивались на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму достался не тот материал, из которого создают миры. Печальный и одинокий, сидел он в затемненном вагоне, невидяще глядя перед собой. Когда же надежда окончательно оставила его, он бросился в спасительное забытье любви. Мы впервые остались с ним по-настоящему вдвоем. Я молю Бога, деточка, чтобы ты хоть однажды испытала, что это такое. Гибли народы, источались государства, стон и плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце и пели певчие птицы, вишневый дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы, и языческие кифаристы оглашали окрест негой и сладострастием. «Аннушка, — шептал он мне, — прости меня». — «За что! — отзывалась я. — За что, Саша!». — «Я не смог сделать тебя счастливой». — «Ты дал мне все, о чем я могла только мечтать». — «Но ты достойна лучшего». — «Я хочу быть достойной одного тебя». Я не помню, не хочу помнить, сколько это продолжалось, во мне тогда остановилось время и отсчет яви перестал существовать. Что же это были за дни, деточка, что за ночи, если их хватило на пятьдесят лет, чтобы не думать ни о ком, кроме него. Да, да, деточка, верите вы или нет, но я уже больше никому не отдала ни себя, ни своего

сердца. Я сдержала слово, я умерла вместе с ним в ту же минуту, как только ледяная вода сомкнулась над ним. Пятьдесят с лишним лет лагерей, тюрем и частной жизни я лишь влачила здесь свое брненное тело по воле Господа. Его предали подло и унижительно, предали за кучку золота, предали люди, которым он безоглядно доверился. Что ж, мать городов славянских, златоглавая Прага, теперь ты пожинаешь плоды своего тогдашнего предательства. Пусть же помнят правители и народы, какой ценой расплачиваются потомки за их легкомысленный флирт с дьяволом! Нет, он не сказал на допросах ничего, что смогло бы повредить мне. Он отрицал нашу связь, наш союз, он отрекался от нашей любви, от наших клятв и обязательств — во имя моего спасения. Адам предавал свою Еву ради ее же блага. Но я не могла, не имела права принять от него подобного дара. Я пошла к ним сама. Я просила одного: смерти рядом с ним. Но даже в их глазах я не заслуживала этого, слишком большой для меня казалась им эта честь, таким недосыгаемо высоким они его видели. Говорят, он вел себя до конца как подобает мужчине и офицеру. Говорят, чекистов в нем покоряло его ровное спокойствие в течение всего следствия, его благородство по отношению к своим бывшим сотрудникам, вину которых он полностью брал на себя. Говорят, единственным занятием его в перерывах между допросами была молитва. Всю жизнь, деточка, он был верен Богу и, как видите, в час испытаний не отрекся от своей веры, наподобие Иова, а принял их со смирением и молитвой. Я не сужу его убийц, они не ведали тогда, что творили, всем им впоследствии пришлось испить ту же чашу. До сих пор мне непонятно только одно: зачем им понадобилось скрыть от меня его последнюю записку ко мне, какую опасность она для них представляла, что могла изменить? Где мера этой непонятной черствости, этой душевной глухоты, этого нравственного падения? Но есть, есть Божий суд, через столько лет, сквозь войны и мятежи, версты и голодовки, безвременье и перемены его зов, его последнее «прости» все же дошло до меня, а значит — так было угодно Всевышнему. Я знала, что, идя на смерть, он улыбался. Я знала, что в роковую минуту он повернулся лицом к своей гибели. Я знала, что перед расстрелом он пел мой любимый романс, но я никогда не осмеливалась думать, что он пел его для меня, для меня одной... Господи, чем оплачу я Тебе за Твою безмерную милость!.. Саша, Сашенька, Александр свет Васильевич!.. Было это, конечно, было, хотя намного короче и проще.

В лунной ночи за обрешеченным окном потрескивала лютая стужа. В камере давно не топились, и, кутаясь в шубу, Адмирал пытался уснуть, но сон не шел к нему, оставляя его наедине с собой и своей памятью. Дни тянулись удручающе медленно, скрашенные только сумбурными, похожими скорее на собеседования допросами. Остальное время он был предоставлен самому себе, чем пользовался, чтобы еще и еще раз мысленно прокрутить события последних лет, взвесить все «за» и «против» вчерашних решений и поступков, отдать отчет хотя бы собственной совести: есть ли за ним вина во всем, уже случившемся?

Адмирал заранее знал, что его ждет в ближайшие дни, если не часы. С самого начала он обрек себя на это сознательно. У обстоятельств, сложившихся к тому времени в России, другого исхода и не было, как не было исхода у всякого смельчака, вздумавшего бы остановить лавину на самой ее быстрине. И все же, как теперь думалось ему, возможность задержать или смягчить окончательный обвал у него оставалась, стоило ему только принять предложенные противником законы «игры без правил», что, может быть, если и не изменило бы результаты, то сохранило бы многие, преданные ему жизни, правда, за счет чужих и тоже многих. И хотя, конечно же, в его окружении многие не гнушались невинной крови и чужого добра, в слепой разнузданности такой войны, порождавшей взаимную ненависть, слабые быстро теряли голову, сам он, даже в минуты полного отчаяния, так и не смог преступить черты, которая отделяла его от мира, заложенного в нем с молоком матери, от своих идеалов и ценностей.

В первые дни после выдачи Адмирал нашел атмосферу в здешней тюрьме почти патриархальной. Надзиратель Андрей, добродушный дядька из старых тюремных служаек, относился к важному новичку даже с известным подобострастием, памятуя, видно, мудрое правило осторожной жизни: нынче князь, завтра — в грязь, а послезавтра опять в чести.

Заглядывая в камеру, он по обыкновению мешковато, но старательно вытягивался, начиная всегда одним и тем же:

— Морозит, ваше превосходительство, мочи нету, сопля слету мерзнет, собаку зашибить можно.

И лишь после этого, смущенно потоптавшись, выуживал из-под заношенной шинели то записочку от Аннет или Алмазовой, сидевших где-то в соседних камерах, а то — от них же! —

какое-либо съедобное подспорье: тюремный рацион не отличался особым разнообразием, если не сказать больше.

То, что она все эти дни содержалась совсем рядом, и их мимолетные встречи на прогулках в тюремном дворе, облегчало ему собственное заключение, но одновременно он изнуряюще терзался своей виной за ее сегодняшнее положение и будущую участь. И хотя его не оставляла надежда, что тюремщики не решатся, не осмелятся расправиться с нею наравне с ним, он не переставал бояться за нее: слишком вызывающе вела она себя при аресте.

О, как ему хотелось бы, чтобы она оказалась сейчас там же, где спасалась теперь его семья, или же в другом, более безопасном месте, тогда бы он ушел из жизни со счастливым сердцем.

«Только бы ее миновала чаша сия, — иступленно молился он про себя, — смилуйся, Господи, над несчастной рабой твоей Анной!»

Когда в одной из последних записок Аннет сообщила ему, что части Каппеля уже на подступах к Иркутску, на него впервые пахнуло дыханием близкого конца; комитетчики, которых теперь полностью контролировали большевики, в случае успеха каппелевцев не оставят его победителям живым. Но несмотря на это, он страстно желал им такого успеха: если уж ему все равно суждено умереть, он предпочитал умереть с праздничной уверенностью, что еще не побежден.

Ему вдруг пригрезился его давний дрейф на утлом вельботе сквозь ледяное крошево Северной губы в поисках экспедиции барона Толя. Ведь и тогда он если не наверняка знал, то чувствовал, что Толь и его люди погибли, должны были погибнуть, столько месяцев не имея в запасе ни продовольствия, ни средств передвижения; их могло спасти только чудо, но, как и в начале теперешнего пути, он и в том своем упорстве надеялся на это чудо, которого, конечно же, не случилось, и все же ему никогда не пришлось пожалеть о первоначально принятом решении: не пуститься тогда на поиски означало для него зачеркнуть самого себя или до конца дней отдаться на растерзание собственной совести.

Адмирал очнулся от скрежета ключа в замочной скважине камерной двери. И по настойчивой вкрадчивости этого скрежета он, с мгновенно холодеющим сердцем, догадался, что пришли за ним и — в последний раз.

После первого ледяного ожога все в нем словно бы одеревенело и внутренне замкнулось в немотной отрешенности. Он

рывком поднялся навстречу неизбежному и замер посреди камеры: «Господи, — четко отпечаталось в его мозгу, — укрепи душу раба своего Александра!»

Гости с керосиновыми фонарями в руках молча сгрудились тесным полукругом по ту сторону дверного проема, чуть ли не вытолкнув впереди себя единственного знакомого ему из них в лицо по недавним допросам — чекиста Чудновского, который, едва перешагнув через порог, так и остался стоять на том месте, куда его вытолкнули, и оттуда же, подсвеченный сзади зыбучим фонарным пламенем, принялся зачитывать Адмиралу постановление Иркутского ревкома.

Слова выговаривал, будто от кого-то отругивался, зло, отрывисто, с вызовом, на Адмирала не глядел, ожесточенными глазами близоруко сверлил бумагу перед собой, и трудно было понять, на кого он больше сердится: на себя или на осужденного.

Выслушав приговор, Адмирал, скорее чтобы разрядить возникшую напряженность, чем недоумевая, спросил:

— Значит, суда не будет?

Чудновский только нетерпеливо пожал плечами, уступая ему дорогу наружу, и вышел за ним следом в такой близости, что Адмирал ощущал его взбудораженное дыхание у себя на затылке.

Так они и проследовали друг за другом в окружении молчаливого конвоя до самой тюремной конторы, куда вскоре доставили Переляева.

Бывший премьер, видимо, уже находился в полной страсти. Тяжелая коренастая фигура его заметно съежилась и обмякла, и без того тусклые глазки еще более провалились, превратившись в едва мерцавшие мертвенным блеском в сером блине бесформенного лица бусины, в синюшных губах едва слышно складывалось молитвенное бормотание:

— ... яко видетса очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицом всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля...

Брезгливо поморщившись в его сторону, Чудновский резко вскинулся на Адмирала:

— Есть ли у вас просьбы, Адмирал?

— Могу ли я попроситься с госпожой Тимиревой?

— Нет, — отказывать ему, быть может, и не доставляло радости, но властью своей он упивался. — Еще что?

— Тогда я прошу передать моей жене, которая живет в

Париже, что я благословляю своего сына, а для себя — закурить.

— Если не забуду, то сообщу, а курить — курите.

— Благодарю...

Памятью Адмирал жил еще в том мире, где перед смертью допускалось просить с кем-то свидания или кого-то напутствовать и — что самое удивительное! — получать на это разрешение, но ему дано было лишь предчувствовать, а не знать наверное, что на смену этому миру отныне пришел другой, где людям в его положении уже не с кем будет прощаться и некого благословлять.

А Чудновский тем временем в упор подступился к Пепеляеву:

— Что у вас, только не размазывайте?

Тот словно бы внезапно очнулся от забытья, вздрогнул и, порывшись под полой полушубка, извлек оттуда и протянул Чудновскому сложенный вчетверо листок бумаги.

— Что это? — скривился Чудновский.

— Записка матери, — еле выговорил Пепеляев и добавил с усилием, умоляюще: — Пожалуйста.

— А! — отмахнулся от него тот, небрежно ткнул протянутый ему листок в карман шинели, повернулся к конвою: — Выводите!

В неверном свете керосиновых ламп лица двинувшихся к Адмиралу конвойных вдруг обозначились перед ним резче и определеннее. И он не почувствовал в них ни вызова, ни злобы, одно только тревожное любопытство, окрашенное некоторой настороженностью, словно они все еще ожидали от него какой-нибудь выходки или окрика.

И только один из них — из-под офицерской, не по размеру, папахи тюленьи глаза над пуговкой вздернутого носа, — пропуская его вперед, злорадно ослабил:

— Отвоевался, вашество...

«Господи, — шагнул мимо него Адмирал, — они даже шутить уже разучились по-человечески!»

В безветренной ночи скрип наста под ногами казался почти оглушительным. Сквозь едва подсиненную черноту вокруг все воспринималось резче, выпуклей, объемней, чем обычно. Студеный воздух, обжигая легкие, впервые не забивал дыхание, а клубился под сердцем пьяняще и освежающе. На фиолетовом снегу, заштрихованном размашистым углем соснового подлеска, человеческие тени выглядели до неправдоподобности огромными. Душа жила уже сама по

себе, воспринимая окружающее как бы сверху или со стороны.

Пепеляевское бормотание за спиной только обостряло в Адмирале это ощущение все нарастающей в нем отстраненности от всего окружающего:

— ... Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков...

Дорога круто взяла на подъем. Зыбкий свет фонарей выхватил из темноты куцые флотилии торчавших из-под снега в морозной наледи могильных крестов, сразу же за которыми маячило черное полотнище сплошного леса, а над ним, этим полотнищем, плыла навстречу идущим, будто знамение, знак, тавро их судьбы, одинокая, но торжествующая звезда. Его звезда.

Подъем выравнивался на излет, когда сбоку, совсем рядом с Адмиралом, прозвучала надсадная команда Чудновского.

— Здесь, — выплюнул он в ночь. — Конвою развернуться в каре. — И уже пристраиваясь в затылок обреченным: — Пройдите вперед!

Пепеляевское бормотание за спиной Адмирала сделалось громче и надрывнее:

— ... Крестителю крестов, всех нас помяни, да избавимся от беззаконий наших: Тебе бо дадётся благодать молиться за ны...

Через несколько шагов Чудновский тихо выдохнул сзади:

— Достаточно. Встаньте рядом, — и, приблизившись вплотную к Адмиралу, впервые за все это время прямо взглянул ему в лицо. — Если у вас есть платок, адмирал, вам завяжут глаза.

— Платок у меня, разумеется, есть, — он откровенно издевался над собеседником, намеренно подчеркивал это самое «разумеется». — Но завязывать мне глаза не обязательно. Возьмите его себе на память, только осторожнее, в нем зашит яд — может, он когда-нибудь вам пригодится.

Ожесточение в бессонных зрачках Чудновского вдруг схлынуло, острое лицо устало осунулось, в голосе уже не оставалось ничего, кроме обычного житейского не до ума не и я :

— Что же вы не воспользовались этим сами, адмирал?

— Вы безбожник, уважаемый, для вас это будет легче.

— Думаю, что мне это едва ли пригодится.

— Кто знает, уважаемый, кто знает, не зарекайтесь.

(Ты вспомнишь его слова, Чудновский, вспомнишь, когда поволокут тебя сопящие от азарта «молотобойцы»* по лест-

*Молотобойцы — заплечных дел мастера (чекистский жаргон).

ничным пролетам внутренней тюрьмы в ее расстрельный подвал, но не окажется у тебя в те испепеляющие минуты спасительного адмиральского платка, ибо мир, созданный тобой вместе с твоими единомышленниками, зачислит носовые платки заключенных в разряд смертоносного оружия мировой буржуазии!)

— Под твое благоутробие прибегаем, — пепеляевский голос опадал, словно скисшее тесто: — Богородице, моления наша не призри во обстоянии, но от бед избави ны, едина Чистая, едино Благословенная...

Адмирал попробовал было напоследок пробиться к слуху своего напарника:

— Может, простимся, Виктор Николаевич, по-христиански?

— Душе, покайся прежде исхода твоего, суд неумытен грешным есть, и нестерпимы возопий Господу во умилении сердца: согревших Ты в ведении и в неведении, щедрый, молитвами Богородицы, удщери и спаси мя...

Пепеляев, видно, находился уже по другую сторону сознания.

В медленно удаляющихся шагах Чудновского чувствовалась грузная тяжесть, и — окажись у Адмирала возможность взглянуть сейчас тому в лицо — он мог бы поклясться, что торжество над поверженным врагом не принесло победителю ни радости, ни облегчения.

— На изготовку! — коротко выплеснулось из темноты, почти одновременно с грянувшим где-то вдалеке пушечным выстрелом. — Пли!

Странно, но Адмирал не услышал выстрела и не почувствовал боли. Только что-то мгновенно треснуло и надломилось в нем, а сразу вслед за этим возник уходящий вдаль винтообразный коридор со слепящим, но в то же время празднично умиротворяющим светом в конце, увлекая его к этому свету, и, осиянный оттуда встречной волной, он радостно и освобожденно растворился в ней.

Последнее, что он отметил своей земной памятью, было распростертое на синем снегу его собственное тело, вдруг ставшее для него чужим.

4

Ленин — Склянскому:

«Пошлите Смирнову (РВС 5) шифровку: (шифром). Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте

ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Бепетесь ли сделать архинадежно?»

Из рассказа безымянного чекиста, служившего в охране Ленина в Горках:

«Откровенно говоря, не жаловал я ночного дежурства. Бывало, ближе к ночи, особенно когда луна, топчешься вокруг дома, а с терраски вдруг тоненько-тоненько так вой доносится, аж дрожь по коже. Это, как уже потом узналось, вождя нашего на эту терраску вывозили чистым воздухом подышать, помирать не хотелось, а кому, скажи на милость, хочется?..»

О Э.М. Склянском:

«В 1924 году снят с поста заместителя председателя Реввоенсовета Республики, отправлен в США и уже там, спустя год, согласно достаточно надежным свидетельствам, утоплен чекистами в одном из многочисленных американских озер».

Смирнов — Ленину и Троцкому:

«В Иркутске власть безболезненно перешла к Комитету коммунистов... Сегодня ночью дал по радио приказ Иркутскому штабу коммунистов (с курьером подтвердил его), чтобы Колчака в случае опасности вывезли на север от Иркутска, если не удастся спасти его от чехов, то расстрелять в тюрьме».

Он же исполкому Иркутского совета:

«Ввиду движения каппелевских отрядов на Иркутск и неустойчивого положения Советской власти в Иркутске, настоящим приказываю вам находящихся в заключении у вас адмирала Колчака, председателя совета министров Пепеляева с получением сего немедленно расстрелять. Об исполнении доложить».

Из книги Роберта Конквеста «Большой террор»:

«Смирнов ничего не знал об аресте своей семьи и принял это просто как отвратительную угрозу со стороны следователя. Но вскоре, по дороге на допрос, он увидел свою дочь в другом конце коридора, причем ее держали двое охранников. Что случилось с дочерью Смирнова, так и неизвестно. Ее мать содержалась в женской командировке Кочмас-Воркутинского лагеря, где она узнала от родственников, что ее

дочь все еще в тюрьме. Впоследствии жену Смирнова отправили на кирпичный завод Воркуты, где в марте-апреле 1938 года она была расстреляна в числе других «нежелательных».

Оттуда же — последние слова Ивана Смирнова перед казнью в 1936 году:

«Мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде».

Сообщение о Троцком:

«20 августа 1940 года во второй половине дня советский агент Рамон Меркадер принес Троцкому, якобы для ознакомления, свою статью (о возникшей тогда в троцкистских кругах полемике) и, когда тот просматривал ее, нанес ему смертельный удар по голове скрытым под плащом альпинистским ледорубом».

Вот так, господа хорошие, вот так!

5

Воздух в городе казался насквозь промасленным. С утра до вечера вентилятор прокручивал этот удушающий замес жары и влаги, но не приносил ни прохлады, ни облегчения. В такую погоду каждую минуту хотелось лечь пластом на пол, не дыша, не слыша ничего вокруг и ни с кем не разговаривая. Только бездомные искатели счастья, которым некогда было задумываться над завтрашним днем, могли выбрать для своей столицы столь неподходящее место.

За несколько месяцев здешней колготни Адмирал так и не привык к этой стране и ее людям. Правда, из них он чаще всего встречался с военными или чиновниками, реже — со светской публикой, на поездки вглубь территории и на другие встречи у него просто не оставалось времени, и все же общее впечатление об их национальном характере у него сложилось довольно определенное.

При всей их внешней простоте и раскованности почти в каждом из них ощущался жесткий холодок, отделявший, наподобие некоего панциря, их внешнюю жизнь от внутренней. Поэтому слова, улыбки, жесты, обволакивающее радужие служили им как бы атрибутами для общения с окружающей средой, не выявляя при этом ни их подлинной сущности, ни настоящих намерений.

Удивительным и непонятным в них было также сочетание всеразьедающего скепсиса с болезненным снобизмом. Не испытывая, казалось бы, особой почтительности ни к кому и ни

к чему на свете, аборигены в то же время не умели скрыть своего благоговения перед разного рода знаками, чинами, званиями — благоговения, свойственного в России разве лишь исправникам и околоточным где-нибудь в глубокой тмутаракани. По количеству различного калибра «президентов», «полковников» и «командоров», стаями рыскавших по бюрократическим кабинетам столицы, на душу населения эта страна давно обогнала все жившие когда-либо и здравствующие ныне цивилизации.

Панибратски похлопывая по плечу всякого встречного-поперечного и «тыкаясь» со всеми напрапалую, каждый из них тем не менее с обидчивой зоркостью следил за соблюдением субординации, строжайшим образом сообразуя свою развязную фамильярность с существующей в обществе табелью о рангах.

У каждого сословия здесь существовала если не в полном смысле своя униформа, то нечто сугубо характерное в одежде, что отличало его от всех прочих сословий, поэтому на улицах каждый заезжий чужак мог безошибочно отличить конторского клерка от государственного служащего, политического босса от промышленного воротилы, университетского профессора от журналиста, а здешние парады и празднества отличались такой мишурой и помпезностью, будто заранее задавались целью доказать свое неоспоримое первородство перед любыми претензиями Старого Света на этот счет.

Их страсть к критике по любому поводу поначалу ошеломляла своей широтой и свободомыслием. Беспощадному аглизу и осуждению подвергалось вся и все, невзирая на значимость явления, уровень круга или положение лица, но — странное дело! — с течением времени Адмирал стал отмечать, что ни разу в его присутствии никто не осмелился возразить своему прямому начальнику, без чего, к примеру, в куда более консервативном русском Морском штабе не обходилось ни одно сколько-нибудь важное совещание.

В частных же разговорах дело обстояло еще своеобразнее. Свободомыслие собеседника простиралось обычно лишь до пределов, узаконенных в его кругу табу. Оспаривать общепринятые этим его кругом истины считалось предосудительным и рассматривалось как плохой тон и неумение вести себя в обществе. Если же несведущий новичок все же пытался отстаивать собственное мнение, воспринимающий аппарат визави тут же отключался навсегда, вычеркивая смельчака из сферы своего внимания и интересов. О, как эти недавние потомки

авантюристов и конкистадоров подсознательно жаждали, чтобы у них все выглядело «как у людей», тем самым ежедневно и ежечасно благодатно унавоживая почву для своего многоликого конформизма наизнанку.

Но что действительно восхищало его в Новом Свете, так это организация дела. Здесь всякий знал свое место и целиком ему соответствовал. Любая работа делилась обычно на множество частных операций, каждая из которых в отдельности казалась пустяковой и не требующей от исполнителя особых знаний или квалификации, но, слитые воедино целенаправленным процессом, они порождали богатство, возмещавшее исполнителям их дремучую провинциальность.

Они чем-то походили на больших детей и, разумеется, как всякие дети, считали себя умнее, дальновиднее и справедливее других на земле и выглядели даже трогательно в этой своей наивной уверенности, хотя наживали себе таким образом в нашем не лучшем из миров множество недругов и еще больше хлопот.

Слов нет, они были также великодушны, и незлопамятны, и отзывчивы на чужую беду, но стоило этим прекрасным качествам принять организационные формы, как героическими усилиями прожорливой армии дармоедов, кормившихся около государственной и международной благотворительности, добро их превращалось в свою полную противоположность. В результате забавно было наблюдать их искреннее недоумение перед той неблагодарностью, доходящей порой до слепой ненависти, с которой относились к ним облагодетельствованные народы.

Вот это ощущение собственной мощи и одновременно боязливой неуверенности в себе, присущей всяким неопитам новой цивилизации, замешанное на своеволии первооткрывателей и всех порочных предрассудках, вывезенных ими из Старого Света, и создало, по мнению Адмирала, сплав какого-то абсолютно неповторимого национального характера, способного в своей потенции и обновить, и погубить мир.

Опасность здесь, как думалось ему, таилась в роковом несоответствии распухающей, словно тесто на добротных дрожжах, этой самой цивилизации и ее духовного содержания. Процесс технического развития всходил так беспорядочно и резко, что культура, по самой своей умеренно поступательной сути, просто была не в состоянии угнаться за ним, порождая подчас вопиющие противоречия между повседневным бытом и мыслью, когда человек, занятый в этом процессе, зачастую

не имел никаких, хотя бы приблизительных общих знаний или элементарных понятий об этике и морали.

В России все, казалось бы, обстояло наоборот, но тем не менее, это еще быстрее привело к катастрофе, последствия которой, по глубокому убеждению Адмирала, уже невозможно было ни предотвратить, ни направить в какое-либо русло: человек, сам того не сознавая, впервые в истории поднялся не против социальных обстоятельств, а против самого себя, против своей собственной природы.

К сожалению, и тут и там во все времена, вне зависимости от цвета кожи, существовали свои черные. Эти черные были робки, послушны, даже услужливы, но в кажущейся покорности, в их показном раболепии всегда вызревал бунт, тем кровавей и беспредельней, чем дольше и тяжелее длилось их закабаление. Сумеет ли, догадается ли Новый Свет вовремя осознать стерегущую его опасность и добровольно, не ожидая взрыва, исподволь выпустить из гремучей бутылки этот мятежный дух, вот в чем вопрос.

И все же, что бы там ни говорить и как бы там ни судить, в Адмирале за минувшие месяцы сложилось твердое убеждение, что если кто-то еще и в состоянии остановить или преодолеть начавшееся теперь в России сползание в общую пропасть, то лишь она — эта противоречивая, по-своему наивная, напористая и уступчивая, застенчивая и кичливая, воинственная и робкая, но в то же время еще не утерявшая связи с Богом страна.

Рабочий день Адмирал начинал с просмотра утренних выпусков газет и, конечно же, в первую голову, с вестей из России. Сегодня среди броских заголовков об очередном краснбайстве Керенского и чхеидзевской говорильне ему на глаза попало крохотное, набранное нонпарелью сообщение о нелегальном возвращении в Петроград лидера русских большевистских социал-демократов — Владимира Ульянова-Ленина.

Поданная газетой в пестром наборе разных российских разностей, заметка эта не могла привлечь внимания или заинтересовать здешнего читателя, уже привыкшего к бесконечному потоку стремительно сменявших друг друга известий из России, но, едва осмыслив ее — эту заметку, Адмирал почувствовал, как внутри его что-то оборвалось и похолодело; и в нем сразу же с обессиливающей ясностью определилось, что это — начало конца.

Еще в годы, когда имя этого без пяти минут присяжного поверенного только-только выплывало на общественной — да

и то полуподпольной! — поверхности, Адмирал, интересуясь запутанным, как всегда в их говорливом отечестве, спектром политических течений, выделил его из разношерстной среды писучих крикунов, плодившихся в те времена на родине чуть ли не в клеточной прогрессии.

Сквозь шелуху полых слов, какими автор явно пользовался лишь в силу их обязательности в той среде, где сами слова означали нечто большее, чем смысл, который в них вкладывался, сквозила такая иступленность в собственной правоте, такой накал поистине дьявольской страсти, что было ясно — этот человек знает, чего он хочет.

Этот человек, в чем Адмирал с годами все более убеждался, знал, главное для политика — человеческие слабости и играл на них с виртуозностью гениального музыканта. Он предлагал человеку безграничную свободу, оставляя вне ее посягательств лишь свой личный авторитет — авторитет вождя. Он допускал все, даже, казалось бы, самое недопустимое, кроме сомнений в его непогрешимости. Он освобождал людскую душу от вечных обязательств перед любимыми богами, но только не перед быстротечной покорностью ему лично, соблазняя ее легкой возможностью, при счастливом стечении обстоятельств, оказаться на его месте. А кто, скажите, в нашем подлунном мире не считает себя достойным такого счастья?

Этот человек учел все ошибки и промахи своих неудачливых предшественников от Гракхов до Кромвеля и от Пугачева до Пестеля. Он уверенно направлял отрицательные эмоции индивида не в одну только социальную сторону, хотя еще и пользовался общепринятыми в его среде понятиями каст и классов, а во все стороны сразу, когда врагом для человека становится всякий, кто против, вне зависимости от происхождения или принадлежности к какой-либо привилегированной группе, и уничтожение такого врага отныне не только освящалось самой Справедливостью, но и вменялось в обязанность.

Да, он тоже, как и его предшественники, сулил легковерным золотые горы, молочные реки и кисельные берега, но под внешним флером этих посулов всегда прочитывалась наиболее близкая сердцу толпы идея: пусть будет хуже, зато поровну.

И, что самое поразительное, в чем Адмирал ни на минуту не сомневался, тот сам, судя по всему, понимал, что у него почти нет шансов. В такой стране, как Россия, где в дремоте устоявшегося быта никто никого и никогда не слышит, создать условия, в которых он окажется в центре внимания, ему могло помочь только чудо. И это чудо подарила ему война.

Российская телега стронулась с места и покатила под гору. Возницы менялись один за другим, чтобы тут же соскочить, от греха подальше, на обочину, а повозка все набирала и набирала разбег, и остановить ее теперь мог только тот, у кого тяжелее рука и круче голос, кто не погнушается никакими средствами и не постыдится никаких преступлений. И сегодня такой человек объявился в Петрограде, где среди керенских и чхеидзе у него не оставалось сколько-нибудь серьезных конкурентов и он, в чем Адмирал тоже был убежден, окончательно становился хозяином положения.

По сравнению с этой угрозой все в памяти Адмирала тушеввалось, съеживалось, отходило на задний план: жена, сын, собственные планы и карьера. На карту ставилась судьба России и, наверное, не только ее одной. В душе его пока еще едва ощутимо, исподволь вызревало зябкое предчувствие неотвратимости будущей гибели всего того, с чем связана была его жизнь с ее укладом, традициями и корнями, но именно поэтому он не мог, не допускал мысли, не имел права смириться с этой неотвратимостью: он предпочитал погибнуть вместе с сегодняшним миром, нежели жить в завтрашнем.

С этим он постучался в кабинет помощника военно-морского министра.

Едва он взял на себя дверь и шагнул внутрь, как из полутьмы зашторенной комнаты в его сторону хлынуло разливанное море лучезарного радушия.

— Хелюу, адмирал, рад вас видеть! — белоснежные клавиши ухоженных зубов ослабились навстречу гостю, не угасая до самого конца разговора. — Как продвигается наша работа? Надеюсь, без проблем? В любом случае, адмирал, я всегда к вашим услугам...

Краем глаза Адмирал успел отметить пасьянс, предательски рябивший разноцветными мастями из-под наспех и небрежно наброшенных сверху бумаг: помощник министра явно изнывал от безделья, а потому был словоохотлив пуще обычного:

— Что привело вас ко мне, адмирал? Чем могу служить? В последнее время только и слышно на всех углах: Россия, Россия, Россия! Русские теперь самые модные люди в американских салонах. Что вы обо всем этом думаете, адмирал? Чем, по-вашему, все это может у вас кончиться?

Гость поспешил вклиниться в возникшую паузу и, подхватив тему, коротко изложить суть и цель своего визита.

— К чему так драматизировать события, адмирал? — Улыб-

ка хозяина в душной полутьме кабинета расцвела еще лучезарней и снисходительнее. — В Петрограде просто стало одним демагогом больше, вот и все. Пройдет два-три месяца, и об этом вашем Ульянове забудут так же скоро, как и обо всех предыдущих, если он вообще в ближайшие дни не свернет себе шею или ему ее не свернут. Зачем вам лезть в эту кашу, дайте им всем там перебеситься, толпа в конце концов устанет от этой неразберихи, и процесс войдет в свои берега, тогда и вернетесь себе спокойно, разве вам у нас плохо? Стоит вам захотеть, и вы без промедления будете зачислены на американскую службу. Поверьте, адмирал, мое ведомство сочтет это за честь! Вы совершили в нашем минном деле целую революцию!

При этом на беспорочно пухлом, как у большого ребенка, лице американца без труда можно было прочесть всю гамму обуревавших его в эту минуту чувств: «О, эти русские, никак не могут без аффектации, подумаешь, историческое событие, некий заштатный социалист выполз из подполья, стоит ли из-за подобных пустяков так взвинчивать себя! Сколько в них еще дикости, в этих слегка европеизированных азиатах!»

Адмирал уже по опыту знал, что непробиваемый этот оптимизм заранее лишал смысла какую-либо дискуссию, поэтому в ответ он только пожал плечами и поспешил закруглить встречу:

— Я только выполняю свой долг, сэр.

Тот, видно, почувствовал исходящее от гостя нетерпение и тут же, как бы восстанавливая дистанцию, поднялся:

— Как знаете, адмирал, как знаете, вам виднее. В сущности, у нас нет оснований задерживать вас, но тем не менее я хотел бы заверить вас, что ваша работа совместно с нами имела для нас огромное значение. Желаю вам счастливой дороги...

Уходя, Адмирал только окончательно утвердился в своем решении: домой и как можно скорее!

6

Во сне к нему пробился отдаленный колокольный звон. Приходя в себя, Адмирал никак не мог отделаться от вязкого недоумения: откуда он — этот звук в таком небольшом японском городке, как Никко, за многие сотни верст от ближайшего берега России?

Густой, протяжный звон заполнял его, вызывая в сонной памяти зыбкое чередование картин и видений давно минувше-

го: отец в парадной паре перед зеркалом в передней их петербургской квартиры, Крестный ход по Обуховке, над праздничной пестротой которого слепяще сияет золото образов и хоругвей, карнавальная радуга рождественских елок на марлевом фоне январского снега, и сквозь все это укоризненный голос няньки Натальи Саввишны: «Ох, Сашок, ох, барчонок мой неумный, остепенись, не сносить тебе головы!»

Затем одновременно с наступающим пробуждением и чувством реальности к нему возвратилось все то же, точившее его в эти дни тревожное нетерпение: «Пора, свет Александр Васильевич, пора дальше двигаться, засиделся ты тут, у моря погоды не высидишь!»

Солнце сочилось сквозь бамбуковые жалюзи — тихое, ровное, вкрадчивое. Там, за этими жалюзи, облитый зоревым свечением, притаился город, весь в колдовской вязи ручьев, ручейков и крошечных водопадов: крылатое скопище хрупких, словно бы карточных крыш вокруг лаковых ярко-кирпичного цвета шинтоистских храмов, в обрамлении зеленых вековых криптомерий. Видно, недаром в Японии говорят: «Не говори слово «кекко»*, пока не видел Никко».

Второй месяц Адмирал жил здесь в почти игрушечном номере случайной гостиницы, скрываясь от назойливости журналистов и политиканов средней руки, но они настигали его и тут, с вежливым упорством настаивая на своем праве разговаривать с ним: бесшумно вскальзывали к нему в номер, часто и долго улыбочиво кланялись, усаживались против него на корточки и вперялись ему в лицо с вопросительной требовательностью.

И хотя любопытство гостей не выходило обычно за рамки злободневных русских событий, за бездонной тьмой их раскосых глаз Адмирал угадывал их неистребимое любопытство не к нему лично — нет! — а к географическому пространству, которое он для них олицетворял и которое отдавалось в них заманчивым эхом — Россия.

Что-то грозное и неотвратимое чувствовалось в этом их любопытстве, так бывает во сне, когда человек и подсознательно догадывается о призрачности своего страха и в то же время не в состоянии сопротивляться ему. Вот уж воистину: Восток есть Восток!

Окончательно отряхиваясь от остатков дремы, Адмирал без труда вообразил себе предстоящий день. После завтрака, с его

*Кекко — восхитительно (яп.).

утомительно тягучими «чайными» церемониями, без которых здесь невозможно было выпить даже стакан воды, появится Володя Крымов — его новый знакомый, издатель «Столицы и усадьбы», сравнительно молодой, но образованный человек с далеко идущими издательскими и литературными амбициями, и до самого обеда они снова примутся плести и плести по-московски бесконечный разговор о судьбах России, о гражданской войне, о большевиках, о неблагодарности союзников и снова о судьбах России.

Затем, после еще более утомительного, чем завтрак, обеда, к нему потянутся визитеры, один другого усидчивее, и речь опять-таки будет идти все о том же: о российских делах, шансах Белого движения, намерениях союзников, большевистском терроре и по-прежнему — о будущем страны. И только где-то под вечер ему удастся вырваться из этого заколдованного круга праздной болтовни, чтобы встретиться с Анной и побродить с ней вдвоем по догорающим в отсветах закатного зарева городским улочкам, разговаривая обо всем на свете, но так и не успевая наговориться. И, конечно же, в эти первые в их жизни дни наедине друг с другом главной, выжигающей душу болью была покинутая ими страна.

Еще на Обуховке, едва осознав себя, он проникся острым ощущением своей принадлежности к тому незримому вблизи, но огромному в его воображении телу, что в обиходе звалось Россией, родиной, русским государством. С годами — дома, в гимназии, в корпусе, во флоте — эта звенящая связь только укреплялась в нем, приобщая его к мощи и несокрушимости всего тела в целом. Казалось, нет, не найдется на земле такой силы, какая смогла бы поколебать их, слитых вместе одной историей и судьбой. Окружающий мир выглядел для него таким устойчивым и прочным, что любые политические и военные неурядицы представлялись ему не более чем досадной рябью на ровной глади людского моря.

И лишь после крутого японского урока и грянувшей вслед за ним беды пятого года в нем впервые пробились и взялись его подтачивать сомнения в извечной незыблемости отечественной твердыни: слишком уж явно эти встряски обозначили швы, по которым прорисовывалась роковая трещина, разделившая русское общество надвое и навсегда. И стянуть, заживить эту трещину было уже невозможно, оставалось лишь навести на нее стыдливый грим, но она вновь выявлялась при первой же неувязке: смене кабинета, случайной катастрофе, стихийном бедствии. Любой, даже самой пустячной причины

оказывалось достаточно, чтобы стороны немедленно вступали в непримиримое единоборство, не считаясь со средствами и последствиями.

Адмирал мучительно доискивался истоков такой непримиримости. Нищета неимущих? Разорение дворянства? Социальная зависть? Утрата веры?

Задумываясь над этим, он в конце концов начинал приходить к убеждению, что если даже все это вместе взятое и способствовало разделению страны на два противоположных лагеря, оно еще не определяло полностью причины и сути возникшей вражды.

Вдоволь помотавшись по свету, он встречался с нищетой много хлестче и куда непригляднее. Дворянство, как производительная сила, вырождалось повсеместно. Зависть заложена в природе человека вообще. Вера везде подогревалась лишь самоотречением подвижников да усилиями заинтересованного клира. Россия в этом смысле мало чем отличалась от большинства других стран и людских сообществ, но только в ней слепая злоба достигла такого смертельного губительного накала.

Тогда что же? Словно огромную мозаику — из фактов, фактиков, догадок, печатных и устных свидетельств, снов и химер — складывал он с течением времени мысленный образ страны, смешавшей на своем огромном пространстве сотни языков, десятки вер и верований, множество культур и культов, филий и фобий, суеверий и предрассудков. И монархия, благодетельная в пору географического слияния, когда только воля самодержца в состоянии была удержать в единой узде центробежные силы стремления к распаду, оказалась бессильной, а порою и не желающей соответствовать ее становлению и расцвету. В последние годы он все чаще и чаще возвращался к опалившей его когда-то леонтьевской мысли: не в начале своего пути стоит Россия, а в конце.

Он укрепился в этом своем предчувствии, когда, будучи проездом из Америки в Харбине и Пекине, попытался было собрать в единый кулак разрозненные политические и военные силы, сохранившие еще какую-либо эффективность. Вся его энергия тогда рассосалась в словесной перепалке с расплодившейся после февраля семнадцатого, как саранча, крикливой оравой кандидатов в Наполеоны и наполеончики, и он вернулся в Японию разочарованный и опустошенный.

Об этом долгими вечерами он и говорил с Анной, изливая в словах источавшие его сомнения: «Боже мой, Боже мой, неужели это и вправду конец?..»

Стук в дверь вернул его к яви, напомнив о том, что день начался. Стук прозвучал не по-крымовски, для Крымова он был слишком продолжителен и резок, и не успел Адмирал откликнуться, как на пороге возникла подбористая фигура в штатском, под которым без труда угадывалась отменная строевая выправка:

— Ваше превосходительство, — белые, с нездоровым блеском внутри глаза гостя на юношеском, почти детском лице выглядели чужими, — разрешите представиться, корнет Савин, только что из Сибири, по совершенно безотлагательному делу...

После первой неловкости, вызванной неожиданностью вторжения, Адмирал кивком головы предложил гостю войти, но тот словно и не нуждался в приглашении, ринувшись лихорадочно кружить по крошечной комнате:

— Сибирь ждет, Адмирал, — с места в карьер заспешил гость, — от Приморья до Урала народ жаждет сражаться с большевиками, народу нужен только вождь, и этот вождь — вы, Адмирал. — Во взвинченной экзальтации гостя чувствовалась неподдельная искренность, но тем заметнее проступал в нем отсвет безумия. — Я был у Дутова, я был у Семенова, я был у Калмыкова, по первому вашему зову двести тысяч сабель выступят навстречу врагу. Чехи устали от претензий бездарных самозванцев из Комуча, им тоже необходим авторитет, облеченный ничем не ограниченной властью, антибольшевистские партизаны действуют по всей территории Сибири, я берусь собрать их в один кулак, и все эти силы мы без промедления двинем на соединение с добровольцами на Юг и вместе с ними пойдем на Москву, разгоним там всю эту жидовскую банду и установим порядок. — Он вдруг замер против Адмирала и, вытянувшись по стойке «смирно», шелкнул каблуками стоптанных сапог. — Скажите слово, Адмирал, и я пойду за вами в огонь и в воду!..

Гость вперился в Адмирала своими горячечными глазами, и, судя по всей его отчаянной напряженности, готовой каждую секунду сорваться в бег, в лет, в новое лихорадочное кружение, можно было поклясться, что, скажи ему и вправду сейчас слово, да что там слово, кивок сделай, он, не рассуждая более, кинется в любой огонь и в любую воду.

«Боже мой, Боже мой, — передернула Адмирала тоскливая жалость, — проклятое время, оно не пощадило даже таких вот, совсем безусых!»

А вслух сказал:

— К сожалению, корнет, я всего лишь морской офицер и немного ученый-географ, я никогда не имел никакого отношения к политике, да и признаться, не питаю к ней особого почтения, к тому же сухопутная война для меня — темный лес, боюсь, что могу оказаться никудышным вождем и обмануть ваши надежды.

Да, конечно, он лукавил немного, все же надеясь в глубине души если не возглавить борьбу, то хотя бы сыграть не последнюю в ней роль, но сейчас, видя перед собой юнца, почти мальчика, уже приговоренного своим безумием к собственной гибели, он не счел себя вправе подтолкнуть того в пропасть неосторожным посулом или надеждой.

С каждым словом Адмирала пухлое, с младенческими ямочками на щеках лицо гостя покрывалось красными пятнами, уголки мягких губ обидчиво опускались книзу, рослая фигура расслаблялась и опадала, словно из нее выходил воздух. Когда же смысл сказанного окончательно дошел до него, он молча излил на хозяина такой заряд презрения и брезгливости, что тот не выдержал, отвернулся, почти тут же услышав за спиной стук захлопнутой в сердцах двери.

Но если до этой неожиданной встречи Адмирал еще раздумывал, строил и изменял планы, изучал ситуацию и прикидывал оптимальные варианты, то теперь, после нее, он не смел, не считал для себя возможным долее здесь оставаться: каждый день, каждый час, каждая минута становилась отныне для него невозполнимыми.

Поэтому, когда в номер, как всегда, почти бесшумно вскользнула Анна, он встретил ее с уже готовым решением:

— Надо ехать, дружок, здесь мы только попусту тратим время, теперь не только день, час дорог.

Она не ответила, лишь широко распахнула глаза, как бы вбирая его в себя, и между ними возник и устремился в винтовую высь мысленный, но понятный для них двоих разговор:

« — Ты все же надеешься?

— Я должен надеяться.

— По силам ли тебе этот крест?

— Крест, Анна, всем не по силам.

— Дай-то тебе Бог, Александр.

— По твоим молитвам, душа моя, по твоим молитвам».

А через несколько дней попутное судно уносило их к родным берегам, навстречу связавшей их до конца судьбе.

Владивосток встретил Адмирала ярмарочной пестротой политических страстей. Кадеты, меньшевики, эсеры, анархисты и областники, монархисты и республиканцы, крайние националисты и столь же крайние западники — все наперебой бросились выяснять взгляды и намерения гостя с тем, чтобы в случае родства душ заполучить его в свои ряды. Всем им явно требовался собственный вождь, который бы освятил своим славным именем их право на существование и вдохнул бы в бесплодные их души искру живой жизни.

Трудно даже было представить, откуда, из каких незримых далей, из какого подполья, из какой житейской трясины России выявились на свет Божий все эти отставные телеграфисты, не кончившие курса студенты, аптекарские ученики и сами аптекари, сельские фельдшеры, бывшие курсистки, гимназические учителя, неудачливые присяжные поверенные и их помощники, провинциальные журналисты и портные, возжелавшие любой ценой сделаться министрами, товарищами таковых или на худой конец хотя бы директорами департаментов во всяком, даже самом эфемерном правительстве, лишь бы оно называлось правительством. И не существовало для них в природе общества преступления, лжи или святотатства, каких бы они не совершили ради столь заманчивой цели.

Наверное, в своей прошлой жизни все эти люди исправно служили и зарабатывали свой хлеб насущный каким-нибудь иным занятием: отстукивали телеграммы, отвешивали лекарства, ставили страждущим банки, крючкотворствовали в судах, пописывали заметки о городских происшествиях, обшивали средней руки чиновничество и офицерство, ходили в классы и бегали по урокам, а сливаясь воедино, и определяли лицо той среды, что в думских речах громко именовалось — «российской общественностью».

Жить бы и жить им так впредь и до скончания века, пробаваясь — между выпивкой, нехитрым флиртом и двумя «пульками» — разговорами о «сне золотом» и «небе в алмазах», если бы не февральская встряска, которая выбила их из привычной колеи, выбросив в самую гущу Великой Смуты, где за спиной у каждого из них вдруг загредел маршальский жезл, к несчастью, не находивший вокруг никакого применения.

В их претенциозном убожестве было даже что-то забавное, до того по-детски беспорочной была их уверенность в своей предназначенности водить армии, возглавлять министерства,

подписывать директивы, издавать приказы, учить, направлять, воспитывать.

Встречаясь с Адмиралом, большинство из них сразу же переходило на покровительственно фамильярный тон, будто они целую жизнь только и делали, что запросто, на короткой ноге общались с сильными мира сего или с их окружением. Когда же Адмирал, прискучив развязностью очередного гостя, вежливо прекращал разговор, на него изливалась такая лавина молчаливой ненависти, что легко было себе представить ее дальнейшие и уже неотвратимые последствия.

Из длинной вереницы встреч и знакомств он выделил свидание с управляющим Восточно-китайской железной дороги генералом Хорватом, прибывшим во Владивосток из Харбина специально для переговоров с ним.

Они уже не раз встречались и до этого, одно время Адмирал даже числился членом правления дороги, но договориться до чего-нибудь путного так и не смогли, слишком разными оказались у них отношения к происходящему и взгляды на будущее.

Теперь старик решил, видно, поступиться чиновной гордостью, заключив, судя по всему, что в такое время худой мир лучше доброй ссоры.

В интерьере роскошного салон-вагона, в парадной форме и при всех регалиях генерал выглядел идеальной моделью для антимонархических плакатов, но голос у него был тихий, почти шепотной:

— Дражайший батенька, Александр Васильевич, — сиял он в сторону гостя близорукими, чуть навывкате глазами, любовно оглаживая метелки своей роскошной бороды «а ля Александр Третий», — куда же это нас несет теперь, сами посудите! Посмотреть только, что делается, голова кругом идет. Работать совершенно невозможно, никто не хочет дело делать — норовят учить, понукать, приказывать, а ведь ни опыта, ни положительных знаний — одна фанаберия, — наклонился доверительно к гостю, обдав его пряной смесью хорошего табака и крепких духов. — Александр Васильевич, Бога ради, просветите старика, что будет, неужели, — он так и произнес, по-стариковски, с ударением на втором слове «неужели», — нет выхода, всему конец?

— Но ведь пишут, что Деникин продвигается, и союзники, кажется, начинают понимать опасность положения, — Адмирал осторожно пытался выяснить, куда клонит собеседник. — Все может перемениться.

— Ах, Александр Васильевич, Александр Васильевич, — старик даже руками слегка всплеснул от досады, — знаю я Антона Ивановича, еще по академии знаю, хороший солдат, неплохой тактик, но не орел, нет — не орел, звезд с неба не хватает, а политик так уж и вовсе никудышный. — Хорват грузно поднялся и в заметном волнении тяжело пустился по ковру. — С рельсов народ сошел, Александр Васильевич, ничем теперь не остановишь, пока сам не устанет, а что мы ему взамен предлагаем? Порядок? Зачем ему порядок, когда он впервые своей волей пожить может. Хоть один день, да мой, вот и вся философия. Не уберегла Россия Столыпина, придется теперь платить. Слуга я его Императорскому величеству верный и вечный, но, возьму грех на душу, скажу: его вина! — машинально перекрестившись, он снова двинулся по кругу. — С Петром-то Аркадьевичем до такой смуты не дошло бы, да и в войну бы, чего нам с Вильгельмом делить было? Сербию с Черногорией, что ли? Вместе с ним мы были бы силой! — громоздкая фигура его внезапно подломилась, диван под ним надсадно застонал. — А на союзников не надейтесь, Александр Васильевич, предадут и продадут, как в народе говорят, с потрохами при первой возможности. Они ведь нас, по правде говоря, и за людей-то не считают, а Россию до сих пор числят как бы ничейной землей с временным населением. Так-то вот, дражайший Александр Васильевич.

— Где же, по-вашему, выход, Дмитрий Леонидыч? — осторожно спросил Адмирал, хотя ответ он мог предположить заранее. — Диктатура?

Близорукий взгляд Хорвата уперся в него с пристальной откровенностью:

— Только в этом и вижу спасение, Александр Васильевич, одна загвоздка — с кем? — он брезгливо покосился на окно, за которым гомонила станционная суতোлка. — С этими не только Россией — полустанком управлять не договоришься, не люди — шлак, пыль паровозная. Мой вам совет, Александр Васильевич, пробивайтесь к Деникину, головы там есть, к ним бы еще сердце и дух, тогда, глядишь, и сладится дело. Сам я тоже не из бар, но, по совести говоря, не по плечу такое дело ни Корнилову, ни Алексееву, царствие им небесное, и уж, конечно, ни Антону Ивановичу, мужичья кровь сказывается, под ноги смотрят, а не вперед. Одним словом, коренник требуется, пристяжные найдутся. При авторитетном вожде и Деникин на месте.

— Мне ли такое дело поднять, Дмитрий Леонидыч, — у него жарко перебило дыхание, — подумать страшно.

— Кроме вас некому, Александр Васильевич, поверьте мне, некому...

На том они и расстались.

День шел на убыль. Сиреневое полотнище вечера наплывало из-за океанского окоема, окрашивая окружающее в сумеречные тона. Уличная толчея становилась все говорливее и пестрее, но в ярмарочной карусели города проглядывалась какая-то взбудораженная экзальтация, будто этому нервическому оживлению заранее поставлен определенный срок, с наступлением которого празднество грозило оборваться, и оттого публика спешила, торопилась, рвалась исчерпать до конца отпущенное ей время: час, да мой!

Город растекался перед адмиральской машиной, раскачивался вместе с нею — вверх, вниз и снова вверх! — на гигантских качелях своих холмов и впадин, шелестел над головой опадавшей листвой, звал, увлекал, заманивал множеством проездов и переулков. Раскидистый, гулкий, словно бы висящий у воды город.

Разговор с Хорватом разбередил Адмирала. Прежде он как-то не задумывался, где, как и с кем ему придется участвовать в отчаянной попытке восстановления законности и порядка в обескровленной мировой и гражданской войнами стране. Наверное он знал только одно, что не останется в стороне, что найдет свое место и что другого пути у него нет, но к какой-то особой роли себя не готовил. Политика всегда была чужда его интересам. Соприкасаясь с нею по роду своей деятельности, он тем не менее никогда не чувствовал к ней тяги, влечения, вкуса. Дипломатические и политические хитросплетения, руководя им помимо его воли, не затрагивали в нем его сущности, скользя поверх и мимо него. Пожалуй, только после первого российского шторма девятьсот пятого года он стал понемногу присматриваться и прислушиваться к событиям внутри страны, пытаясь разобраться в причинах и следствиях происходящего.

Теперь же, после встречи с Хорватом, перед ним в упор встал вопрос: в чем конкретно он видит свою личную роль в создавшейся в стране ситуации? Где, в каком качестве, он — кадровый моряк по профессии и ученый по призванию — сможет найти себе применение в этом беспорядочном столкновении самых взаимоисключающих политических стихий? И как отнесутся стороны к его внезапному и никем не предвиденному вмешательству?

И хотя диктатура и ему виделась сейчас единственной

формой самосохранения России, себя он в роли диктатора не представлял, слишком хорошо зная свои слабости: крайнюю вспыльчивость со столь же крайней отходчивостью, крутым и зачастую беспричинным упрямством, а к тому же доверчивым (вовсе непростительный грех для вождя) расположением к первому встречному, обладай только этот встречный покладистостью характера. Все это, вместе взятое, исключало для него возможность одним личным авторитетом сплавить воедино и повести за собой разномастную вольницу, признававшую над собой лишь одну власть — собственную.

В нынешней России Адмирал мог назвать единственного человека, способного в определенных условиях справиться с этой задачей, — Великого князя Николая Николаевича, но, олицетворяя собою, несмотря на свою неприязнь к поверженному племяннику, рухнувшую под грузом собственной слабости монархию, он оттолкнет многих из тех, кто захочет пойти за кем угодно, кроме члена романовской династии. Да и где он теперь — Великий князь Николай Николаевич!

В этих долгих раздумьях Адмирал и доехал до гостиницы, где, едва шагнув к подъезду, почувствовал на своем запястье требовательную хватку чьей-то шершавой ладони:

— Не спеши, генерал молодой, от судьбы куда уйдешь, везде догонит, дай на твое счастье погадаю, коли не по душе придется, денег не возьму, не надо, не беги от судьбы, касатик...

Старая цыганка — лицо, как печеное яблоко, в пестром обрамлении платка и лент — вглядывалась в него снизу вверх блеклой желтизны глазами, настойчиво притягивая к себе его руку.

И то ли от неожиданности, то ли остерегаясь резким движением причинить ей боль, он не оттолкнул ее, безвольно покорился исходящей от нее вязкой убежденности:

— Будет у тебя жизнь, касатик, короткая, зато богатая, только бойся пиковой дамы, встрянет она в горячую любовь твою, как разрыв-трава, как звезда полынная...

Отпустив вдруг его руку, она продолжала всматриваться в него, все так же — снизу вверх, но песочного цвета взгляд ее вдруг помертвел и отстранился от него, осязая его словно бы издалека:

— Ничего больше не скажу, касатик, иди себе с Богом, не надо мне от тебя никакого злата, другим заплатишь, много заплатишь...

И тут же исчезла, будто ее и не было тут, а только пригрелась беспричинно.

Наверное, эта случайная ворожба у подъезда гостиницы улетучилась бы в нем так же внезапно, как и возникла, если бы в гостиничном коридоре, уже на подходе к его номеру, мимо него не прошелестело в стремительной спешке некое видение, пахнувшее на него дуновением уверенной в себе властности. Прошелестело и растаяло за поворотом ковровой дорожки, бегло скосив в его сторону рассеянный, татарского разреза глаз.

Он мог бы поклясться сейчас, что где-то в иное время уже встречал этот упрямый профиль, только где и когда? Нечто, правда, забрезжило, вместившись в короткий миг, — зима, Петербург, снег на решетках Летнего сада, чьи-то встречные сани, мелькнувшие мимо, — но скоро фантом исчез, растаял так же внезапно, как и появился.

«Вот ведь нечаянность, — с мгновенно оборвавшимся сердцем подумал он, — нагадают же!»

Ночью ему снилась большая вода, много-много большой воды, как это бывает далеко в открытом море, сквозь которую навстречу ему тек, скользил, струился силуэт женщины, удивительно напоминавший случайно встреченную им в этот вечер в гостиничном коридоре. Но, всматриваясь в ее текучие очертания, он мог бы поклясться, что это была Анна.

И угадал: она встретила его пробуждение, сидя рядом с ним на краешке кровати и тихонько поглаживая ему запястье:

— Что вам такое снилось, Александр Васильевич, — от нее, уже одетой и ухоженно подтянутой, исходил легчайший аромат духов и немного — моря, — вы так блаженно улыбались?

— Вы.

— Неужто?

— Честное слово, душа моя, честное слово, — окончательно отряхиваясь ото сна, он наконец-то разглядел ее. — Вы, кажется, успели совершить небольшую прогулку, душа моя?

Она вдруг напряженно подобралась, опустила глаза:

— Я виделась с Сергеем Николаевичем.

— Да, — едва выдохнул он, — и что же?

— Все то же, дорогой Александр Васильевич, все то же, вы же прекрасно знаете.

— Вы сказали ему?

— Я только повторила ему, дорогой мой Александр Васильевич, то, что уже много раз было говорено.

— Значит, со мной?

— С кем же мне быть, Александр Васильевич, — прохладная ее ладонь легла на его запястье, — куда вы, туда и я.

Глаза их встретились, и явь исчезла для них, перестала существовать, улетучилась в окружающем их пространстве. Отныне они остались вдвоем на земле, не испытывая более нужды ни в ком и ни в чем, кроме друг друга. Земля вместе со всем, что жило и творилось на ней, вращалась теперь только внутри и вокруг них и не было во вселенной силы, способной остановить это колдовское вращение.

8

И потянулась за вагонным окном страна, всегда словно заново и заново узнаваемая им, но только теперь, не как обычно для него — с Запада на Восток, — а наоборот.

Поздняя осень окрашивала окрест желто-бурым налетом истлевающих трав и листья вперемежку с черным кружевом отжившего сушняка. В подернутых голубой дымкой таежных прогалах открывался волнистый силуэт уходящих за горизонт сопок, и, если бы не тревожная заброшенность проплывающих мимо окон станций и полустанков, можно было увериться, что на этой земле все так же устойчиво и безмятежно, как в ее совсем недавние времена.

На больших остановках, хочешь не хочешь, Адмиралу устраивались торжественные встречи, с обязательными в таких случаях хлебом-солью на блюде с расшитым полотенцем, высокопарными, хотя и неуклюжими речами отцов города и непременно, собранным с бору по сосенке духовым оркестром. Однообразно повторяющийся этот ритуал не то чтобы угнетал Адмирала, но, в конце концов прискучив им, он тяготился его нудной обязательностью и вскоре приучил себя в таких случаях не видеть, не слышать, не соучаствовать в предлагаемом действе, мысленно отстраняясь от окружающего.

Адмиралу не требовалось большого воображения, чтобы почувствовать во время этих уныло чередующихся обрядов, что они предназначались не ему лично и даже не авторитету, каким он был облечен, а чуду — да, да, чуду! — которого везде от него ждали и которое, как всем хотелось надеяться, он — и только один он! — мог для них сотворить. И чем торжественнее, чем пышнее, чем размахистее обставляли устроители эти встречи, тем определеннее пред-

ставлялась ему вся грозная тяжесть, если не безнадежность сложившегося положения.

Покорно подчиняясь неизбежному, Адмирал заученно принимал хлеб-соль, отсутствующе выслушивал витиеватые речи, заглушаемые крикливой медью оркестра, пожимал чьи-то руки, кому-то кланялся, обменивался с кем-то троекратными поцелуями, оставаясь наедине с самим собой и с той участью, какую ему готовило его будущее.

Случившесся теперь в России представлялось ему ненароком сдвинутой с места лавиной, что устремляется сейчас во все стороны, движимая лишь силой собственной тяжести, сметая все попадающееся ей на пути. В таких обстоятельствах обычно не имеет значения ни ум, ни опыт, ни уровень противоборствующих сторон: искусством маневрирования и точного расчета стихию можно смягчить или даже чуть придержать, но остановить, укротить, преодолеть ее было невозможно.

Казалось, каким это сверхъестественным способом бывшие подпрапорщики, ученики аптекарей из черты оседлости, сельские ветеринары, недоучившиеся фельдшеры и недавние семинаристы выигрывают бои и сражения у высколенных в академиях и на войне прославленных боевых генералов?

Ответ здесь напрашивался сам по себе: к счастью для новоиспеченных полководцев, они должны были обладать одним-единственным качеством — умением бежать впереди этой лавины, не оглядываясь, чтобы не быть раздавленным или поглощенным ею. И этим качеством большинство из них отличалось в полной мере.

Теперь он двигался им навстречу, не теша себя иллюзиями о победе, а лишь с твердым намерением принять на себя всю безысходную тяжесть их торжествующего напора: пусть они хотя бы увидят в слепом своем упоении, как и с какой готовностью умеют умирать русские офицеры!

И лишь однажды, это случилось в Чите, на этом пути, в калейдоскопе мельтешившей вокруг него карнавальная вакханалии, перед ним внезапно, словно в один остановившийся миг, выделился из многоликой толпы знакомый, татарского разреза взгляд, походя опаливший его как-то вечером в коридоре владивостокской гостиницы.

«Господи. — мгновенно пронеслось в нем, — что это еще за наваждение, откуда она здесь?»

Вечером, за чаем, Адмирал не выдержал, поделился с Анной:

— Знаете, дорогая Анна Васильевна, как это ни странно, но у меня, по-моему, галлюцинации. Недавно я случайно столкнулся с одной женщиной во Владивостоке, в коридоре гостиницы, теперь вижу ее в толпе среди встречающих почти на каждой большой станции.

— Помилуйте, Александр Васильевич, милый, что за фантазии, вот уж воистину богатое воображение! — Она с материнской снисходительностью лукаво озарилась навстречу ему. — Все гораздо проще. В нашем составе едет много офицерских жен с семьями, направляются к мужьям в Омск и Екатеринбург, что же в этом сверхъестественного?

Ему стало неловко за себя, и он поспешил перевести разговор на другое, более привычное:

— А помните, Анна Васильевна, как мы с вами встретились в первый раз?

Он затевал эту ставшую уже ритуальной для них игру в минуты, когда хотел отвлечься от тяготивших его сомнений, но она всякий раз с заметным оживлением подхватывала тему будто впервой:

— Еще бы мне не помнить, Александр Васильевич, не так уж давно это произошло, вы были тогда такой важный. — Она озарилась еще снисходительнее, но теперь скорее к себе. — А вы помните, Александр Васильевич, как перед моим отъездом из Ревеля вы заказали мне по телеграфу ландыши? Целую корзину ландышей, мне было так жалко их оставлять, что я их все срезала и сложила в чемодан, а когда в Гельсингфорсе открыла его, то нашла свои ландыши уже мерзлыми, такой по дороге был холодище. — Она вдруг погасла, задумчиво покачала головой. — Что действительно странно, это случилось в последний вечер перед революцией.

— Вы думаете, Сергей Николаевич все еще сердится на меня? — бездумно спросил он, но тут же спохватился. — Извините нас, Анна Васильевна.

Она только пожала плечами:

— Не думаю. Сергей Николаевич всегда был слишком занят собой, он быстро поладил с большевиками, ездил куда-то по их поручениям, а теперь, по-моему, благополучно осядет где-нибудь за границей. Он легкий человек, этот мой бывший муж Сергей Николаевич, не нам с вами его судить, пусть живет, как ему удобнее, о нас с вами он, наверное, уже забыл.

Потом они долго молчали, стоя у окна и прижимаясь лбами к холодному стеклу. Там, в крошечной тьме, перед ними проносилась страна, на всем пространстве которой отныне не только для человека, но и для зверя не оставалось уже укромного места, где бы он мог передохнуть и отсидеться: в кровавом безвременье этой страны каждая живая тварь должна была сегодня заплатить свою цену.

В этом замкнутом кольце безысходности и продолжал кружиться их мысленный разговор:

— Ты знаешь, что нас с тобой ожидает?

— Знаю.

— Ты готова к этому?

— Я сама выбрала свою судьбу.

— Ты не пожалеешь об этом?

— Теперь уже поздно жалеть.

— Я верю в тебя.

— И я...

Едва поезд остановился в Омске, как Адмиралу доложили, что его хочет видеть депутация Директории Учредительного собрания во главе с Авксентьевым.

«Вот, — с горечью подумал он, — начинается совдеп на колесах, только слушай».

Авксентьев оказался белокурым, довольно молодым еще человеком с острой бородкой и живыми, но уклончивыми глазами. Видно, давно освоившись с ролью политического вождя, он не без преувеличенной значительности коротко перезнакомил Адмирала со своими спутниками и первым же заговорил:

— Я буду краток, ваше превосходительство. Мы уполномочены выяснить ваши дальнейшие намерения и предложить вам пост военного министра в правительстве Директории Учредительного собрания.

Еще перед этим до Адмирала доходило, что тот с самого своего появления в Уфе поспешил окружить себя стайей адъютантов и приказал называть себя не иначе, как «ваше высокопревосходительство»: новоиспеченная власть, не успев еще опереться, сразу же вошла во вкус бюрократического церемониала. Голубые мечты вчерашних нигилистов и бомбометателей о «золотом веке» и «небе в алмазах» на поверку обернулись извечными вожделениями департаментских столоначальников.

«Стоило ради этого такой огород городить, — разглядывая гостей, горько иронизировал про себя Адмирал, — и лить столько крови?»

А вслух сказал:

— Мне нет нужды скрывать свои намерения. Я направляюсь к генералу Деникину, чтобы предложить ему себя в любом качестве, даже рядовым солдатом, сегодня у каждого порядочного человека один враг — большевизм. Разумеется, ваше предложение, господа, для меня большая честь, но вы не должны забывать, что я моряк и в сухопутных делах, в сущности, очень мало смыслю, ваш выбор может оказаться ошибочным.

— Адмирал, — высокий голос Авксентьева налился металлическим пафосом, — сегодня наша многострадальная родина не спрашивает у своих сыновей: «Кто вы?», сегодня она спрашивает у них: «Где вы?».

Сказал, торжественно вытянулся, но боковым зрением не забыл при этом отметить в сопровождающих произведенное впечатление. О, как они любили красивые слова, эти посредственные журналисты и никогда не практиковавшие адвокаты: в общем и никем не управляемом столпотворении им казалось, что наконец-то наступил для них тот самый звездный час, когда, будучи едва произнесенной, любая их фраза уже вчеканивается временем в нерукотворные письмена истории.

«Боже мой, Боже мой, — продолжал вглядываться в них Адмирал, — от какой только породы живородящих тварей вы отпочковались!»

И, чтобы более не затягивать аудиенцию, подытожил:

— Во всяком случае, мне необходимо подумать, господа.

Отпустив гостей, он постучался в купе к Анне:

— Что вы обо всем этом думаете, дорогая?

— Александр Васильевич, милый, зачем вы меня об этом спрашиваете, я ваша тень.

Он порывисто опустился рядом с ней и упал лицом в подставленные ею ладони:

— Простите меня.

В ответ она лишь коснулась губами его затылка.

Была тишина.

В слепящей белизне солнечной стужи все видимое вокруг — деревья, люди, даже россыпи редких деревьев над окомом — казалось угольно-черным. Темной лентой тянулся армейский обоз сквозь сверкающий наст прииртышского редколесья, струясь из-за одного горизонта, чтобы где-то впереди стечь в другой. Со стороны могло пригрезиться, что у этого обоза не было ни конца, ни края и что извилистая вереница санных повозок уже опоясала всю землю и теперь вращается вокруг нее наподобие медленной карусели.

В жажде тепла и спасения люди в повозках тесно жались друг к другу, напоминая издалика бесформенные комья смерзшейся земли, и лишь по хрупким дымкам их дыхания да по исступленному блеску надежды в глазах можно было догадаться о тлевшей в них жизни.

Завороженным взглядом Егорычев следил за ползущей изпод саней мерзлой колеей, вслушиваясь в себя, в свою память, в свою короткую, но такую пеструю и хлопотливую жизнь. Сколько Егорычев себя помнил, судьба швыряла его из стороны в сторону без отдыха и оглядки. Не успевал он вытащить ноги из одной передраги, как тут же попадал в следующую. Едва осознав себя и окружающий его мир, он уже трясся в переселенческом «столыпине» через всю Россию, мимо заволжских покосов, уральских круч и таежного бурелома к молочным рекам и кисельным берегам Приамурья, где ему тоже не суждено было пустить корни сколько-нибудь надолго.

Тишь в те поры стояла над Россией душная, обманчивая. Где-то под спудом, под грузной толщей ленивой земли, вызревал, все нарастая и нарастая, грозный нутряной гул, выплеснувшись наконец в июле четырнадцатого кратким, но режущим, как вспышка молнии, словом: война!

Уходя по мобилизации, отец ласково наставлял Егорычева на будущее житье:

— Жись, Филя, поперек нас пошла. — В заскорюзлых клешнях его подрагивала махорочная самокрутка, а сам он смотрел прямо перед собой, не мигая, будто в огонь или во что-то другое, еще более завораживающее. — Кто знает таперя, когда кончится, а може, и вовсе не кончится. Придется тебе,

Филя, без отца горе горевать, успевай только подпоясываться. — С жадностью затянулся, выдохнул вместе с дымом: — Убьют, калекой приду, все одно ты теперь в доме хозяин.

Но хозяйствовать долго Егорычеву не пришлось: в конце шестнадцатого вышел и его срок.

И снова, только в обратном порядке, потекла мимо него страна, пока путь его не уперся в бруствер окопного рва где-то под Черновицами.

Из прошлого в памяти осталось лишь вытянутое следом за ним виноватое от растерянного отчаяния лицо матери внизу за окном вагона да уплывающий в сумерки протяжный перебор гармошки: как родная меня мать провожала!

К тому времени, по всему видно было, война выдыхалась. Хоть и постреливали с обеих сторон, но больше так, не высываясь, поверх головы, скорее для остратки, чем с умыслом. Окопники месили грязь во рву, покуривали, поругивались беззлобно, отсыпались коротко в чадных землянках в ожидании почты или скорого замирения. Небо над землей провисало низко и грузно, будто вот-вот собиралось рухнуть. По окопам и землянкам серыми голубями перепархивали листовки. Писалось в них по-разному — и попроще, и позаковыристей, и так себе, но обещали и — все: землю, волю, уважение и даже царствие небесное — не далее, чем за ближней речкой, и не долее, как к четвергу.

Временами над окопами кружили немецкие «шерманы» и тоже осыпали солдатские головы печатными ворохами легких обещаний, но в отличие от своего — заграничной выделки матерьял споро раскуривался, не оставляя во рту саднящей горечи.

Егорычев бумажки прочитывал, благо в грамоте сызмала поднаторел, только посулами не прельщался, помнил отцовскую выучку: «Обещанного, Филя, три года ждут да еще тридцать три опосля чешутся!»

Так бы и дотянуть ему за окопным бруствером до первого братания, если бы случай не повернул его планиду еще на один полный оборот.

Надо же тому было стать, чтобы на очередной перекличке заполошный взгляд ротного упал на него и задержался пристально:

— Сибиряк, говоришь?

— Никак нет, вашбродь, тульские мы.

— Водохлебы, значит! — подмигнул ободряюще, ослабил-

ся прокуренными зубами. — Не прочь, думаю, по деревне с Георгием пройтись?

— Отказываться грех, вашбродь.

— Ишь ты, еще и говорок! — зовуще кивнул уже с полуоборота. — Айда за мной.

В землянке у ротного жилось не вольготнее, чем в прочих: та же темь, та же копоть, та же спирающая дух смесь табака и пота. Только на месте железной времянки вроде стола — деревянный щит на двух стоячих крестовинах с бумагами вразброс и остатками еды поверх.

Ротный с маху раздвинул бумажные вороха на столе, сдернул со стены флягу, из фляжки же ополоснул кружку, налил больше половины, пододвинул гостю:

— Угостись, солдат, — в упор уставился выжидающе, — разговор легче пойдет.

— Не жалуюсь, вашбродь.

— Молоканин, что ли?

— Зачем — молоканин, отец не баловал и мне не наказывал.

— Ну, ну, неволить — грех.

Только теперь Егорычев по-настоящему разглядел ротного. На узком, горбоносом лице вразброс расставленные с лихорадочным отсветом глаза казались чужими, настолько не вязалась их яростная озабоченность с этим, будто выточенным лицом и ладной — широкая грудь конусом к талии — фигурой.

— Вот что, солдат, дело у меня к тебе проще простого, — из вороха на столе он вытянул чистый лист бумаги, — как у нас на Руси говорят: или грудь в крестах, или голова в кустах. — Карандаш в его извивчивых пальцах подрагивал и крошился. — Правда, кресты, солдат, прямо скажу, у нас с тобой под вопросом, зато кусты будут на каждом шагу. Слушай меня и на ус наматывай...

По речам ротного выходило, что получен приказ рассмотреть поближе немецкие расположения для возможного прорыва на этом участке, а сделать это можно было только с торчащей прямо против ротной позиции высотки, опущенной низкорослым кустарником. Высотка легко простреливается со всех сторон, зацепиться на ней интереса никто не имел, и поэтому она считалась как бы ничьей.

В предрассветных сумерках им с ротным предстояло пробраться туда, днем нанести на карту конфигурацию немецких позиций и затем, с наступлением темноты, вернуться назад.

— Твое дело, солдат, в случае надобности прикрыть отход,

остальное — моя забота. — Сдвинул глаза к переносице, насмешливо прищурился. — Не боишься, солдат?

— Перебоюсь, вашбродь, притерпелся, страшной войны все одно не будет, выдюжу.

— Ну, ну, — ротный отвернулся и как-то сразу сник, ссутулился, стал меньше ростом, — иди отсыпайся...

Ночь настала — ни звезды, ни проблеска с безмолвной стужей, схватившей землю хрупким ледком. С хрустом проламывая под собой ледяной панцирь, Егорычев полз следом за ротным, и земная твердь гудела под ним от его груза и напряжения.

Там, в темноте кромешной ночи, впереди и вокруг Егорычева, жил, устраивался, клекотал взыскующий и мятежный мир. Люди в нем пили, ели, спали, влюблялись, путешествовали, наживали деньги и разорялись, молились Богу и богохульствовали, рыли окопы и отстреливались, но никому из них не было дела до него, рядового Филарета Егорычева, крестьянского сына тысяча восемьсот девяносто восьмого года рождения, уроженца деревни Губино, Бобрик-Донского уезда Тульской губернии. И только стылая земля, по которой он полз, прижимаясь к ней и в нее втискиваясь, понимала и принимала его иступленное одиночество, сливаясь с ним в эти тягостные для них минуты в одно целое. И лишь в ней он ощущал сейчас отклик и сострадание, и лишь в ней он прозревал теперь опору и спасение. И неожиданно, как бы помимо его воли, в нем вдруг с предельной отчетливостью сложилось: «Чего все не поделим-то?»

Когда, продравшись сквозь колючую изморозь кустарника, они, мокрые и продрогшие, выбрались наконец на взгорье и перед ними возник нижний обзор, впереди занимался жиденький рассвет.

— Залегай, солдат, — не оборачиваясь, чуть слышно прохрипел ротный, — до ночи времени много.

День длился томительно долго. В серой промозглости зигзаги немецких траншей еле проглядывались, и, если бы не штопорные дымки над ними, можно было бы подумать, что там никого нет.

Ротный сначала долго колдовал над своим планшетом, чертыхался вполголоса, сплевывая в сердцах, резко поводя плечами, потом откинулся на бок, завернулся с головой в шинель и сразу, будто провалился в сон, затих, как сурок.

Егорычеву не спалось. Разглядывая вниз, впереди себя, смутный чертеж немецких траншей, он думал о том, почему

на земле все так перепутано, что ему вместе с ротным придется высматривать сейчас место, куда, может быть, уже завтра врежется их пехотный клин, чтобы стрелять, колоть и душить таких же людей, хотя и другой нации, не сделавших ни ему — Егорычеву, ни его ротному ничего худого? Зачем, отчего, за что?

Знать-то он, конечно, знал, много об этом кругом молвы кружилось, что каша заварилась из-за убитого кем-то австрийского наследника, но ведь хоть и жалко невинного, его не воротить, сколько ни убивай и ни калечь друг дружку, сколько ни круши и ни жги чужого добра, сколько ни захватывай барахла или пленных! Чудны дела твои, человек!

В этом горестном недоумении его и настигла дрема. И снился ему знойный сенокос под Епифанью. Мать в белом платке, как в коконе, только одни глаза озорно светятся из-под него в сторону сына: «Что, Филенок, маленько силенок, умаялся?» Вилы в крепких, облитых солнцем руках матери казались почти игрушечными, так легко и споро выросстал перед ней стог.

— Филя-я-я! — кричал с соседней делянки отец, поблескивал потной чернотой лица, расплывался ласково, подзадоривал. — Подмогни маменьке, без тебя не управится!..

Егорычев подался было к материнскому стогу, но тот вдруг всей своей душной громадой обвалился на него, не оставляя ему времени, чтобы посторониться или выпростаться...

Он очнулся придавленным к земле грузной тяжестью чужого тела и сразу уперся глазами в мясистое лицо под каской, шепотно пахнувшее на него смесью никотина и спиртного:

— Рус капут...

Егорычев инстинктивно рванулся было из-под навалившейся поверх него туши, но услышал сбоку усталый голос ротного:

— Отбой, солдат... Ни креста тебе, ни куста, отвоевались...

Так, не успев начать, Егорычев и отвоевался. У судьбы, видно, имелись на него свои особые виды.

2

С пленом Егорычеву повезло. После множества проверок и допросов его, одним эшелонном с Удальцовым, чуть не через всю Германию — с юга на север — отправили в основной, как он назывался, лагерь военнопленных Прейсиш-Голланд, соединенный узкоколейкой с железнодорожной магистралью Берлин—Кенигсберг—Петроград.

С холмистой возвышенности, где располагался лагерь, распахивался широкий обзор на лежащую внизу долину, по другую сторону которой тянулась высокая горная цепь, поросшая лесом. По утрам горы струились вверх голубым маревом, а к вечеру, наливаясь чернью, зубчатой стеной подпирали небо над засыпающей долиной.

Одноименный городок внизу виделся Егорычеву почти не-всамделишным, игрушечным, наподобие тех, что доводилось видеть ему на трофейных открытках: за крепостными, фигурной отделки стенами алые крылья остроконечных, под черепицей крыш, увенчанных темно-серым колпаком церковного собора. Маленькое зеркало Германии.

В лагере офицеры были отделены от нижних чинов, но обращение между ними не возбранялось, и Удальцов, пользуясь привилегией старшего по званию, не обходил бывшего подчиненного своим вниманием. Плен как бы стер разницу в их положении, и отношения у них сделались если не товарищескими, то все же более простыми и душевными.

Лагерный быт удивлял Егорычева своей чистотой и упорядоченностью. Ему, выросшему в курной избе и оттуда сразу попавшему в окопы, были в диковинку отдельная кровать с простынею и одеялом, сытная еда три раза в день по звонку, строгое, но вежливое обращение охраны.

«Живут люди! — одобрительно отмечал он про себя, с сожалением вспоминая деревенское свое прошлое. — Нам бы вот так».

Работы по лагерю выглядели для него баловством: уборка барачков и территории, хлопоты с цветочной рассадой и саженцами, дежурство по кухне и прачечной. Со сладкой тоской смотрел он вниз, в долину, где закипала на ровных, будто разлинованных полях весенняя страда. Казалось, каждая жилка в нем ныла, стонала, корчилась от страстного желания взять в руки, пощупать, размять в пальцах эту дымящуюся под ликующим солнцем землю.

При следующем свидании Егорычев не выдержал, открылся напарнику:

— Говорят, Аркадий Никандрыч, теперь к хозяину выпроситься можно, хочу попробовать, а то я тут, как жеребец в стойле, совсем застоялся — глядишь, дурь в голову вдарит.

Тот было удивился, но, внимательно взглядевшись в собеседника, вдруг, словно подхваченный внезапной мыслью, просял:

— А что, неплохая идея, Филя, может, и мне с тобой?

Офицерам вроде бы и не положено, но думаю, что я сумею убедить начальство...

Хозяин фермы, к которому привел их конвоир, долговязый мосластого сложения крестьянин с рассыпчатой копной изжелта-белых волос на твердо поставленной голове, остался, видно, доволен, а когда Удальцов заговорил с ним по-немецки, то и вовсе повеселел и повел осматривать хозяйство.

— Зовут его Аксель Тешке, — вполголоса переводил Егорычеву по дороге Удальцов хозяйскую речь, — у него двести десятин, половина под картошкой, скот в основном рабочий, но и для себя держит на молоко с мясом, плата — марка в день на его харчах, хочет, чтобы я был у него за разводящего, трудно ему с вашим братом без языка. — Хозяин свернул к двухэтажной пристройке, одной стеной примыкавшей к скотному двору. — Теперь хочет показать нам дом, где мы жить будем.

Крохотная комнатка с кроватью под одеялом и подушкой в наволочке, небольшим столом у окошка, притененного марлевыми занавесками с цветочным горшком на подоконнике, показалась Егорычеву райской обителью.

«Дела! — мысленно представил он себе свою будущую жизнь здесь. — Как у барина!»

И потекла у Егорычева крестьянская маета на немецкий манер: вставал он по привычке раньше других, прибирался, шел на общую кухню, где уже заваривали завтрак для работников, садился за стол, степенно управлялся с едой и, обрядив лошадь перед конюшней, уходил в поле, без того, чтобы ожидать остальных.

Только здесь, среди зеленого разлива картофельной ботвы, дальним концом упиравшейся в лесистое взгорье, Егорычев чувствовал себя полноценным человеком. Дыхание земного естества вокруг него сообщало ему ощущение своей кровной принадлежности ко всему, что растет, дышит и размножается на земле вместе с ним.

Время до обеда проходило быстро, а после обеда еще быстрее, а вечером, отужинав, он отправлялся к себе, где, распластавшись на кровати, с блаженной истомой вслушивался в свое, гудящее от рабочего дня тело, в себя, в чуткую тишину за окном и думал не более чем о завтрашнем дне, когда трудовая страда вновь позовет его воедино слиться в поле с земным естеством.

Но дело делом, а молодость брала свое. Большинство работников на ферме составляли женщины: вдовы, солдатки, заси-

девшиися без воюющих женихов девахи. Жадными глазами поглядывали они на русских лагерников, оделяя Егорычева, как самого молодого и здорового, особым вниманием. Внимание это парню, конечно, льстило, но ответно загореться к кому-либо из них ему мешала еще не изжитая им ребячья робость, и поэтому, встречаясь взглядом с зовущими глазами окружавших его женщин, он смущенно отворачивался, опаялясь в сердце удушливым жаром.

Настойчивее других появлялась Марта — совсем молодая еще солдатка с веселым, в россыпи темных веснушек лицом, на котором неизменно сияли в беззвучном смехе две озорные ямочки. Она не упускала случая, чтобы, находясь рядом с ним, показать ему грудную ложбинку в глубоком разрезе своего платья. И при этом с решительной откровенностью нашептывала парню на ухо:

— Русиш зольдат... Гут... Гут, русиш зольдат...

Несмотря на молодость, у нее уже было двое детей, мальчик и девочка, которых на рабочий сезон она оставляла у матери в городке, а сама ютилась в той же, что и Егорычев, пристройке, в такой же, как у него, комнатке, откуда по вечерам растекалось по коридору ее почти непрерывное, на праздничный лад, пение.

Егорычев впервые в жизни потерял сон и аппетит, все валялось у него из рук, а по ночам он млеял и обливался потом от переполнявшего его и еще не изведенного им желанья.

Чем бы это кончилось, неизвестно, если бы однажды ночью Марта сама не пришла к нему и не легла рядом с ним, с властной опытностью определив их дальнейшие отношения. И все закружилось в Егорычеве, облегчающе ввинчиваясь в опустошающую его воронку, а Марта, зарываясь в него распаленным лицом, благодарно шептала ему в подбородок:

— Гут, русиш зольдат... Гут... Зер гут...

И смеялась тихо, счастливо, самозабвенно...

Удальцов же вскоре накрепко сдружился с хозяином. Они всюду показывались вместе и по вечерам часто вдвоем уезжали в город вниз, откуда возвращались, как правило, заполночь и навеселе.

В таких случаях Удальцов обычно заглядывал в пристройку к напарнику, садился на край кровати и выкладывал услышанные в городе новости:

— Нет у нас больше царя, Филя. Временное правительство в Петрограде хозяйничает, кадеты, бомбисты и прочая сволочь, — он закрывал лицо ладонями, упирался локтями в

колени, слегка покачиваясь из стороны в сторону. — Куда идет Россия наша, Филя, куда катится?

Но однажды, где-то уже под осень, зашел к нему сразу после ужина трезвый и сосредоточенный:

— Вот что, Филя, — заговорил гость, испытующе всматриваясь в Егорычева, — решил я уходить, — и поспешно уточнил, — домой уходить, там нынче каждый человек дорог, зазорно мне, русскому офицеру, в тепле и сытости отсиживаться, когда страна криком кричит. — И коротко закончил: — Если надумаешь, пойдем вместе.

От неожиданности у Егорычева голова пошла кругом. Все сразу лихорадочно перемешалось в его сознании: завтрашняя работа, Марта, дорожная неизвестность впереди, но из-под всей этой мешанины с самого дна памяти вдруг всплыла перед ним епифанская даль с жидкими перелесками в сизой дымке полевого рассвета, одурняющие запахи летней косыбы в Приамурье, острый запах дымящегося навоза на дворежном снегу, и зашла в нем душа такой разрывающей ее изнутри тоской, что только и сложилось у него в ответ Удальцову:

— Вестимо.

С облегченными глазами тот принялся деловито излагать ему свой план:

— Уходить надо теперь же, Филя, пока картошка еще на корню стоит, с ней мы с голоду не пропадем. Нам, главное, железнодорожную ветку из виду не терять, она нас прямо к Петрограду выведет, карта у меня есть, не заблудимся. Я ведь родом из Сибири, в лесу, как дома. Хозяин наш, Тешке этот, золотой оказался человек, он нам поможет, сам меня и надумил, нечего, говорит, вам здесь больше делать, домой пора. Харчами на первое время нас снабдит и, как будем уходить, конвоира нашего еще с вечера напоит, а с утра опять накачает, так что у нас с тобой почти сутки для свободного маневра.

В решающий вечер, когда все уже было готово к побегу, Егорычева потянуло к Марте, хотя проститься по-человечески, но постучаться к ней он так и не решился, боялся неосторожным словом выдать себя и тем, может быть, испортить дело. Он вышел во двор, крадучись подобрался к ее окну и заглянул внутрь. Марта, по обыкновению напевая что-то себе под нос, штопала чулки, и веснушчатое лицо ее улыбочиво светило чему-то глубоко затаенному, но радостному.

«Дай тебе Бог, Марта, — мысленно простился он с ней, подаваясь к воротам, где его уже ждал попутчик с хозяином, — детишек вырастить и мужа живым встретить!»

У ворот хозяин встретил Егорычева дружеским хлопком по спине:

— Леб воль, зольдат... Хильф дир Гот...

И путники след в след шагнули в ночь.

3

Шли по ночам, а днем отсыпались в логах и лощинах, спинами тесно прижавшись друг к другу. Лес расступался перед ними — чистый, ухоженный, походивший скорее на заповедник, чем на дикорастущую чащу. Чуть свет им приходилось, завернувшись в прихваченные с собой одеяла, зарываться в опавшую листву, дремотным сознанием чутко вслушиваясь в звуки и шорохи вокруг себя, чтобы в случае малейшей тревоги успеть подобру-поздорову унести ноги подальше от места опасности.

Картошку пекли изредка и с запасом, чтобы лишний раз не разводить огонь, способный навести на их след погоню. Зола за собой тщательно соскребали, след от пепелища густо засыпали листвой и двигались вперед, по направлению к заветной границе.

По вечерам, в сумерках, снизу тянуло печным дымком, обжитым бытом, садовой прелью, доносилось эхо паровозных гудков в рассыпчатом грохоте проходящих составов, и тогда отзывался в них добрым словом и затаенным сожалением Прейсиш-Голланд, но всякий раз при этом тяга к тому, что определялось в их памяти понятием «родина», оказывалась в них сильнее заманчивого соблазна махнуть на все рукой и вернуться обратно к сытному теплу и надежной кровле.

Говорить им приходилось мало, тревожная дорога не располагала их к словоохотливости, они научились понимать друг друга с полуслова, полувзгляда, полунамека. Порою, правда, когда собственная заброшенность чувствовалась острее, чем обычно, между ними возникал односложный, по прихоти разговор:

— Держись, Филя? — озабоченно спрашивал напарника Удальцов. — Дотянешь?

— Мне-то что, Аркадий Никандрыч, я мужик, у меня кость черная, земляная, вы-то как?

— Я постарше, Филя, меня фронт двужильным сделал, да и сам я в деревне, среди мужиков вырос, за меня не болей.

*Прощай, солдат... Помоги тебе Бог... (нем.)

— А мне-то и вовсе трын-трава, Аркадий Никандрч, как люди говорят: Бог терпел и нам велел.

— А раз так, давай спать, Филя.

— Спаси Бог, Аркадий Никандрч.

— Спи, Филя...

Снилась обычно Егорычеву всякая всячина вперемежку: деревенские разности, солдатчина, Марта, барачная жизнь в лагере и опять Марта, а в промежутках — бредовая тьма или полное беспмятство. Просыпался он в сумерках, весь в отголосках недавних снов и видений. И снова, следом за Удальцовым, поднимался в дорогу.

Чем дальше они уходили, тем приземистей и гуще становились леса, тем ниже небо и холоднее ночи. Картошка сошла, поля внизу дразнились сиротливой оголенностью. Путников спасала лишь дикая ягода, еще отживавшая в чащобах свой летний век.

Время от времени, по ночам перед ними вспыхивали внизу светящиеся острова больших станций, невольно приманивая путников усталых доступной близостью жилья, и однажды, вконец обессилев, они не вынесли искушения, потянулись к такому вот острову, хотя, по их же расчетам, до границы оставалось еще далеко.

У самого железнодорожного полотна они залегли в кустах, напряженно вслушиваясь в голоса и звуки на путях, в слабой надежде выловить оттуда какой-либо спасительный для них знак, весть, отклик. Сначала из мешанины станционной переключки к ним пробился отдаленный говор, в котором еще трудно было разобрать отдельные слова или фразы, но с приближением этого говора в нем все отчетливее обозначились знакомые окончания, а уже через минуту-другую обрывки слов слились в отчетливо русскую речь:

— Возни с этим порожняком, Михеич, будь он неладен, куда ни отгони, везде поперек горла.

— А, Васек, прицепим его нынче к скорому и с плеч долой!

— С начальством потом не развяжешься.

— Подумаешь, начальство, развелось их теперь на нашу голову, как собак нерезанных, всем не угодишь.

— И то правда.

— То-то, Васек...

Гулкая радость спасения подхватила Егорычева, оторвала от земли, бросила через кустарник, придорожный кювет и рельсовую паутину навстречу двум керосиновым огням впереди.

— Братцы!

Фонари резко качнулись и замерли во тьме.

— Кто такой? — растерянно отозвалось из темноты. —
Осади назад! Откуда будешь?

— Из плена, братцы, из плена мы! — Егорычева трясло восторженной дрожью. — Я и ротный мой! Почитай, из-под самого Берлина идем!

Фонари снова качнулись и поплыли на сближение с Егорычевым.

— Ишь ты, — уже мягче прозвучало оттуда, — через всю Пруссию проперли и фронта не слышали, выходит, ну и орлы!..

— Где же мы?

— Дома, ребята, дома, на Питерской дороге.

Затем они все вместе сидели на гребешке придорожного кювета, подсвеченного керосиновым пламенем, жадно угощались предложенной путейцами нехитрой снедью.

— Отсудова до Питера уже рукой подать, верст триста с малым хвостиком, — объяснял им путеец постарше, сочувственно поглядывая на них глубоко запавшими, в кустистых бровях глазами. — Тут мы вам подмогнем, посадим на первый попутный и с харчишками тоже сообразим. Только вашего брата нынче больше за шпионов держат, так вы, как схороним вас в порожняке, носу оттудова не показывайте, попадетесь спецу из нынешних, изведут, а то и в распыл пустит, тут теперь пропасть любителей развелось чужую кровь по земле размазывать.

— Вам бы, братцы, только до Питера добраться, — согласно кивал мальчишеским, в первом пуху подбородком молодой, — там нынче все кошки серы и у кого горло громче, тот и пан...

На рассвете путники уже тряслись в сторону Петрограда, наглухо закрытые в порожнем пульмане.

4

Из лагерных рассказов Филарета Егорычева

«Помню, заявили мы тогда с ротным в Питер, почтой, в чем мать родила, а брюхо к спине присохло, плюнуть на нас и по тому времени некому было, кругом народ сам по себе шатается, никому ни до чего дела нет, пьют да жируют, как перед концом света. Ротный мой кинулся было по родственникам,

много их у него там числилось, а их уже и след простыл, разлетелись во все стороны, будто и не жили, благо, квартиры оставили, а то хоть на дворе ночуй. Забрались мы в одну такую, обжились малость, и давай по присутственным местам кружить, где нашим братом занимаются. Туда-сюда сунулись, хоть шаром покати, ни единой живой души нетути, одне бумаги по столам шелестят. Ротный мой в крик: «Сволочи! — трясется. — Отсиделись в тылу за нашей спиной, а когда паленным запахло, по щелям расползлись. Только со мной, — кричит, — шутки плохи, я до самого Главнокомандующего дойду! — и ко мне ястребом: — Айда, держись меня, Егорычев!» И понеслись мы с ним в Главный штаб у большого начальства правды искать. Только вышло, что в Главном том штабе еще пустее пустого, не токмо часового, офицеришки завалящего и того не встретили. «Куда же они, сукины дети, все подевались, — ругмя ругается ротный, — кто же фронтом распоряжается?» Носились, носились мы с ним голым коридором, потом смотрим, большая дверь настежь, а за ней вроде кто-то над бумажками копошится. Ротный заглянул, сразу по швам вытянулся: «Ваше высокопревосходительство, — говорит, — разрешите?» Выглядываю я из-за плеча евотного, смотрю, обличье вроде по газеткам знакомое: волосы ежиком и сам на ежа похож, тут мне сразу в голову ударило: да это же Керенский, собственной персоной! А тут, по-простецкому так, заывает: «Чем могу служить?» Ну, ротный мой и выложил ему все честь по чести, а под конец попросил: «Отправьте нас, Ваше превосходительство, обратно на фронт, успеем еще до победоносного конца довоевать». Главнокомандующий только в колючем затылке у себя почесал: «Какой уж там, — говорит, — победный конец, поручик, последнее не потерять бы, да и фронта уже никакого нет, одна безначальная толчея. Мой вам совет, — говорит, — пробирайтесь на Дон, там, слышно, что-то затевается, может, и выйдет толк». С тем мы и ушли от Керенского, не солоно хлебавши, но только не на Дон, в другую сторону подались, на родину ротного потянуло, да и мне с им до дому сподручнее вместе было. Сколько нас по дорогам мотало, сколько снести пришлось, рассказать, не поверишь, с год колесили, пока до Омска добрались. Тут-то мой ротный и стакнулся с Адмиралом, на чем они сошлись, не мое телячье дело, а только сделался у него мой ротный начальник конвоя, а я, что ж, моя доля подневольная, где приказывали, там и служил. Так-то вот».

Ее закружило в одночасье, когда в огне и крике испепелялась Россия и невзнузданные кони металась по земле, как угорелые. Но сначала была музыка, очень много музыки, да и не мудрено: отец — знаменитый артист, один из основателей Московской консерватории. Казалось, из этой музыки соткан мир, в котором она себя однажды осознала. И еще — горы: синие по утрам и желтые к вечеру, с ледяными шапками в отдалении и с низкорослыми зарослями у подножий. Так и срослось с памятью: музыка и горы, горы и музыка.

Семья даже по тем благодатным временам была огромная, со своим вроде упорядоченным, но все же слегка безалаберным укладом. За стол, вместе с гостями, которые, кстати, никогда не переводились, усаживалось обычно человек до тридцати, а зачастую и больше. Обносили с двух сторон, а то бы и в полдня не управиться. Ели, пили долго, многоречиво, шумно, а после разбредались по огромному, хотя и несколько нескладному дому, предаваясь чисто южнороссийской лени, чтобы, отбездельничав каждый по-своему, снова и в урочный час встретиться за тем же столом.

Почему это вспоминалось именно сейчас, спустя столько лет, в коммунальном ковчеге, где-то посредине мутного московского потопа? Ведь не тем же, не безмятежным своим детством или еще более безмятежной юностью переполняется теперь ее, готовая к отлету в иной мир, душа? Да, да, конечно же, разумеется, не этим, но все же без этого ей не под силу было бы связать концы и начала сомкнувшейся отныне вокруг нее цепи времен и событий.

Помнится, в те годы, как почти все девушки ее возраста, она увлекалась сочинениями российских «властителей дум». Читала запоем, все подряд, без разбору, безвольно втягиваясь в засасывающий омут их словесного самоистязания. Но со временем, исподволь, в ней нарастало чувство сопротивления, протеста как раз вот этому самому их кокетливому мазохизму. Каким-то подсознательным чутьем она улавливала, что в нем, этом мазохизме, при всей его легко узнаваемой достоверности таится некая неподвластная самим авторам, но разрушительная в своей потенции ложь. В чем это выражалось, ей едва ли

удалось бы определить в словах, но фальшь прочитанного в конце концов стала ощущаться ею почти физически.

Один, к примеру (с гениальной, впрочем, убедительностью!), звал человечество вернуться к собственному естеству, к природе, прочь от разлагающей душу и тело цивилизации, но ей-то доподлинно было известно, что сам пророк без этой цивилизации шагу не мог ступить, строго соблюдал свой помещичий интерес, а для его прославленного во всех мыслимых языках вегетарианского стола в доме держали специального повара, а от не менее прославленной крестьянской поддевки на нем неизменно исходил едва уловимый запах «Коти».

Герои другого, живущие в тоске по честному труду и мечтой о времени, когда небо непременно должно обрасти алмазами, почему-то всегда окружены толпой услуживающей им челяди, которую они, без разбора пола и возраста, во всеуслышание «тыкают», заполняя тома волшебных по тонкости и мастерству повестей, рассказов и пьес пустопорожними разговорами о «золотом веке», долженствующем, по их мнению, наступить вот-вот, по крайней мере не позже следующего понедельника.

Третий же и вовсе от книги в книгу тянул однообразный маскарад из философствующих во хмелю или после оного провинциальных купцов, реющих буревестников и благородных цыган с вырванными для осветительных целей сердцами, но при всем своем свободолюбию не стеснялся высокомерно облаивать всякого, кто хотя бы робко пытался возражать его расхожим пошлостям.

(Знать бы ей тогда, что пройдут годы и годы, после которых жизнь надолго, а вернее, до самого конца сведет ее в доверительнейшей дружбе с бывшей женой этого последнего, которая, схоронив своего, отравленного по-родственному собственными дружками, мужа-правдолюбца, станет до конца жизни ходатаем за подругу несчастного Адмирала! Вот уж воистину неисповедимы пути Господни!).

Прискучив книгами, она со всем пылом юной неофилки бросилась в светскую жизнь: портнихи, магазины, парикмахерские, балы и приемы, легкий, ни к чему не обязывающий флирт (однажды она, как ей вдруг показалось, даже увлеклась всерьез, но вскоре, к счастью, одумалась, рассудительно заключив, что овчинка не стоит выделки), но и это поприще оказалось в конце концов не для нее: вскоре ожидание чего-то неотвратимо тревожного вновь подступило к ее, уже готовому к страстям, сердцу.

Брак случился неожиданно-негаданно. Суженый явился, как с неба свалился: герой, овеянный славой Порт-Артура, сорокалетний адмирал, весь в орденах и ослепительных позументах, было от чего сойти с ума восемнадцатилетней девчонке, жаждущей вырваться наконец из-под родительской опеки и зажить своей, свободной от родственных обязательств жизнью.

Но супружеского счастья хватило ей ненадолго. Уже вскоре после рождения сына жизнь опять показалась ей изнуряюще однообразной. Она честно тянула семейную лямку, растила ребенка, играла роль примерной жены, хозяйки дома, хотя заглохшее было на время разьедающее душу ожидание не оставляло ее теперь ни на минуту.

Но однажды на привычной прогулке по набережной Гельсингфорса муж, раскланявшись с проходившим мимо моряком, с нескрываемой уважительностью объяснил ей:

— Это Адмирал — Полярный, тот самый, вы, наверное, уже слышаны о нем...

Разумеется, она была о нем слышана. Адмирал был притчей во языцех в светских кругах Балтийского флота: тоже, как и муж, — бывший порт-артурец, еще и отведавший японского плена, талантливый флотоводец, полярный исследователь, именем которого даже назван остров в северных водах, блестящий собеседник. Водить знакомство с ним, а в особенности близкое, считалось в этих кругах весьма престижной привилегией.

Но тем не менее случайная эта встреча на гельсингфорской набережной едва ли надолго задержалась бы в ее памяти, если бы на другой день она не оказалась на вечере у старого друга мужа, тоже порт-артурца Николая Константиновича Подгурского, где, очутившись лицом к лицу с Адмиралом, с внезапно оборвавшимся сердцем поняла, что такого с ней не было, что прошлого больше не существует и что впереди у нее уже не ожидание, а судьба.

(Мне еще много раз придется фантазировать в отчаянных попытках восстановить возможные разговоры между ними, хотя бы мысленные, и, разумеется, это будет лишь приблизительной имитацией тех, что имели место на самом деле, но за подлинность их первого диалога я готов поручиться головой.

Вот он:

— Я так давно искала тебя.

— Разве это было так трудно?

— На это ушла вся моя жизнь.

— Но у тебя впереди еще так много!

— У нас.

— Ты права: у нас.)

И жизнь сразу сорвалась с накатанной колеи и пошла в разгон во все стороны, только проносились мимо лица, голоса, сливаясь в одну ослепительную, хотя и звучащую ленту: от встречи до встречи и снова до следующей встречи, а в перерывах между встречами его записки и письма, которые заполняли серую пустоту повседневного быта: «Когда я подходил к Гельсингфорсу и знал, что увижу вас, — он казался мне лучшим городом в мире»; «Я всегда думаю о вас»; «Я вас больше, чем люблю» и еще, и еще, и еще до летящей в колдовскую пропасть бесконечности.

В этом головокружительном угаре — где им было замечать, как грозно взбухает вокруг них существующий мир? Город жил так, будто земля еще покоилась под ним на трех несокрушимых китах: сытно, размеренно, незамысловато. По вечерам все так же, как обычно, по набережной фланировала публика, в городском саду духовой оркестр разыгрывал одни и те же вальсы, на рейде даже не дымили, а эдак безмятежно подымливали боевые суда.

Война, гремевшая, казалось, совсем неподалеку, виделась отсюда почти невсамделишной. Кто-то ходил в трауре, у кого-то в доме объявлялись увечные, к кому-то приходили письма из германского плена, но все это не отражалось на спокойной глади городского круговорота, разве лишь придавало ему оттенок патриотической респектабельности.

Мало кто чувствовал, что в волглом февральском воздухе уже повеяло пронзительным ветерком угрожающих перемен: толпа на улице становилась все крикливее, прислуга несговорчивее, а извозчики наглее. Газеты же и того пуще: остервенялись с каждым днем в открытую, и, разумеется, прежде всего против власть предержащих. Время Смуты Смут стояло от каждого на расстоянии вытянутой руки, но никто не хотел замечать его, глядя сквозь него или мимо.

В эти самые дни у нее состоялось ее первое объяснение с мужем. В один из его редких теперь наездов, за обедом, после долгого и тягостного для обоих молчания, он начал первым:

— Вам не кажется, Анна, что письма Александра Васильевича к вам становятся слишком частыми?

— Нет, не кажется, Сергей Николаевич.

— Поймите меня правильно, Анна, — ладони его, тяжело лежавшие на столе, напряженно подрагивали, — я хочу лишь одного — ясности. Если вы увлеклись, то в вашем возрасте это

извинительно, я постараюсь забыть об этом, если же вы любите друг друга, то нам надо расстаться, хотя из-за этого мне придется уйти в отставку.

И затравленными глазами в сторону и вниз на свои ладони, полузакрыв набухшие веки.

Она вдруг поймала себя на том, что не чувствует в себе ни волнения, ни растерянности:

— Дорогой Сергей Николаевич, — начала она и сама подивилась спокойной снисходительности своего тона, — решать я, к сожалению, могу только за себя, Александр Васильевич не брал по отношению ко мне никаких обязательств, во всяком случае до сих пор, но...

Тот не дал ей закончить, внезапно потеряв всякое самообладание, он вскочил с места и заметался, закружился по столовой:

— Вот видите, Анна, вы еще и сами не отдаете себе отчета в том, что происходит между вами и Александром Васильевичем! Вы молоды, у вас просто закружилась голова, я вас понимаю, Александр Васильевич — человек в своем роде необычный, в вашем возрасте нетрудно потерять голову, но подумайте, чем все это может кончиться: у него жена, сын, у вас тоже семья, вы должны одуматься, хотя бы ради детей. — Он остановился перед ней и умоляюще протянул к ней руки. — Анна, дорогая, одумайтесь, еще ничего не потеряно, я попрошу перевода, мы переедем, и у вас это скоро пройдет. — Заметив ее нетерпеливое движение, протестующе заслонился от нее вытянутыми перед собой ладонями. — Не будем больше об этом сегодня, Анна, у вас есть еще время подумать, поговорим окончательно в следующий раз, вы согласны?

Он отчаянно жаждал оттянуть неизбежное, а она не стала настаивать, слишком крепкий и запутанный узел предстояло ей разрубать одним махом, а к этому она была еще не готова.

Но события оказались неотвратимее их намерений. Когда в середине февраля муж получил отпуск и они собрались было в Петроград, выехать из города сделалось уже невозможным. Поезда были битком набиты отпускниками и дезертирами, вместе с которыми устремилась в спасительную столицу вся портовая накипь военных лет: спекулянты, уголовщина, проститутки. О нормальном выезде нечего было и думать.

Благодаря морским связям мужа им удалось вскоре получить каюту на ледоколе «Ермак», направлявшемся в эти дни в Петроград. На нем-то они в конце концов добрались до места, где и застала их февральская революция.

Из дневника Анны Васильевны:

«Уже плоховато было в Финляндии с продовольствием, мы накупили в Ревеле всяких колбас и сели на ледокол. Накануне отъезда я получила в день своих именин от Александра Васильевича корзину ландышей — он заказал их по телеграфу. Мне было жалко их оставлять, я срезала все и положила в чемодан. Мороз был лютый, лед весь в торосах, ледокол одолевал их с трудом, и вместо 4-х часов мы шли больше двенадцати. Ехало много женщин, жен офицеров с детьми. Многие ничего с собой не взяли — есть нечего. Так что мы с собой ничего и не привезли.

А в Гельсингфорсе знали, что я еду, на пристани нас встречали — в Морском собрании был какой-то вечер. Когда я открыла чемодан, чтобы переодеться, оказалось, что все мои ландыши замерзли. Это был последний вечер перед революцией».

Так и запомнился ей на всю ее долгую жизнь этот вечер перед мучительными родами невиданного еще в мире людского взрыва: февраль в Гельсингфорсе, торопливые сборы на вечер в Морском собрании и замерзшие ландыши в распахнутом чемодане...

Боже мой, как давно это было, а все кажется, что это было только вчера!

Петроград уже жил тогда по ту сторону бездны. Бездна разверзлась, отделив время от полвремени, за самый краешек которого уцепилась, исподволь обрастая гнилостной плесенью быта, какая-то невиданная еще и непонятная никому явь. Толпа на улицах приобрела почти карнавальное обличье: цилиндры, лапти, шубы, расхристанные шинели перемешивались со шляпками под вуалью, драными платками и кацавейками. Растекавшаяся повсюду языковая стихия вышелушила из себя несколько обиходных дотоле слов и укоренила их в людском сознании, как основу и цель существования. Главным среди них было понятие «достать». «Купить» уже ничего не означало, кроме чисто технического завершения операции по добыче самого насущного: хлеба, молока, масла или дров. И с каждым днем это самое «достать»

становилось все более навязчивым, требовательным, жестоким.

Но рядом с этим — кабаки и рестораны на любой вкус и карман куролесили чуть ли не круглые сутки, печатный товар громоздился на каждом углу, а театры и кинематографы размножались, как грибы после дождя: количество зрелищ заметно преобладало над запасами хлеба.

Муж исчезал с утра, обивая пороги в многолюдных лабиринтах военного министерства, возвращался по обыкновению поздно и, наспех, в хмуром безмолвии выпив стакан жидкого чаю, запирался у себя в кабинете. Встречались за столом, к прежнему разговору они больше не возвращались: атмосфера тревоги и страха, царившая вокруг, не располагала к откровенности. Днем, в мелочной суете и хлопотах, она отчасти забывалась, слегка отряхивалась от гложущего душу ужаса перед будущим, но по вечерам сердце в ней проваливалось и холодело в невыносимой тоске и темных предчувствиях.

Вести отовсюду слетались одна хуже другой: в Гельсингфорсе зверски убили сослуживца мужа — адмирала Непенина, того самого, что хлопотал для них о каюте на «Ермаке», офицеров кончали самосудом прямо на улицах, в Кронштадте у рва за памятником адмиралу Макарову без суда расправились с цветом командного состава крепости. Главного коменданта и генерал-губернатора города адмирала Вирена закололи штыками на глазах у толпы на Якорной площади. Лава слепой ярости, подогретая пролитой кровью, мертвой петлей стягивалась вокруг Петрограда.

(Знать бы в те поры разгулявшейся в безнаказанности кронштадтской матросне, что спустя всего четыре года у того же рва их будут забивать, как скот, те, кто выманил их на эту кровавую дорожку: как говорится, знал бы, где упасть, соломки подстелил бы, да туго оказалось в ту пору с такой соложкой, ой, как туго!)

Редкие письма от Адмирала тоже не облегчали. В них, сквозь устремленное к ней обожание, с неизменно возрастающим накалом прорывалось негодование происходящим:

«Я хотел вести флот по пути славы и чести, я хотел дать родине вооруженную силу, как я ее понимаю, для решения тех задач, которые так или иначе рано или поздно будут решены, но бессмысленное и глупое правительство и обезумевший дикий (и лишенный подобия), неспособный выйти из психологии рабов народ этого не захотел».

После прощания с Черноморским флотом Адмирала беспо-

рядочно носило по свету, а следом за ним, нагоняя его в самых неожиданных местах, обваливалось событие за событием: Октябрьский переворот, Брестский позор, начало гражданской войны.

И письма его из Америки, Японии, Сингапура, словно эхо этих, дотянувшихся до него событий, отраженным звуком возвращались к ней:

«Временами такая находит тоска, что положительно не могу найти места. Это много даже для меня».

«За эти полгода, проведенные за границей, я дошел, по-видимому, до предела, когда слава, стыд, позор, негодование уже потеряли всякий смысл и я более ими никогда не пользуюсь. Я верю в войну. Она дает право с презрением смотреть на всех политиканствующих хулиганов и хулиганствующих политиков».

«Вы, милая, обожаемая Анна Васильевна, так далеки от меня, что иногда представляетесь каким-то сном. В такую тревожную ночь в совершенно чужом и совершенно ненужном городе я сижу перед Вашим портретом и пишу Вам эти строки.

Даже звезды, на которые я смотрю, думая о Вас, — Южный Крест, Скорпион, Центавр, Арго — все чужое.

Я буду, пока существую, думать о моей звезде — о Вас, Анна Васильевна.»

Запойное возвращение к этим письмам заполняло теперь ее свободное время. Не облегчая ей сердце, они освобождали ее от сосущего одиночества. Было отрадно сознавать, что где-то в мире существует дорогой для нее человек, который постоянно думает о ней и переживает вместе с ней все происходящее вокруг них.

Она завидовала своей старшей сестре Ольге, ощутившей себя в окружающем бедламе, словно рыба в воде. В сестре вдруг обнаружилось сценическое дарование. Ольга целыми днями пропадала в студии Мейерхольда, где ее занимали в небольших ролях, возвращалась за полночь возбужденная, счастливая, переполненная впечатлениями:

— Ох, Аня, если бы ты знала, как это прекрасно! — В восторженном изнеможении бросалась она на диван. — Такого еще в русском театре не было, по сравнению с этим Станиславский похож на нафталиновый музей, в котором вместо людей двигаются ряженые куклы, а у Всеволода Эмильевича феерия, карнавал, фантастическая клоунада. — Сестра даже зажмуривалась от внутреннего упоения. — Это такой режиссер, Аня, это такой режиссер, он перевернет мировой театр! —

и умоляюще устремлялась к ней. — Анечка, у нас на днях премьеры «Маскарада», пойдем со мной, уверяю тебя, ты не пожалеешь...

И она пошла. Пошла скорее от все той же тоски, чем из любопытства. Имя Мейерхольд почти ничего не говорило ей, хотя и перед революцией до нее дотягивались сколки, отзвуки, словесная шелуха слухов о его скандальных выходках и спектаклях.

Но то, что ей довелось увидеть, по-настоящему поразило ее. Перед ней на сцене, в прорезях изреженного занавеса, двигаясь в карнавальном хороводе, корчились в муках, плакали и смеялись маски.

Это был действительно маскарад, превративший лермонтовскую мелодраму в пронзительную и, как это ни странно, удивительно созвучную стоявшей на дворе эпохе трагедию. Здесь театр обнаженно сливался с улицей, где разыгрывалась в ту пору самая, может быть, бесконечная в истории фантазмагория. Сценическая площадка лишь выхватывала из толпы наиболее броское, характерное, вызывающее, втянув заодно и зрителя в свое магическое действо. Казалось, в мире более не оставалось места для человеческого существа в его первоначальном состоянии. Отныне ему можно было спастись, спрятаться, скрыться только в предлагаемой обстоятельствами личине всеобщего маскарада.

После спектакля сестра чуть не силком потащила ее знакомиться с маэстро. Тот стоял в фойе, окруженный актерами и почитателями, бесстрастно внимал многолюдному восхищению, уверенно возвышаясь над собеседниками взлохмаченной головой.

Когда они наконец пробились к нему, сестра, сияя на него розовеющим от волнения лицом, вытолкнула ее впереди себя!

— Всеволод Эмильевич, это моя младшая сестра Аня, жена адмирала Сергея Николаевича Тимирева, сначала даже идти не хотела, теперь вот жаждет познакомиться.

Длинное, вытянутое книзу лицо Мейерхольда с резко выдвинутым вперед подбородком слегка оживилось:

— Весьма рад, весьма рад, когда-то я был накоротке с вашим отцом Василием Ильичем. — И снова, суше: — Весьма рад. Вам действительно понравилось?

— У вашего театра большое будущее...

Маэстро нетерпеливо перебил ее:

— У театра вообще нет будущего, революция сама по себе лучший театр в истории человечества, у театра остается лишь

один путь — слиться с революцией, главное для меня не в том, что я режиссер и актер, а в том, что я большевик...

(Кто бы мог угадать тогда, что, по милости его единомышленников, ему придется заканчивать свои дни на лагерной помойке, а ей, по их же милости, то ли декоратором, то ли билетершей в городском драмтеатре в Рыбинске, ныне, извините, Андропове!)*

Разговаривать было больше не о чем.

Возвращались далеко затемно, а в городе уже постреливали. Пьянящее волшебство только что увиденного с каждым шагом выветривалось из памяти, снова оставляя душу наедине с чернотой, прошитой страхом ночи. Пронеси, Господи!

Утром Сергей Николаевич впервые за последние месяцы остался дома. За чаем он даже заговорил, но по нервной напряженности в голосе, по опущенным долу глазам и прерывистому дыханию можно было определить, чего ему стоила эта внезапная откровенность:

— Вы, разумеется, осудите меня, Анна Васильевна, но я вынужден был договориться с ними, — он вяло кивнул на окно позади себя, предоставляя ей самой догадываться, с кем ему пришлось договариваться. — Главное для нас вырваться отсюда, ради этого допустимо поступиться словом. — Здесь он наконец вскинул на нее затравленные глаза. — Да и что значит слово, данное узурпаторам, ведь они не считают нас за людей, в любую минуту им ничего не стоит поставить меня к стенке! Что тогда будет с вами! У них нет закона, они действуют по праву сильного, где гарантия, что они не придут сюда уже сегодня?

И, словно откликаясь на его вопросительный вызов, поздним вечером к ним нагрянули с обыском. Распоряжался всем рослый, флегматичной повадки латыш весь в коже и портупелях. Он лениво ходил по комнатам, особого интереса к работе подчиненных не проявлял, откровенно позевывал в кулак, а сталкиваясь с нею, всякий раз неуклюже, но галантно расшаркивался:

— Извините, мадам... Приказ, мадам... Миль пардон... Ищем оружие... Приказ Чека, мадам...

Гости ушли за полночь, прихватив с собой в качестве добычи дедовский кремневый пистолет и лицейскую шпагу отца.

С их уходом Сергея Николаевича окончательно прорвало:

— Хамы, хамы, быдло! Не могу больше, не могу! Я им

*Городу Андропову возвращено его прежнее название (*Прим. ред.*).

тысячу клятв подпишу, лишь бы от них подальше, хоть к черту на кулички, только не слышать, не видеть их, эти хамские рожи, я сам отвечу перед Богом и своей совестью! — он вдруг смолк, побарабанил костяшками пальцев по столу и уже деловито продолжил: — Я обязался им ликвидировать военное имущество Тихоокеанского флота, завтра мы уезжаем во Владивосток, я не хочу и не могу больше оставаться здесь даже лишнего дня.

Ей было одновременно и жалко мужа, и стыдно за него. Невольно всплыло из недавнего письма Адмирала: «Мы проиграли войну. Кто ответственен за это? Правительство! Да, но не оно только. Ответственность за это несут прежде всего военные, главным образом офицерство».

Она мысленно пыталась его поставить на место Сергея Николаевича: как бы он повел себя, оказавшись в таком положении, что предпринял бы, стал бы договариваться с теми, кто презрел все людские и Божеские законы, даже ради ее спасения? И в ответ все в ней негодуяще протестовало: нет, никогда, ни при каких условиях!

Душной волной нахлынуло на нее все пережитое ею за последние месяцы: голод, холод, мытарства родных в Кисловодске, где их всей семьей несколько раз выводили на расстрел, требуя выдачи несуществующих у них драгоценностей, унижение мужа, поставленного новыми хозяевами на колени. За что? По какому праву? И где конец всему этому?

Забывшись она уже под утро сном прерывистым и зыбким. Смутные видения роились перед ней, возвращая ей из глубин тревожной памяти все то же лицо и все тот же голос:

— Где тебя искать, Анна?

— Я сама найду тебя, милый!

— Так долго тянется время.

— Все когда-нибудь кончается, дорогой мой.

— И ожидание?

— И ожидание тоже.

— Я боюсь потерять надежду.

— А я ею живу.

— Как мне благодарить тебя?

— Тоже — надеждой...

На следующий день поезд уносил ее на Восток, навстречу ему, спешившему к ней с Запада, и старая планета, скрипя на своей оси, величаво плыла под ними.

Чем дальше уносился поезд от центра России, тем заметнее оттаивала духом и обликом обитавшая за окном страна. Вчерашний день с его вечным страхом, недоеданиями, уличной злобой казался теперь отсюда просто дурным сном: после пайковой осьмушки — даровой хлеб в вагоне-ресторане, после липких очередей — на каждой станции базары со всякой съестной всячиной, после чадных «буржук» — укачивающее и ровное тепло спального купе. Было от чего празднично ликовать! .

Проплывавшая мимо земля набухала веселой тяжестью, курилась по утрам в прогалинах и чащах, выдыхая вовне береженное в зимней спячке тепло, вспыхивала в солнечный полдень оживающей зеленью, рдела на закате всеми цветами радуги, с каждым днем вымывая из памяти тяжесть вчерашней безнадежности.

Остановки зачастую бывали долгими, общие неурядицы дотягивались уже и сюда, но дорожные эти бдения не тяготили ее, наоборот, она жадно хваталась за любую возможность, чтобы побродить по незнакомому городу, узнавая и не узнавая в каждом из них то, что называлось раньше российской провинцией. Выросши в провинции, она, наверное, могла бы с закрытыми глазами пройти по любому такому городу, не заблудившись, настолько все они похожи друг на друга: канцелярская и купеческая кладка в два-три этажа, гостиница и церковь в центре, а вокруг сонная топь приземистых пятистенников под разномастной кровлей, где улицы, люди, жирные свиньи в грязевой жиже сливались в одно безымянное, но пестрое пятно.

И хотя внешне ничего вроде бы не изменилось в их знакомом с детства обличье, над каждым из них нависала теперь едва ощутимая, но забивающая дыхание, как зной в предгрозе, тревога. Окраины как бы отделились от центра и зажили своей особенной от остального города жизнью. Оттуда тянуло острым настоем гремучего раствора вызревавшей там ярости.

В первый раз прорвалось в Иркутске: взбунтовались угольщики на Черемховских копях. На станции образовалась пробка, в которой застряли десятки составов без всякой надежды когда-нибудь стронуться с места. На Восток просачивались только литературные поезда, да и то под усиленным армейским конвоем.

К счастью, Сергей Николаевич был не из тех, кто теряется в подобных обстоятельствах. На другой же день он, вместе с их попутчиками по купе — двумя бойкими лицеистами в бегах, — ухитрились заговорить станционное начальство, представившись уполномоченными некоей японо-американской миссии, и к вечеру они вчетвером уже покачивались на диванах вагона специального назначения в сторону Читы.

Утро застало их на раскатистых виражах Амурской колесушки, постросенной еще каторжниками вдоль извивчивой Шилки. Из окна взгляду открывались такие пади и взгорья в сосновых борах, как в мантиях, что порою дух захватывало, до того они казались ей сказочными, а в этих борах, словно птичьи гнездовья — россыпи деревенских дворов с маковками церковей на отлете, от которых растскались во все стороны мерцающие огоньки как бы плывущих по воздуху свечей. «Вербная, — вдруг догадалась она. — Со всенощной возвращаются».

Сразу же всплыла перед ней предпраздничная суета в их кислородском доме: бабушка Буся с прислугой за тестом на кухне, в который уже раз вспоминает замороженно взирающей на нее сафоновской поросли рассказ своей матери о завернувшем к ним как-то проездом Пушкине:

— Сидит он это, говорит, около меня на кухне, а я, говорит, только-только хлебы испекла, сидит себе, ковыряет когтищами своими острыми хлебы мои, ест да похваливает, так все их и исковырял, пришлось потом свиньям скормить, а то ведь, говорит, и обмирщиться недолго, старой веры была прабабка ваша, Царствие ей Небесное...

И при этом беззвучно сместся тонкогубым ртом чему-то своему, одной ей понятному...

По пути на случайной остановке она столкнулась на перроне с лейтенантом Рыбалтовским, служившим когда-то перед самой войной под командой ее мужа и явно в те времена влюбленным в нее по уши.

— Анна Васильевна, — бросился тот к ней, — здравствуйте, какими судьбами?

— А вы?

— Да как-то так вот попал, — продолжал заливаться радостным румянцем Рыбалтовский. — Хочу в Харбин перебраться.

— Зачем? — бездумно, лишь бы поддержать разговор, спросила она.

— А там сейчас Колчак.

— Вот как? — выдохнула она и сама не узнала своего

голоса, звучавшего не изнутри, а словно бы издалека и со стороны. — И давно?

Видно, от него не укрылось ее внезапное смятение, он тут же смешался, погас и, торопливо пробормотав извинения, поспешил расстаться с нею.

Оставшуюся часть пути до Владивостока она не помнила себя. Вокруг нее роились голоса, перед глазами мелькали предметы и лица, мимо окон, в смене дня и ночи, пронесился таежный простор, но все это только обволакивало ее со всех сторон, не затрагивая в ней ни слуха, ни зрения: она как бы забаррикадировалась в самой себе, в том самом прошлом, которое составляло с тех пор смысл ее существования. По малым крупичкам — обрывкам фраз, отдельным жестам, сбереженной памятью улыбке — она мысленно восстанавливала его облик, растворенный было в быстротекущем и транжиристом времени, чтобы снова вернуться туда, откуда тянулся к ней единственный голос. Его голос:

— Я больше чем люблю вас...

Во Владивостоке, в отеле, едва оставшись наедине с собой, она написала ему письмо, а потом металась по городу в поисках оказии, пока ее не надоумили обратиться с этим письмом в английское консульство: после Бреста он все еще числился на английской военной службе.

Уже через несколько дней с нарочным ей был доставлен его ответ: «Передо мной лежит Ваше письмо, и я не знаю — действительность это или я сам до него додумался».

Связь времен, разорванная роковой катастрофой, сомкнулась в ней мгновенным решением: ехать, ехать, не мешкая ни дня, ни часа, ни даже минуты!

Казалось, Сергей Николаевич ждал ее с этим разговором. Едва выйдя и мельком взглянув на нее, он отвернулся и с заметным усилием выдал куда-то в стену перед собой:

— Вы вернетесь?

Ей вдруг стало нестерпимо жаль мужа: для нее — женщины с головы до ног — не трудно было представить его состояние, но изменить она уже ничего не могла.

Она встала, подошла к нему, молча взяла его за руку и тыльной стороной ладони легонько прижала к своей щеке:

— Я должна его видеть, Сергей Николаевич!

Лишь тут он взглянул на нее, снизу вверх по-собачьи преданными глазами:

— Я не в праве удерживать вас, Анна Васильевна, к тому же это и бессмысленно, но если вы вернетесь, я буду счастлив.

И приник к ее руке с порывистой благодарностью.

В Харбине Адмирал не встретил ее, и у нее оборвалось сердце: должно было случиться что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы он не оказался на месте вовремя, тем более для свидания с ней.

После суматошных поисков и расспросов ей, наконец, удалось выяснить, где находится его салон-вагон. Она летела туда, не чуя земли под собой, но часовой на пороге тамбура, лениво позевывая сверху вниз, добродушно осадил ее:

— Его превосходительство на вокзал ушедши, гостей встречать, кажись, из Читы...

Кружа по лабиринтам станционных путей, она опять-таки разминулась бы с ним, если бы в просвете между двумя составами они не столкнулись лицом к лицу.

— Александр Васильевич, милый, — задохнулась она от неожиданности, — что за маскарад?

В английской, защитного цвета, форме он был почти неузнаваем: выглядел меньше ростом, суше, отчужденнее.

— А вы? — Он прижимал ее руки к губам. — Этот ваш траур?

— Зимой умер отец.

— Извините...

Они шли теперь наобум, куда глаза глядят, в полное пространство перед собой, где, кроме них двоих, не было никого, кто мог бы услышать слова, которые складывались между ними.

— Мы не виделись, по-мосму, целую вечность, Анна.

— Мне кажется, больше.

— Неужели через день-два опять на целую вечность?

— Теперь каждый день — вечность, милый.

— А вы не уезжайте.

— Не шутите так, Александр Васильевич.

— А я и не шучу, — он остановился и с вопросительной требовательностью взглянул на нее. — Оставайтесь со мной, я буду вашим рабом, буду, к примеру, чистить вам ботинки, вы сами увидите, какой это будет удобный институт.

— Конечно, — ей хотелось и смеяться, и плакать одновременно, — вы можете уговорить кого хотите, но что из этого выйдет?

Он сжал ее руки в своих и отчеканил твердо, даже как бы с вызовом:

— Нет, уговаривать я вас не буду, вы это должны решить сами...

Затем дни и ночи слились для нее в одну ликующую полосу света, закружив ее в своем хлопотливом водовороте. Они расставались только днем, когда ему приходилось заниматься делами в правлении дороги у Хорвата, откуда, вымотанный до предела, он возвращался к ней в гостиницу, садился рядом, припадал щекой в готовно подставленные ею ладони и тут же забывался в умиротворенной дреме. Она вглядывалась в его измученное дневной бестолковщиной лицо, боясь высвободить затекающие руки, чтобы не потревожить его, и сердце в ней сладостно обмирало от обессиливающей ее нежности, а губы сами по себе беззвучно складывали над ним вместо колыбельной слова заученной ею еще в детстве от бабки казачьей песни:

Долина моя, долинушка,
Долина широкая!
Из-за этой за долинушки
Заря, братцы, занималась.
Из-за этой ясной зореньки
Солнце, братцы, выкаталось...

В эти минуты она испытывала к нему такую щемящую привязанность, что казалось, нет и не будет на свете силы, которая бы могла когда-нибудь заставить ее отказаться от него. Но днем, наедине с собой, ей трудно было избыть из себя вязкие мысли о сыне и муже, составлявшим немалую часть ее жизни, от которой, оказалось, не так-то просто было отмахнуться.

Главной не оставлявшей ее болью был сын. В начале лета семнадцатого года она отправила его к матери в Кисловодск, где он и затерялся с тех пор и откуда о нем не поступало никаких известий. Ей оставалось только теряться в догадках, корить себя и обмирать от страхов. Дорого она бы дала, чтобы сын теперь оказался здесь, рядом с ней. От одной мысли о том, что ей уже не доведется увидеть его, у нее холодело сердце.

(Ровно через тридцать лет сердобольный вертухай на Карагандинском лагпункте расскажет ей, как ссученные урки забивали ее сына насмерть в лагерной бане, как кричал он и рвался из-под их звериного нахрапа, как с номерной биркой на ноге сброшен был в общую яму за зоной, и она горько пожалеет тогда, что не сгинул он в самом начале и что вообще появился на свет по ее вине для подобной участи.)

Закончить с мужем оказалось тоже не так-то просто, как представлялось раньше. Его умоляющие письма, наподобие охотничьих флажков, тянулись за ней по пятам, опутывая ее,

словно зверя, почти непроницаемым для нее загоном. И в каждом из них одно и то же: готов все простить (как будто она в этом нуждалась), забыть (словно такое забывается!), не губить ни семью, ни себя (а что могло их спасти?) и вернуться во Владивосток. Она слишком хорошо знала Сергея Николаевича, чтобы терзаться совестью за его душевный покой, он утешался так же быстро, как и расстраивался, но походя отмахнуться от прожитых с ним лет ей было не в состоянии.

Отшелестел календарными листочками месяц в Харбине, пронизанный праздничной лихорадкой их встреч и ее ожиданий, а она все еще не переставала разрываться между «остаться» и «уехать». Остаться означало разом переиначить свою судьбу заново, уехать — оказаться в житейском капкане, из которого ей уже едва ли удастся вырваться.

С ним об этом она заговаривать не решалась, оберегая и без того быстротечные часы его равновесия и покоя, но однажды он сам вызвал ее на окончательную откровенность.

— Анна Васильевна, — по обыкновению подремывая на ее ладонях, он вдруг открыл глаза, повернулся к ней всем лицом, и она прочла в глубине его тревожных зрачков почти паническую мольбу. — Вы останетесь, не правда ли?

Эта рвущаяся из него мольба и освободила ее наконец от сомнений: отныне она даже если бы и захотела, не могла, не имела права его оставить.

— Некуда мне от вас уходить, Александр Васильевич, — чуть запнулась, но затем выговорила твердо, — от тебя, Саша.

Весь разом озарившись, он вскочил, мгновенно расправился и закурил, замельтешил по комнате.

— Мы уедем в Японию, я уже попросил отставки, с Хорватом я, видно, так и не сговорюсь, он все еще живет в прошлом веке, одними призраками и химерами, ему продолжает казаться, что положение можно исправить с помощью лишней сотни нагаск или шпицрутенов. Ему, из его китайской тмутаракани, события в Москве и Петербурге кажутся шалостями избалованных проказников, которым некому всыпать по первое число, а я-то через это прошел, знаю, что не порочные ребятишки безобразничают, а плотину прорвало, удержи теперь этот поток, попробуй, все на своем пути сносит. Пока мы здесь в политические бирюльки играем, огонь сюда подбирается, и почва кругом очень этому способствует, пороховая бочка у нас под ногами, не только спички, искры крошечной хватит, чтобы вспыхнуть, а тогда, как в народе говорят, пришла беда — отворяй ворота, костей не соберем. — Он в изне-

можении бросился опять на диван, закрыл глаза, успокаиваясь. — Да, да, в Японию, мне временно надо побыть в стороне, собраться с мыслями, поговорить с людьми, взвесить все «про» и «контра», решить, что еще не поздно предпринять. — И опять к ней, с той же мольбой: — Анна Васильевна, дорогая, прав ли я, а?

— Для меня — всегда.

— А мне больше ничего и не нужно! — В его излившейся на нее радости было что-то ребячье. — Нет, нет, Анна, я не шучу, кроме вашей поддержки, мне действительно ничего не нужно! Хотя, — он вдруг мечтательно расслабился, — иногда так хочется уйти, скрыться от всего этого, забыть о том, что творится на свете, запереться где-нибудь на краю земли в четырех стенах и заниматься наукой, одной только наукой, если бы вы знали, Анна Васильевна, сколько драгоценного материала накопилось у меня после моих северных экспедиций, все описать жизни не хватит! — И тут же, спохватившись, одной лишь снисходительной усмешкой перечеркнул сказанное: — Но если не я, не такие, как я, тогда кто же?

И, словно отвечая ему, из-за окна к ним потянулся отдаленный звон колоколов. Долгий, протяжный, оплывающий звук словно взывал к кому-то издалека в надежде на отклик и возвращение. Звук тянулся так долго, гулко и маятно, что, казалось, ему не будет конца.

— Будто знамение! — невольно вырвалось у него, но тут же, смутившись, он поправился: — Странное совпадение, не правда ли?

Как и чем она могла ответить ему, кроме обращенной к нему молчаливой преданности?

А колокол гудел и гудел за окном, в комнате, в них самих.

6

Из дневника Анны Васильевны:

«Александр Васильевич увез меня в Никко, в горы.

Это старый город храмов, куда идут толпы паломников со всей Японии, все в белом, с циновками-постелями за плечами. Тут я поняла, что значит — возьми свой одр и ходи: это просто циновка. Везде бамбуковые водопроводы на весу, всюду шелест струящейся воды. Александр смеялся: «Мы удалились под сень струй...»

Отложившись в них, гул этот затем вобрал в себя их путь через горы, доли и морской простор в сказочное захолустье японской провинции, где однажды снова возник вовне, пробившись к ней в гостиничный номер сквозь бамбуковые жалюзи единственного окна.

Возник, возвращая ее из ленивой дремы экзотической чужбины в гремучую явь оставленной, но так и не забытой ею земли: где-то там, на том берегу хмурого моря, осыпалась, обваливалась в пропасть земная твердь, еще хранившая следы ее ног, и плавился, выгорал воздух, которым она совсем недавно дышала.

В ней, как ожившая куколка в задубевшем было коконе, вдруг затеплилось, зашевелилось чувство боли, потери, горечи, растворивших наподобие щелочи панцирь сковавшего ее здесь обманчивого покоя: видно, не существует на земле места, где человеку удалось бы спрятаться от собственной памяти, наступающей его, будто тень — везде и повсюду, в какие бы медвежьи углы света он ни пытался скрыться.

Колокольный гул заполнял ее, оседая в ней обреченной уверенностью, что нет для нее в этом мире счастья ни с кем и ни в чем, пока остается в нем хоть один угол, в каком сохранились корни ее родства и душевной сути. Вспомнить, понять, обернуться, увидеть истлевающее в муках прошлое и обратиться в соляной столб — это, наверное, выше сил человеческих.

И тут же ей почему-то передалось, что там, за стеной, в соседнем номере, Адмирал думает о том же самом, и, уже не сомневаясь в этом, она заторопилась к нему, безотчетно охорашиваясь на ходу: он выслушает, он поймет, он решит.

А тот, действительно, будто ждал ее, сразу же оживился, расцвел к ней навстречу:

— Анна Васильевна, дорогая, у меня к вам просьба, пойдете со мной в русскую церковь! Слышите, благовестят!

Вышли и подались через весь город туда — на колокольный звон, гулкой струной свисавший с безоблачного неба. Затеяливое кружево улиц и улочек, густо прошитое сверкающими в солнечном свете каскадами бамбуковых водопадов, в конце концов вывело их к подбористой, чуть выше кладбищенской часовни, церквушке, подпиравшей высь на городской окраине.

Внутри церквушка выглядела еще игрушечнее, чем снару-

жи, но и в этой малости прихожан собралось — по пальцам сосчитать, жались по стенам разрозненными группками, заученно повторяя вслед за священником вязь православных молитв по-японски. В душных сумерках людские силуэты и лица гляделись смутным продолжением стенных росписей, и оттого здесь казалось совсем пусто.

Тщедушный старичок священник, на котором колом коробилось новенькое, с игопочки, облачение, невнятно проборматывал неожиданным в нем басом стих за стихом Евангелия, дымил ладаном, помахивал кропилом по сторонам, похрустывал при каждом движении жесткой ризой, будто доспехами.

Она не видела Адмирала, он стоял у нее за спиной, но исходившее от него оттуда взыскующее напряжение передавалось ей, проникая ее предчувствием скорой и уже решающей для них обоих дороги.

— Скоро предвари, прежде даже не поработимся, — беззвучно складывали ее губы, а душа исходила, источалась смертным томлением, — врагом хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби крестом Твоим борющиеся нас, да уразумеют, како может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче...

8

Из дневника Анны Васильевны:

«Когда мы возвращались, я сказала ему: «Я знаю, что за все надо платить — и за то, что мы вместе, но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости, я на все согласна».

«Что же, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата».

9

Некоторые сведения о А.В. Книпер-Тимиревой*:

Родилась в 1893 году в Кисловодске. В 1906-м семья переехала в Петербург, где Анна Васильевна кончила гимназию кн. Оболенской (1911) и занималась рисунком и живописью в частной студии С.М. Зейденберга. Свободно владела француз-

*Сведения эти взяты из исторического альманаха «Минувшее», № 1 (Прим. ред.).

ским и немецким. В 1918-19 гг. в Омске — переводчица отдела печати при Управлении делами Совета Министров и Верховного правления: работала в мастерской по шитью белья и на раздаче его больным и раненым воинам. Самоарестовалась вместе с Колчаком в январе 1920-го, освобождена в том же году по октябрьской амнистии: в мае 1921-го вторично арестована. Находилась в тюрьмах Иркутска и Новониколаевска, освобождена летом 1922-го в Москве из Бутырской тюрьмы. В 1925 году арестована и административно выслана из Москвы на 3 года, жила в Тарусе. В четвертый раз взята в апреле 1935-го, в мае получила по ст. 58-10 пять лет лагерей, которые через три месяца при пересмотре дела заменены ограничением проживания («минус 15») на 3 года. Возвращена из Забайкальского лагеря, где начала отбывать срок, жила в Вышнем Волочке, Верее, Малоярославце. 25 марта 1938 года, за несколько дней до окончания срока «минуса», арестована в Малоярославце и в апреле 1939-го осуждена по прежней статье на 8 лет лагерей; в карагандинских лагерях была сначала на общих работах, потом — художницей клуба Бурминского отделения. После освобождения жила за 100-м километром от Москвы (ст. Завидово Окт. ж.д.). 21 декабря 1949 года арестована в Щербакове как повторница без предъявления нового обвинения. 10 месяцев провела в тюрьме Ярославля и в октябре 1950-го отправлена этапом в Енисейск до особого распоряжения, ссылка снята в 1954 году. Затем в «минусе» до 1960 года (Рыбинск). В промежутках между арестами работала библиотекарем, архивариусом, дошкольным воспитателем, чертежником, ретушером, картографом (Москва), членом артели вышивальщиц (Таруса), инструктором по росписи игрушек (Завидово), маляром (в енисейской ссылке), бутафором и художником в театре (Рыбинск); подолгу оставалась безработной или перебивалась случайными заработками. Реабилитирована в марте 1960-го, с сентября того же года на пенсии. В 1911-18 гг. замужем за С.Н. Тимиревым. Замужем за В.К. Книпером с 1922-го. До получения ответа прокурора о гибели и реабилитации сына, В.С. Тимирева (1956), носила двойную фамилию.

В июне красные снова прорвали фронт у Сарапуля и Бирска, а уже меньше чем через месяц взяли Пермь и Кунгур. Положение усугублялось разложением в войсках: 21-й полк перебил офицеров и в полном составе перешел к противнику.

Жара на дворе держалась адская, отчего вокруг плохо оборудованных лазаретов принялись расплзаться эпидемии. Медикаментов и перевязочного материала едва хватало на иностранцев, со своими же обходились домашними средствами, а практически — стиранным тряпьем, хлороформом и касторкой. Угрожающе чувствовалось, что наступает перелом, и чем дальше, тем безнадежнее.

В эти дни Адмирал, оставаясь внешне спокойным, терял последние остатки самообладания. Укоренившаяся привычка в минуты волнения врезаться перочинным ножиком для чинки карандашей в подлокотники кресла заметно усилилась: на подлокотниках теперь, что называется, не оставалось живого места.

В такие минуты он предпочитал никого не принимать и встречался, и то по долгу службы, лишь с Удальцовым, а поздним вечером — с Анной Васильевной. Адмирала начальник конвоя изучил давно и досконально, поэтому лишний раз ему на глаза не показывался, справедливо полагая, что, когда понадобится, его позовут.

К Анне же Васильевне Удальцов относился почти с благоговением, но понять ее до конца или хотя бы приблизиться к такому пониманию Удальцову было просто не под силу. Казалось бы, природа не обошла ее ни одним достоинством или замечательным свойством. Ум, красота, обаяние, умение держаться и владеть собой, но — вот поди ж ты! — она держалась от Адмирала всегда на расстоянии, словно оберегая этим что-то такое, только для них двоих важное и дорогое, к чему не должно пристать ни одного, даже самого малого пятнышка.

Разумеется, Удальцов знал о них все или почти все, иного и быть не могло, каким бы он тогда оказался начальником конвоя, но это его сокровенное знание лишь увеличивало в нем чувство самоотреченной привязанности к ним обоим.

Скажи ему, пожалуй: «Пусти себе, Удальцов, пулю в лоб

ради них двоих!»), кажется, пустил бы, не раздумывая. «Такое счастье, видно, — думал он, — на миллион двум выпадает, а то и реже!»

Поэтому, когда однажды Адмирал вызвал его и, виновато отводя от него издерганные глаза, предложил часть конвоя передать обескровленному фронту, он лишь вытянулся и с готовностью щелкнул каблуками:

— Когда прикажете выступить, Ваше высокопревосходительство?

Только тут Адмирал вдруг внимательно взглянул на него проникающим взглядом и, как впервые по-настоящему узнавая, совсем по-детски озарился откровенной радостью:

— Что же мешкать, полковник, тотчас поступайте в распоряжение генерала Дитерихса, и с Богом!

— Я всего лишь ротмистр, Ваше высокопревосходительство.

— Старшие не ошибаются, полковник.

И снова озарился все также: по-детски обезоруживающе.

Удальцова подхватила такая жаркая волна, смешанная из восхищения и сочувствия к этому большому ребенку, что все принятые в таких случаях уставные формулировки разом вылетели у него из головы.

— Благодарю вас, Ваше высокопревосходительство. — И уже на прощание, сквозь спазмы в горле, с порога: — Бог не выдаст, Ваше высокопревосходительство...

Во дворе плыл, плавился душный день. У коновязей, отмахиваясь хвостами от мух и шмелей, томились осоловевшие лошади. Воздух казался выжатым под прессом безоблачно-гремучего неба, отчего все живое укрылось в тени кустов и подсобных построек.

Но стоило Удальцову выявиться на штабном крыльце, как перед ним, словно из-под земли или вот этого, обессиленного от самого себя воздуха, возник безмолвный, но, как всегда, ко всему готовый Егорычев.

— Такие дела, Филя, придется идти на фронт подпирать, Верховный обращается к сознанию своего конвоя... — Он хотел было продолжить, но, едва сойдясь с ординарцем глазами, догадался, что незачем, поэтому закончил совсем буднично:

— Собирай молодцов, выступаем.

Тот, как появился, так и пропал, будто растаял в расплавленном воздухе...

У Дитерихса в кабинете, как в келье у послушника: икона на иконе, пахнет воском и ладаном. На столе — штабные карты вперемешку с молитвенниками. Если бы не гене-

ральский мундир на хозяине, его можно бы тоже принять за схимника: лицо одутловатое, болезненно бледное, глаза полуприкрыты, пухлые руки лодочкой сдвинуты у подбородка. На вошедшего даже не взглянул, произнес неожиданно густым басом:

— Положение отчаянное, Аркадий Никандрыч, если не безнадежное, что делать — ума не приложу, в некоторых дивизиях по триста-четыреста боеспособных единиц, но когда положение безнадежное, — тут он поднял наконец на собеседника пухлое, в черных усах щеткой, лицо, — то, разумеется, зовут Дитерихса, а ведь я предупреждал, в самом начале предупреждал, что Пермь — это случайно удавшаяся авантюра. — Он скорбно вздохнул и снова прикрыл веки. — Ох уж эти нынешние наполеоны из бывших статских фельдшеро́в и полицейских исправников! Драть их надо почаще, а не войсковые соединения доверять! — Тут он, будто с неохотой, поднялся лицом к иконе Божьей Матери в красном углу, исто-во, с известным даже экстазом перекрестился. — Не оставь матушку-Россию, заступница наша вечная, не допусти ее бесноватым на поругание! — И уже окончательно поворачиваясь к Удальцову, буднично поинтересовался: — Кони оседланы?..

Через час спешных приготовлений конная колонна со штабным значком Главнокомандующего впереди уверенной рысью двигалась на Ишим. Даже неопытному глазу представлялось совершенно очевидным, что никакого фронта вообще не существовало, фронт давным-давно исчез, расползся во все стороны, не зная, да и не имея особой охоты знать, где у него какие-либо концы и начала. Еще труднее было отыскать в этом хаосе разрозненных повозок, пеших и конных, здоровых и раненых хоть какое-то подобие командования, которое пыталось бы управлять этим хаосом.

Единственно, что могло еще если не изменить ход событий, то, во всяком случае, собрать эту одышливую мешанину во что-то целое, был успех, пусть самый маленький, самый иллюзорный успех.

И Дитерихс, несомненно, это понимал.

— Вот что, Аркадий Никандрыч, — генерал повернул к Удальцову вдруг заострившееся и почерневшее лицо, — видите ту деревеньку под самой рекой? Если сейчас же, с ходу нам удастся ее взять, полдела будет сделано, люди опомнятся, вид хорошего подкрепления — лучшее лекарство от паники, а там посмотрим, на войне случай — великое дело. — И сразу же скомандовал: — Развернуться двумя лавами... Ну, с Богом, братцы!

Удальцову никогда не приходилось участвовать в конной атаке. Поначалу у него даже дух захватило: сливаясь с крупной рысью передовой лавы, он всем своим существом чуял ее всесокрушающую красоту и мощь. И только у самой деревни, у ее окраинных садов скорее осознал, а не услышал, что их беспамятное «ура» перекрывает прерывистый лай пулеметов, но, прежде чем почувствовать страх, увидел перед собой искаженное ужасом лицо пулеметчика и, опускаясь всем корпусом вместе с шашкой к этому лицу, почти со звериным восторгом увидел, как стриженный череп у того разваливается надвое под ее острием.

Так близко, почти у себя под рукой, Удальцов видел смерть впервые в жизни. Наверное, оттого, когда схлынуло мгновение первого торжества, он вдруг ощутил в себе, во всем своем теле такое опустошение, такую, почти нечеловеческую, усталость, как если бы внезапно сделался совершенно полым. Тогда Удальцов впервые оглянулся, поднял глаза к знойному небу, и оно неожиданно увиделось ему изжелта-желтым. «Господи, — безмолвно взмолился он туда, в это небо, — по плечу ли мне такой груз!»

2

Из записок генерала Филатьева* :

«Удар был очень удачен: весь правый фланг красных был совершенно разбит и отброшен за Курган; на всем остальном фронте они спешно отходили за реку Тобол, бросая большую военную добычу. Заключительным актом этого удара и должен был служить натиск казаков в тылу красных для окончательного их разгрома. Тогда Омск действительно получил бы большую передышку. 10 сентября казакам назначено было произвести удар.

С началом успеха Адмирал выехал на фронт к казачьему отряду, и 10 сентября, вместо донесения о начале налета, Дитерихс получает от самого Адмирала телеграмму: «Ввиду переутомления войск и в особенности казаков, остановил войска на трехдневный отдых. Очень Вам благодарен за успех». Надо заметить, что до этих пор казаки ни в каких столкновениях не участвовали, а просто следовали походным порядком за левым флангом Дитерихса.

*Генерал-квартирмейстер штаба Адмирала.

Остановка наступления, конечно, дала возможность красным одуматься и подвезти подкрепление в три дивизии, и в середине октября они сами сделали такой нажим, что 3-я армия генерала Сахарова неудержимо покатилась вдоль железной дороги на Петропавловск.

Не следует закрывать глаза, что в неудаче 10 сентября, точнее сказать, в невыполнении генералом Ивановым-Риновым поставленной ему задачи, значительная доля вины падает на главнокомандующего генерала Дитерихса. Он знал, что полицейская ищейка Иванов-Ринов не имеет никакого понятия о командовании войсками, следовательно, под тем или иным предлогом он должен был не допустить его становиться во главе казаков в такую ответственную минуту, а если это было невозможно сделать по причинам внутренне-политическим, то ему самому надлежало быть при казачьем отряде. Во всяком случае, ему следовало энергично протестовать против вмешательства Адмирала в его боевые распоряжения и доложить, что остановить войска на трехдневный отдых в такую минуту является тягчайшим воинским преступлением. Но, увы, как общее правило, все наши старшие начальники страдали одним и тем же недугом — полным отсутствием гражданского мужества в отстаивании своего мнения. Это не так бросалось в глаза в нормальное время, как с первых же дней революции.

С неудачей под Курганом пробил предпоследний час Адмирала как Верховного Правителя, его правительства и всей Сибирской Белой борьбы. Пора было взяться за ум, перестать надеяться на чудеса и отказаться от навязчивой идеи о невозможности покинуть Омск. Время было обратиться к какому-либо осуществимому плану, чтобы спасти хотя бы то, что было доступно».

3

На другой день ввечеру в здании городской женской гимназии устраивался бал в честь победителей. И хотя Удальцов в некотором роде мог считать себя героем дня, особой охоты тащиться туда у него не было. В самой атмосфере этих балов, все учащавшихся по мере ухудшения общей обстановки, чувствовалось что-то обреченное, будто в бравурной музыке на официальных похоронах.

Каждый в таких случаях смотрел на каждого, и на себя

самого в том числе, как на участника заранее отрепетированного маскарада, в котором следовало из всех сил разыгрывать спокойствие и непринужденность, долженствующие свойствовать подобного рода сборищам вообще и во все времена. Но каждый в то же время прекрасно сознавал, что участвует в очередном самообмане, что никакими благотворительными балами уже ничего не поправишь и что лучше было бы не мучить себя и других, а побыстрее разойтись по домам, где, оставшись наедине с собой, взглянуть в свою душу, как в бездну, и если не задохнуться от собственного страха, то хотя бы попытаться в трезвом размышлении перед самим собой преодолеть его упованием на лучшее или молитвой.

Но узнав, что Верховный отправляется туда же, Удальцов счел себя не вправе манкировать своими обязанностями даже в такой, на посторонний взгляд, житейской ситуации.

Первый, с кем он столкнулся, оказавшись в гимназическом вестибюле, был генерал Нокс. И хотя отношения их до сих пор оставались чисто официальными, тот, не чинясь, первый бросился к нему с поздравлениями.

— Рад вас видеть, полковник! — Почти незаметно усилив интонацию на последнем слове, он явно подчеркивал свою осведомленность. — Блестящая операция! Говорят, вы оказались в самом пекле? Скажите, полковник, что я могу для вас сделать?

У этого человека было все безукоризненно, от пробора до произношения. Он выглядел джентльменом с головы до ног, но понять, что же все-таки происходит в стране, где он представляет Королевство Ее Величества, ему, при всей его профессиональной наблюдательности, оказалось не под силу. Для него Россия представлялась чем-то средним между Индией и Непалом, проблемы которых решались в его ухоженной голове с простотой, достойной умственного уровня английского денди.

Но, надо отдать ему должное, Нокс старался, Нокс очень старался, а одно это заслуживало снисходительности.

— Благодарю вас, генерал, — как можно дружелюбнее откликнулся Удальцов. — Лично мне ничего не нужно, вот если бы вы помогли мне немного поприличнее обмундировать моих солдат, я был бы вам весьма признателен. По правде говоря, мне на них самому смотреть совестно.

Джентльмен мгновенно захлопнул раковину своего радушия, сделавшись сухим и чопорным:

— Постараюсь сделать все, что в моих силах. — Но тут же несколько смягчил свою, как, видно, ему казалось, слишком

заметную холодность. — Тем не менее, полковник, что бы ни случилось в вашей жизни, вы можете всегда рассчитывать на мою помощь, слово английского офицера!

«Разведчика», — мысленно уточнил Удальцов, глядя в натренированную верховой ездой стройную спину англичанина, но при этом Нокс так и не вызвал у него ни раздражения, ни, тем более, неприязни: не лучше и не хуже других иностранцев, прикомандированных к ставке Верховного, скорее, даже лучше!

К Адмиралу было не пробиться сквозь штабную свиту и дамское окружение, но наметанным глазом Удальцов сразу определил, что его молодцы из конвоя расположились вокруг Верховного с таким точным расчетом, что сколько-нибудь опасной личности доступ туда оказался закрыт наглухо.

А бал тем временем закручивало все лихорадочнее. Гимназистки старших классов, впервые в жизни очутившиеся в такой волнующей близости с офицерским обществом, наподобие пестрых бабочек порхали по всему залу, бесцеремонно расхватывая смущенных их жадным напором кавалеров.

Вот тогда-то, в тот не по-сентябрьски душный вечер, Удальцов и выделил из этого роя обгоравших в своем первом взрослом восторге мотыльков одного — с тонким, почти еще детским лицом, добрую половину которого занимали распахнутые от восхищения всем происходящим, густо-василькового цвета глаза. «Боже мой, Боже мой, — обомлев, подумал он тогда, неужели такое бывает да еще и наяву!»

Ему, конечно, ничего не стоило пригласить ее на любой танец, он был в центре внимания, и она была бы только счастлива разделить с ним сегодняшнее торжество, но едва Удальцов решался, как что-то всякий раз останавливало его. Эта внезапная робость ему самому была в новинку: — он — стреляный-перестрелянный ловелас и гуляка — вдруг спасовал перед первой попавшейся ему на глаза гимназисткой. Он даже пытался посмеиваться над собой, но в конце концов ему пришлось признаться, что пасовал он все-таки не перед ней самой, а перед ее прямо-таки вызывающей беззащитностью. Наверное, эта хрупкая ее невесомость и служили ей лучшей защитой от слишком откровенных посягательств.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, скорее всего, очередным романтическим воспоминанием, если бы гимназистку не подвели к нему ее собственные родители:

— Вот полюбуйте, — тучный, страдающий одышкой, хотя и не старый еще, отец обливался смущенным потом, —

жаждет познакомиться с героем дня, а собственного духу, простите, не хватает, — и под строгим взглядом довольно сухопарой жены поспешил с представлениями. — Простите ради Бога, полковник, в этом бедламе часом о простейших приличиях забываешь! Статский советник Иоан Аристархович Катушев, по пароходной, так сказать, части, речной жук, извините, а это моя дражайшая половина Анна Петровна, урожденная Тальберг, а это, так сказать, наше единственное чадо Елена, прошу любить и жаловать.

Преодолев весь этот многоступенчатый период, Катушев наконец отдышался и поспешил ретироваться, но целенаправленно — в сторону буфета.

Во все время, пока мадам Катушева старалась занимать почетного гостя светским разговором, Лена смотрела на него еще шире прежнего распахнутыми глазами, будто силилась вобрать его целиком, без остатка в их густо-васильковый омут, чтобы уже никогда не выпустить оттуда.

(А ведь преуспела гимназическая пигалица! Долгие-долгие годы потом тянулся Удальцов за этим омутом по всему свету, но, по правде говоря, никогда и не жалел об этом!)

На прощанье мадам Катушева настоятельно просила не обходить их пристанище стороной, бывать запросто, в любое время, благо живут они не за тридевять земель, а в двух шагах от губернаторской резиденции, где размещалась ставка Верховного, в собственном доме.

Собеседницы уже отплывали от него, когда он, едва опомнившись от только что случившегося, вдруг увидел, что адмиральская свита направляется к выходу, по привычке метнулся следом, но дорогою не выдержал, обернулся и тут же встретился с тем же, широко распахнутым в его сторону васильковым колдовством. «Неужели судьба? — растерянно озадачился Удальцов, вынося разгоряченную голову в сентябрьскую ночь. — Вразуми, Господи!»

4

Сентябрьский успех оказался для армии Адмирала последним. И, как всегда в таких случаях, паутина общего тлена принялась опутывать не одних только людей или предметы, но даже, казалось, самый воздух, которым приходилось дышать. Тьма, сплошной завесойдвигающаяся с запада, виделась теперь даже незрячему окончательной и неотвратимой.

С каждым днем Адмирал становился раздражительнее и

угрюмой. Всякая мелочь, любой пустяк, пошлая сплетня обращивались для окружающих бурными сценами или молчаливым бешенством, что было еще неприятнее. С министрами он вообще теперь разговаривал, как с опостылевшей дворней.

— Что! — кричал он, принимая одного из них с докладом. — Опять новый закон? Нет уж, увольте, дело не в законах, а в людях. Мы строим из недоброкачественного материала. Все гниет. Я поражаюсь, до чего все испоганились. Что можно сделать при таких условиях, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи! И министры, честности которых я верю, не удовлетворяют меня как деятели. Я вижу в последнее время по их докладам, что они живут канцелярским трудом, в них нет огня, активности. Если бы вы, вместо ваших законов, расстреляли пять-шесть мерзавцев из милиции или пару-другую спекулянтов, это нам помогло бы больше. Министр может сделать все, что он захочет. Но никто сам ничего не делает. Вот вы излагаете мне разные дефекты управления, ваш помощник их видел — что же вы сделали, чтобы их устранить? Отдали вы какие-нибудь распоряжения?

Потом горячо убеждал второго:

— Они могут взять Омск, если Деникин придет в Москву. Я знаю, что большевики обрушатся тогда всей силой на Сибирь. Я боюсь, что мы не выдержим... Вы правы, что надо поднять настроение в стране, но я не верю ни в съезды, ни в совещания. Я могу верить в танки, которых никак не могу получить от милых союзников, в заем, который исправил бы финансы, в мануфактуру, которая бы ободрила деревню... Но где я это возьму? А законы ерунда, не в них дело. Если мы потерпим новые поражения, никакие реформы не помогут. Если начнем побеждать, сразу и повсюду приобретем опору. Вот если бы я мог как следует одеть солдат и улучшить санитарное состояние армии! Разве вы не знаете, что некоторые корпуса представляют собой движущийся лазарет, а не воинскую силу? Дутов пишет мне, что в его оренбургской армии более половины больных сыпным тифом, а докторов и лекарств нет. Во всем чувствуется неблагоустроенная и некультурная окраина, которой напряжение войны не по силам. Устройство власти — это менее важный вопрос, чем ресурсы страны и снабжения. Я понимаю, что большевики действуют, как шайка, которая повсюду насадила своих агентов и не только дисциплинировала их, но и заинтересовала привилегией положения. Я не имею партии, никогда не соблазняю преимуществами и не верю в то, чтобы деньгами или чинами можно

было преобразовать наше мертвое чиновничество, но если можно как-нибудь изменить систему управления, то я хотел бы этого...

Третьего пробовал уговаривать:

— Я знаю, вы имеете в виду военное положение, милитаризацию и так далее. Но вы поймите, от этого нельзя избавиться. Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем или они нас. Так было в Англии во время войны Алой и Белой розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во всякой гражданской войне. Если я сниму военное положение, вас немедленно переарестуют большевики и эсеры, или ваши члены Экономического Совещания, или ваши же губернаторы.

Частые смены его настроений смягчали только деникинские успехи на Юге, но и этого ему стало доставать ненадолго: ноша заметно стала перевешивать его силы. Теперь, отпуская очередного докладчика, Адмирал просил Удальцова остаться, чтобы в очередной раз излиться перед ним в приступе внезапной откровенности:

— Прав был, тысячу раз прав был наш Пушкин, когда учил нас в «Капитанской дочке»: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Впрочем, — мрачно-вато усмехался он, — другие не умнее и не добрей, разве что короче...

За те многие, почти в год длиною, месяцы, что Удальцов находился при Адмирале, он достаточно хорошо изучил его. В этом удивительном для него человеке сочетались самые, казалось бы, взаимоисключающие качества: отзывчивая доброта соседствовала с напускной суровостью, детское упрямство с безвольной уступчивостью, а редкостное великодушие с крайней жестокостью. Но — странное дело! — казалось, избавься он хотя бы от одной из этих черт, цельный облик его несомненно потускнел бы, а то и вовсе сошел на нет. В этой его мятежной противоречивости и таилась для Удальцова колдовская притягательность Адмирала. Такого человека он ждал всю жизнь, а дождавшись, предался ему отчаянно и самоотреченно.

Последняя поездка в Тобольск лишь окончательно утвердила в Удальцове его слепую привязанность к Адмиралу. Плыли на фронт, которого не было, и говорить с народом, который давно потерял охоту кого-либо слушать. Плыли по осенней, черного колера воде Иртыша мимо унылых топей и затаившихся пред зимней спячкой боров. Плыли утлым ковчегом

среди раскаленного злобой и кровью потопы матерой российской смуты. И никто в нем не ведал, что ожидало их впереди.

Едва этот ковчег отчалил от берега, как все заполнившие его «чистые» и «нечистые» растеклись по каютам и затихли, затаились там наедине с собой и своим одиночеством. Видно, не существовало уже между ними никаких связей, что могли объединить их в разговоре или хотя бы в молчаливом общении.

Проводив Адмирала и расставив охранение, Удальцов тоже заперся у себя в каюте, но одиночество было неведомо ему, тем более сейчас, когда в его жизнь вошла, ворвалась, вломилась девочка, подросток, женщина с незаменимым отныне для него именем — Лена, Елена, Элен.

Удальцов лежал и думал о ней, об их, ставших необходимыми для них обоих, встречах, о будущем, в котором — конечно, если ему повезет — он не мыслил себя без нее.

С тем он и уснул, чтобы, проснувшись, ошеломленно увидеть в окне каюты будто выступившие из воды белые стены града Китежа, увенчанные сквозными гнездами колоколен и церковных маковок: Тара! Не хотелось верить, что и там, за этой белизной и храмовым великолепием, тоже смердила земля сырой золой и людской падалью!

Но первый, кого встретил Удальцов на берегу, был пьяный до бессмысленного умиления офицер, который, отметив топким своим сознанием приближение старшего по чину, блудливо осклабился:

— В-вин-новваат... Вашеество... Н-на радостях... По с-случаю прибытия... И т-тому подобное...

В ответ Удальцов только брезгливо поморщился, сплюнул в сердцах и повернул во свояси: глядеть городок ему сразу расхотелось...

Вечером в кают-компани за чашкой чая Адмирал с воодушевлением излагал собравшимся план Тобольской операции, разработанный его штабом:

— Сейчас основная группа красных идет на Омск кратчайшим путем — через Тюмень. Их преследуют наши отряды, создавая видимость фронтального наступления. Но когда через болота потрепанные части выйдут на Тобол, то сразу же попадут в окружение. Впереди окажется главная группа наших войск, идущая сейчас на Тюмень прямо из Тобольска, а сзади них — преследующие их отряды...

Адмирал прямо-таки сиял от предвкушения быстрой и верной удачи, горделиво оглядывал присутствующих победительно уверенными глазами.

«Боже мой, — слушая его, не переставал удивляться ему Удадьцов, — как он наивен, этот поразительный человек! Он думает, что маневрирует элегантно эскадрой, а не случайно набранным с бору по сосенке сбродом, которым командуют бестолковые дуrolомы в генеральских погонах, но с мозгами полковых интендантов. Не говори нынче «гоп», а то завтра плакать придется!»

Так оно и случилось. Красные не пошли по кратчайшему пути отступления, путь этот оказался для них труднопроходимым из-за сильной распутицы. Вопреки всем ожиданиям они повернули обратно на Тобольск и по частям разбивали небольшие отряды преследующих.

Когда пароход Адмирала подходил к Тобольску, артиллерия красных гремела уже под самым городом. Окруженными в конце концов оказались не красные, а белые части, шедшие по Тоболу в Тюменском направлении. Только благодаря тому, что весь водный транспорт оказался в их руках, запертые в полукольцо войска удалось посадить на баржи и вывезти в безопасное место.

Так обескураживающе жалко закончилась операция, амбициозно задуманная адмиральскими штабниками. Словно сила соломой, судьба упрямо ломила все замыслы Адмирала к земле, которая тут же предавала их огню.

В Тобольске их застало известие, что деникинское наступление захлебнулось где-то между Орлом и Тулой.

5

Из воспоминаний Г.К. Гинса* :

«Из Тобольска Иртыш так широк, что не похож сам на себя. У самой реки, на низком берегу — главная часть города, позади крутая возвышенность, а на ней белеют стены кремля и блестят маковки церквей. Там находится большая часть официальных учреждений и сад с памятником Ермаку. Всюду глубокая старина и патриархальность. В церкви, что на берегу реки, посреди татарского базара, интересная историческая надпись о том, как этот храм сооружали в самом нечестивом месте и как татары хотели помешать этому, но «победило православие».

В кремль ведет высокая и крутая каменная лестница.

*Управляющий делами Совета Министров в правительстве.

Подымаемся. Перед нами богомольная старушка, а навстречу спускается пьяный офицер. Он берет старушку за подбородок и говорит ей: «Иди, иди, старушенция, выпей».

Пьяных офицеров было, вообще, много.

А между тем, о красных никто дурно не отзывается. Расстреляли двух: одного за организацию противосоветского отряда, другого, еврея-«буржуа», за защиту своей собственности. В городе поддерживался порядок, пьяных не было. Когда уходили, увезли меха, городскую кассу и пожарный обоз, но никого не грабили.

В музее мы нашли комплект советских газет за период пребывания большевиков в Тобольске. Видно было, что газеты шаблонны и заготовлены заранее. В них разъяснялись задачи советской власти, приводились биографии выдающихся советских вождей, в частности, командующих, давались указания о необходимости уважать кооперацию, подымать производительность крестьянского хозяйства и т. д. Все было рассчитано на завоевание симпатий населения. Мотивы новые, незнакомые, не похожие на прежних большевиков.

Среди героев революции и красной армии особенно восхвалялся командующий красной дивизией «товарищ» Мрачковский. Судя по газете, этот рабочий обладал необычайными способностями и железной волей. Одного взгляда на пленного белогвардейца было ему достаточно, чтобы определить, подлежит ли белогвардеец расстрелу или может быть принят на службу. Дисциплина у него строгая. В его дивизии каждый знает, что за малейшую провинность будет отвечать. Мы не раз раньше встречали фамилию Мрачковского в военных сводках. Возможно, что эта характеристика не отличалась преувеличением.

(От автора: Возможно. Но только ровно через шестнадцать лет «этот рабочий», который «обладал необычайными способностями и железной волей», будет ползать в ногах у начальника иностранного отдела ОГПУ Абрама Слуцкого, слезно вымаливая у него пощады, но так и не вымолит. Впрочем, спустя год тот же Слуцкий, вызванный в кабинет своего ближайшего друга и собутыльника Фриновского, примет из его рук цианистый калий, а через некоторое время и сам Михаил Фриновский отправится следом за ним. «Все-таки есть Бог! — воскликнет перед казнью их общий палач пахан Генрих Ягода, — есть!» Хоть перед смертью, но догадался-таки, сукин сын!)

Другой советский «генерал» Блюхер — тоже из рабочих. О нем мы много раз слышали в пути. Крестьяне рассказывали, что всегда при трудных обстоятельствах красные говорили о Блюхере «он выручит», «он нас не выдаст». И, действительно, выручал.

(Снова от автора: Только когда пришел его собственный час, самого себя он выручить и не смог: его не сохранили даже для того, чтобы расстрелять, забили насмерть на допросах. Увы!)

Наиболее интересным было, однако, в газетах интервью преосвященного Иринарха. О нем говорил весь город, который, кстати сказать, представлялся вымершим: так мало было в нем народа после эвакуации всех правительственных учреждений.

С архиереем говорили об отношениях советской власти к церкви и об его впечатлениях о большевиках. Он отзывался о ней хорошо. Сказал, что удивлен порядком и доброю нравственностью, что он считает Омск Вавилоном и что колчаковцы вели себя много хуже, чем красные. Преосвященный, в свою очередь, посетил совдеп. Ему показали издания классиков для народа, и он пришел в восторг. Далее выяснилось, что все церковное имущество останется неприкосновенным, но только церковь не может рассчитывать на содержание от казны. Архиерей был доволен.

Теперь он встретил Адмирала с иконою и речью на тему «Дух добра побеждает дух зла».

(Еще раз от автора: Воистину так, владыка! По этой причине ты и сгинешь ровно через десять лет, ограбленный до нитки поклонниками «порядка и доброй нравственности» где-то на безымянном станке под Туруханском, и окоченевший труп твой без покаяния бросят в ближайший сугроб на съедение прожорливым в эту пору песцам! Так-то.)

Адмирал заходил в покои епископа. У крыльца его выхода ждала небольшая группа любопытных, преимущественно женщин и детей. Никакого воодушевления в городе не было».

6

Тобольск запомнился Удальцову не историческими местами и даже не губернаторским домом, где до отъезда в Екатеринбург содержалась императорская семья, а мимолежной встречей, случившейся с ним около одной из городских церквей. Растерянно потоптавшись перед ее наглухо закрытыми

дверями, он вдруг боковым зрением выделил в затененной части ограды сидящего на лавочке рядом с церковной сторожкой сухонького старичка в аккуратных лапотках и легкой поддевочке, устремленного в его сторону из-под затертого до лоска картуза темным, в густой бороде лицом. Старичок будто ждал кого-то, всматривался в захожего гостя с вопросительным любопытством.

Удальцов повернул к нему, но тот, по мере его приближения, становился все отрешеннее и равнодушнее, глядя куда-то вверх и через него.

— Здорово, отец, — опустился рядом с ним Удальцов, — не прогонишь?

— Сиди, коли сел, — бесстрастно ответил тот, продолжая слепо глядеть перед собой, — места хватит.

— Сторожуешь здесь, что ли?

— А чего тут сторожить, авось не убежит никуда.

— Утварь растащат.

— Не до утвари теперича людям, свое бы не потерять, а то и голову.

— Глядишь, пронесет.

— Нынче не пронесет, господин хороший, час земле пришел.

— Какой же?

— Урочный. Созрела земля наша грешная для большого мора и глада и для больших кровей.

— И что же будет, по-твоему?

— А будет, как в Писании сказано: новая земля и новое небо, все новое, а какое, один Бог знает. Знающие люди скажут, кажинные тыщу лет эдак случается.

— Может, ты и прав, отец, только людей жалко.

— А чего их жалеть, люди что — Божья слизь, одну смоешь, другая народится, чего жалеть, коли сами себя не жалеют, поглядишь на иного, а из него псиный волос прет, будто из лесного зверя, а из ноздрей дым идет, хучь бери и запирай в замочную клеть.

— Я, отец, про невинных говорю.

— А иде ты их видал, невинных-то, господин хороший?

— А Император, семья его в чем виноваты?

— Царь-то наш, господин, самый виноватый и есть. Упреждал его Григорий Ефимыч: не ходи на немца, нечего тебе с им делить, оба-два сгинете не за полушку, не послушал Божьего человека, по своему слабому разумению порешил, а Россея таперича расхлебывай.

— Это Гришка-то Распутин Божий человек?

Только тут старичок резко повернулся к нему, с острой неприязнью проникнув его выцветшими, но не по возрасту зоркими глазами:

— Для тебя он, господин хороший, может, и Гришка, а для нас грешных — Григорий Ефимыч, святая душа, Царствие ему Небесное, за простой народ радеть перед царем и Господом.

— Видно, отец, мало ты о нем знаешь.

— А! — брезгливо отмахнулся тот. — Байки мне станешь сказывать о пьянках его да гулянках, об этом тебе тут всякий встречный-поперечный понарасказывает, это усё шелуха, короста человеческая, от твари грех, а душа сама по себе живет, токо бы с Богом, а не супротив, а Григория Ефимыча душа с Богом жила, вот и дано ему было свыше, сподобился, святыми прозрениями озарен был.

— А с царем сладить не смог?

— Видал я этого царя, вот как тебя видал, нешто ему царем быть, нешто по плечам его такое-то царство, земля отцовская огнем горит, а он дрова пилит, царское ли это дело в эдакую пору?

— Что ж, по-твоему, ему делать было, отец?

— Не моего ума его дело, но уж коли хочешь знать, то, по моему убогому воображению, самому бы себя отдать катан на растерзание принародно, кровь бы его тогда по всей земле возопила, покойники и те услышали, поднялся бы народ, ой как поднялся!

— Так ведь ты сам говоришь: срок земле пришел, может, и ему о том знамение было?

— Знамение знамением, а токмо в Писании сказано: Царствие Божие силой берется, Бог нам искуплением своим волю даровал, выбирать себе судьбину, а не уповать на одне Его милости.

Старичок умолк, снова замкнувшись в своем выжидающем оцепенении. Удальцов, в свою очередь, задумался над только что сказанным, стараясь перебороть в себе соблазн продолжить этот опустошающий его душу разговор, но, когда в конце концов не выдержал искуса и вновь оборотился к собеседнику, того уже и след простыл, будто приснился, пригрезился наяву, не оставив после себя ни следа, ни отзвука.

«Вот так история, — смущенно озадачился он, — может, и впрямь пригрезилось: стареешь, Аркадий Никандрыч, стареешь!»

Вернувшись на судно, он подался было к себе, но, проходя

мимо раскрытой двери кают-компания, услышал оттуда глуховатый голос Устрялова:

— Аркадий Никандрыч, не заглянете ли, у меня для вас имеется кое-что весьма интересное!

Тот сидел за общим столом, обложенный со всех сторон целыми ворохами газет, брошюр и листовок самого разнообразного формата и величины.

— Вот полюбуйтеесь-ка, Аркадий Никандрыч. — Устрялов протянул ему навстречу серый прямоугольник оберточной бумаги, — замечательный в своем роде документик, если хотите.

Это оказалась листовка из тех, что тысячами растекались тогда по самым глухим уголкам взбаламученной Сибири. Аляповатый набор, презрев какие-либо знаки препинания или правила синтаксиса, причудливо расплывался перед глазами. В тексте высокопарно сообщалось, что на Дальнем Востоке уже выступил Великий князь Михаил Александрович, что он назначил Ленина с Троцким своими министрами, что Семенов к нему присоединился и что осталось только общими силами добить Адмирала. Подписано все это было с исчерпывающей лапидарностью: Щетинкин.

— Бред какой-то, — досадливо поморщился Удальцов, — зачем только вы все это собираете, Николай Васильевич?

— Ох, не скажите, Аркадий Никандрович, не так-то этот Щетинкин глуп. Сам он из мужиков, на германской пробился в офицерство, поэтому психологию своего брата-мужика знает превосходно. Он предлагает массе комбинацию, которая устроит всех. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Ведь главный вопрос для крестьянина сегодня один: за кем идти, чтобы не прогадать, а тут им в двух словах полная программа и думать больше не о чем. Вы не находите, Аркадий Никандрыч?

— Не так уж он глуп, наш мужик, Николай Васильевич, вы человек сугубо городской, а я вырос в Сибири, среди крестьянства, на такой мякине его не проведешь, он у нас битый, стреляный воробей, мужик-то наш.

— Вы полагаете? — В вялых губах Устрялова утвердилась скептическая усмешка. — Мужик наш, Аркадий Никандрыч, по-моему, не столько умен, сколько хитер, на эту его хитрость Щетинкин и рассчитывает.

— Не просчитался бы.

— Не просчитается, Аркадий Никандрыч, уверяю вас, мужицкое царство нашему пахарю столетиями снилось, теперь он случая своего не упустит, с этой стихией Лейбе Троцкому

вместе со всем его еврейским кагалом едва ли удастся справиться, перемелет она их, захлестнет и накроет с головой и навсегда, не по силам они себе задачу взяли, одними словами тут не обойдешься, а кроме слов, у них за душой ничего нет.

— А у Щетинкина?

— Щетинкины, Аркадий Никандрович, знают, чего хотят, эта порода живуча, как дикая растительность, но именно этот тип человека в конце концов одержит верх в нынешней драке, и ему принадлежит будущее. Крикуны и фанатики перегрызут друг друга в междоусобной драке, а щетинкины выждут своего часа и заполнят после них вакуум. Подлинные щетинкины даже не участвуют сейчас ни в чем, сидят себе по своим избам, покуривают да посматривают, им спешить некуда, чутье у них звериное, знают — время их впереди.

— В таком случае, что же вы предлагаете, Николай Васильевич, у вас есть рецепт?

Скептическая усмешечка соскользнула с устряловских губ, он напрягся и отвердел:

— Драться до конца, перемолоть в этой драке как можно больше большевистской накипи, а после поражения идти на союз со щетинкиными, только с ними можно сделать Россию еще более могущественной, чем она была, другого пути у нас, истинных русских людей, нет.

(Сколько ты еще, Устрялов Николай Васильевич, соблазнишь этой романтической блажью, обрекши их на собственную Голгофу по всем девяти кругам гулаговского ада, пока, через пятнадцать лет, сам не сгинешь в той же беспощадной мясорубке: щетинкины, придя к власти, окажутся не большими патриотами России, чем Лейба Троцкий или Бела Кун!)

Удальцову вдруг почудилось, что в отечном и как бы сонном лице его собеседника проступили острые черты недавнего старичка, встреченного им у церкви: тот же зоркий взгляд, та же отчужденность от окружающего, та же упрямая уверенность в своей правоте. Но усилием воли он мгновенно стряхнул с себя возникшее наваждение.

— Чем со щетинкиными, — выговорил он, поворачивая к выходу, — лучше пулю в лоб.

И вышел.

По возвращении в Омск худшее подтвердилось: 20 октября распространилось известие о взятии Петрограда, но уже на другой день оно было опровергнуто: кровопролитные бои под Царским Селом и Гатчиной завершились победой красных. Юденич отступал по всему фронту. Деникин же продолжал откатываться от Орла.

В кабинете Адмирала шли беспрерывные заседания. Правительство и общественность разделились на две непримиримые группировки: одна стояла за немедленную эвакуацию, другая — за оборону города до последнего. Каждая из сторон приводила неопровержимые, по ее мнению, доводы, но они наталкивались на столь же убедительные возражения. И все требовали от верховного правителя решающего слова.

Адмирал бесстрастно выслушивал спорящих, что-то чертил в блокноте перед собой, невидяще смотрел впереди себя в глубь кабинета и лишь после того, как пыл оппонентов, иссякнув, сошел на нет, заговорил, словно бы размышляя вслух:

— Если генерал Сахаров считает возможным защищаться, я не вправе ему мешать, победителей, как у нас говорят, не судят, мы должны ему дать шанс и карт-бланш, тем более, что эвакуация так или иначе равна поражению, почему не сделать последнюю попытку? Но я не возражаю против эвакуации желающих членов правительства и населения, в случае неудачи это облегчит отступление войскам. Лично я покину Омск только с войсками. Вы свободны, господа.

Отпустив присутствующих вялым кивком головы, он, как это уже повелось между ними в последние дни, предложил Удальцову остаться.

— По всему вижу, полковник, — проговорил Адмирал, когда за последним посетителем закрылась дверь, — что вы тоже считаете защиту Омска бессмысленной, но поймите меня: если я сам бессилён что-то предпринять, я обязан предоставить такую возможность любому, кто хочет сопротивляться!

— Ваше высокопревосходительство, ваши решения для меня — закон, я не могу и считаю даже немислимым для себя обсуждать их. Считаю своим долгом следовать за вами, куда бы вы меня ни позвали.

Адмирал облегченно поднялся.

— Не знаю, как с кем, — темные глаза его празднично

ожили, — а с начальником конвоя мне повезло. До завтра, полковник...

Заворачивая к себе, Удальцов зазвал за собой ординарца.

— Садись, Филя, — устало опустил он за стол против Егорычева, — есть у меня к тебе разговор, без чинов, как говорится, по-свойски. Человек ты молодой, но бывалый, вон сколько тебе пришлось пережить со мной вместе, скажи мне, положи руку на сердце, выдюжим мы или нет?

У того от неожиданности и напряжения даже испарина на лбу выступила.

— Наше дело маленькое, солдатское, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, начальству виднее.

— Да не приbedняйся ты, Филя, — подосадовал Удальцов, — знаю ведь я тебя, как себя знаю, у тебя на все свое суждение есть, мало что ли мы с тобой вместе хлеба-соли съели, чтоб друг от друга таиться?

Тот смущенно засопел, заерзал на краешке стула, заскучал глазами по сторонам.

— По правде говоря, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, не потянем боле, выдохся народ.

— А что говорят?

— Говорят, замиряться нужно, опять же комиссары в листках ихних землю сулят, а чего еще мужику надобно?

— Обманут ведь, Филя.

— Омманут, не омманут, а мужик верит, гадают, бабушка, мол, надвое сказала, а, глядишь, говорят, не омманут.

— Ну а сам ты как думаешь?

— Мне и думать нечего, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, куда вы, туда и я, у меня с вами одне путя.

— А как посоветуешь?

— По мне, так часу ждать нельзя, уходить нужно, без задержки уходить, спасти Верховного и самим спастись.

— И золото народное им оставить?

— А што золото, от народа уйдет, к народу и придет, не одним золотом жизнь красна.

— Куда уходить-то?

— А хоть к монголам или китайцам, не погибать же ни за что, ни про что, а там видно будет.

Удальцов встал.

— Ладно, Филя, иди, спасибо за правду.

Егорычев, поднявшись, потоптался было около стула в заметном смятении, словно собираясь добавить что-то к сказанно-

му, но, видно, раздумал и тихонько, чуть не на цыпочках вышел из комнаты.

Лишь теперь, после разговора с ординарцем, Удальцов по-настоящему представил себе всю серьезность создавшегося положения. И первая забота, которая овладела им сразу вслед за этим, была связана с одним-единственным именем: Елена! Через полчаса он уже был в порту и звонил у двери Катусевых.

Ему открыл сам хозяин, еще более одышливый, чем обычно, и заметно опустившийся:

— Аркадий Никандрыч, голубчик, вас словно Бог к нам послал, — он пропустил гостя мимо себя, пахнув на него табачным запахом, — что делать, ума не приложу. — Катусев шел следом за ним, подсвечивая ему керосиновым ночником. — Дамы мои в совершеннейшей панике, хотят, жаждут бежать. Но куда и на чем, вот вопрос? На станции даже товарные поезда с боем берут, может быть, хоть вы что-нибудь посоветуете.

Слабо освещенная гостиная, в которой очутился Удальцов, походила на забитую до отказа камеру хранения, откуда навстречу ему устремились две пары вдруг загоревшихся надеждой женских глаз.

— Аркадий Никандрович, милый, — первой сорвалась с места Лена, — если бы вы знали, как я вас ждала.

И она, уже не стесняясь родителей, приникла к нему, голова ее оказалась на уровне его груди, и он, в восхищенном изнеможении склонившись над ней, бережно коснулся губами ее прически:

— Успокойтесь, Элен, прошу вас, все будет хорошо, я вам обещаю, вот увидите, все будет хорошо...

Потом в той же забитой кладью гостиной они сидели за наспех собранным чаем, за которым гость поспешил успокоить хозяев, поклявшись, чего бы это ему ни стоило, устроить им место в ближайшем спецэшелоне, с каким они доберутся хотя бы до Красноярска.

— Оттуда, — облегченно закончил он, — вам будет уже легче двигаться дальше, туда еще не докатилась общая паника.

— А вы? — Она внезапно вскинула на него полные слез глаза.

— Элен, дорогая, я офицер, мой долг оставаться с Верховным до самого конца, но если судьбе суждено меня миловать, я найду вас, где бы вы ни были.

В том кошмарном бедламе, в каком им выпало существовать в те дни, это выглядело официальным предложением.

Лена сама пошла провожать его, и на крыльце, доверчиво прижимаясь к нему, она как заведенная повторяла одно и то же:

— Вы, правда, меня не забудете, Аркадий Никандрчч?.. Вы, правда, не забудете?.. Правда?

В ответ Удальцов молча, обмирая от нежности, гладил ее по голове: теперь он знал, что ему делать.

8

Собрались у Бразиловского. Двадцатилетний красавец, только что произведенный в генералы за блестящую операцию по выводу своей дивизии из окружения, первым с воодушевлением ухватился за идею Удальцова:

— Надо смотреть правде в глаза, господа, это не классическая война, где случай может повернуть фортуна на сто восемьдесят градусов, это гражданская бойня, в которой, к сожалению, все против нас: и фронт, и тыл. Необходимо спасти хотя бы что есть. С атаманщиной у нас не может быть ничего общего, и у Семенова нам делать нечего. Остается единственный выход: отступать к восточным границам и там, в Монголии или Китае, попытаться воссоздать боеспособную силу.

Апоплексическое лицо генерала Зенкевича страдальчески передернулось:

— Господа, господа, зачем же смотреть на вещи так пессимистически, вы забываете, что за нашей спиной стоят союзники, у которых по отношению к нам есть известные обязательства, они помогут нам пробиться на Дальний Восток!

Но тут взвился с места обычно помалкивающий поручик Мельник, зять погибшего в Екатеринбурге вместе с Императором доктором Боткина:

— О каких союзниках вы говорите, генерал? Если английский король отказался дать убежище своему двоюродному брату, то неужто вы полагаете, что ваш английский коллега генерал Нокс рискнет хоть чем-нибудь ради нас с вами? Или, может быть, вы надеетесь на другого вашего коллегу из бывших чешских костоломов — генерала Гайду, но единственное, в чем он поможет кому-нибудь, так это накинуть петлю вам

же на шею, а о третьем вашем коллеге генерале Жанен мне даже говорить тошно, его давно по всем божеским и человеческим законам надо было бы вздернуть на первой же русской осине, как Иуду. Что же касается свободолюбивых американцев, то они давно братаются с красными во Владивостоке. Не следует самообманываться, господа!

(Знать бы, знать бы тогда поручику Мельнику, что пройдет без малого пятьдесят лет и будущий сын его, Константин Мельник, сделается начальником контрразведки в той самой стране, одному из генералов которой он намеревался познакомиться в России вполне заслуженную этим генералом осину!)

— Молодо-зелено, господа, — вмешался в перепалку генерал Редько, только что прибывший в Омск с Тобольского фронта, где бросил свою Северную группу войск на волю случая и судьбы, да и оставалось ли там что-нибудь от этой группы, один Бог знал, — на зиму глядя в непролазную тайгу двигаться безумство: пока есть возможность, нам от Московской дороги ни на шаг нельзя отходить, только в ней спасение.

— Под железнодорожным конвоем союзников, — бросил кто-то безликий из притемненного угла комнаты. — До самых чекистских заслонов.

Видно, решив, что в один вечер договориться о чем-либо будет трудно, Зенкевич решил разрядить атмосферу, примирительно заключив:

— Сколько бы мы здесь ни спорили, господа, за спиной у Верховного, мы не вправе делать какие-либо заключения, только он может разрешить наш спор. Поэтому необходимо, чтобы кто-то из нас взял на себя ответственность в подходящий момент доложить Адмиралу суть нашего сегодняшнего разговора. Предупреждаю заранее, господа, я отказываюсь.

Воцарилось красноречивое молчание: догадывались, что подобного рода объяснение с Верховным правителем могло окончиться для смельчака более чем печально.

После паузы, которой, казалось, не будет конца, поднялся Удальцов.

— Разрешите мне, господа?

На том и разошлись.

Год восемнадцатый

«26 ноября. Никогда в жизни мне не приходилось вести хронологических записей. Я питаю к этому жанру почти непреодолимое отвращение. Что может быть глупее педантичной регистрации своих сюсюминутных состояний. Нет ничего эфемерней этих состояний. Закрепленные на бумаге, они не становятся долговечнее или подлинней, а только усугубляют ложь пережитого.

Видно, даже самой изоциренной памяти не дано остановиться мгновенье, чтобы затем вернуться к нему и вновь оказаться в его воскресшей реальности. По-моему, это занятие для мазохистов. Я всегда предпочитал жить, не казнясь и не умиляясь прошлым. Настоящее — лучшая гарантия существования в минувшем. Отправляясь в Россию, я никогда не предполагал, что события в ней заставят меня обратиться к перу. Перед отъездом мой непосредственный шеф — полковник Ренэ Леруа — предложил мне позавтракать с ним.

Насколько я знаю, завтракать с подчиненными было не в правилах моего полковника, из чего я заключил, что разговор за столом предстоит необычный. Предчувствия не обманули меня: сразу после аперитива шеф перешел к делу. «Послушайте, мой дорогой друг, — этим непринужденным обращением он как бы подчеркивал внеслужебную интимность нашей встречи, — мне хотелось бы знать, что вы лично думаете о России?» Честно говоря, вопрос его застал меня врасплох. Что в действительности я мог думать о стране, которую изучал только по книгам и специальным учебникам?

Для меня, во всяком случае до сих пор, это было понятие скорее географическое или политическое, если хотите, из чего я и исходил в своем отношении к ней, но над большим я не задумывался, искренне полагая, что большее не входит в мои обязанности. В этом духе, разумеется, в достаточно обтекаемых выражениях, я и ответил своему собеседнику.

«Мой дорогой друг, назидательно произнес полковник, —

у прирожденного разведчика должна быть собственная историческая концепция, иначе он рано или поздно теряет профессиональную перспективу. В вашем случае разведчику необходимо знать, что хочет его страна от России, на какие ее силы нам следует опереться и какое развитие событий в ней было для нас наиболее желательно?» — «Мне хотелось бы узнать это от вас, полковник, — осторожно прозондировал я, боясь попасть впросак, — вы ближе к большой политике».

Шеф многозначительно взглянул на меня и выговорил, словно процитировал по памяти чей-то текст: «С Российской Империей покончено отныне и навсегда, и возрождение таковой в ее прежнем состоянии для нас нежелательно». — «Какова же роль разведчика в таких обстоятельствах? — удивился я. — Это работа, скорее, для дипломатов или политиков». В ответ мой визави снисходительно усмехнулся: «Хороший вопрос, мой дорогой друг, хороший вопрос! Что ж, плачу откровенностью за откровенность: французскому разведчику в таких обстоятельствах необходимо найти политическую силу, отвечающую нашим интересам, и наладить с ней долгосрочные отношения, предпочтительно негласные».

Сопротивлялся я больше для облегчения собственной совести, чем из убеждения: «Но ведь Россия — наша союзница, полковник!» — «В политике, Пьер, — окончательно перешел он на доверительный тон, — нет морали, а есть интересы, истина банальная, но тем не менее еще никем не опровергнутая». — «На кого же вы предлагаете ставить, полковник?» — Мне уже нечего было терять, и я шел напролом. — Я не хотел бы бродить вслепую».

Я чувствовал, что все больше и больше нравлюсь своему шефу, его благодушие становилось почти отеческим: «Я давно слежу за вами, дорогой Пьер, у вас большое будущее, поверьте мне, вы чертовски умны, наблюдательны, настойчивы, с вашими способностями вы можете далеко пойти, если вам удастся со временем изжить в себе один, впрочем, простибельный в вашем возрасте, недостаток: поспешность в заключениях и выводах».

Поэтому хочу заранее предупредить вас: никогда не связывайте себя общепринятыми оценками, полагайтесь больше на собственную интуицию, чаще всего общепринятые оценки на практике оказываются несостоятельными. Вы спрашиваете меня, на кого ставить? Это вы должны ре-

шить сами, на месте. Не скрою, наше правительство предпочитает кадетскую партию или, в крайнем случае, эсеров, но я бы на вашем месте пригляделся к большевикам. Не подумайте, ради Бога, Пьер, что я на старости лет становлюсь анархистом, у меня к этой публике абсолютно никаких симпатий, просто у так называемой демократической общности нет никаких шансов, она проболтает свою революцию в бесконечных и бесплодных прениях, а в конце концов согнетя перед каким-нибудь новоявленным Наполеоном из бывших поручиков. Другое дело большевики: они достаточно сильны и амбициозны, чтобы удержать власть, и недостаточно профессиональны, чтобы сделать ее сильной, таким образом, под их руководством мы получим ту самую Россию, которая нам нужна: политически вполне стабильную, что обеспечит нам надежный тыл с Востока, и абсолютно неспособную к какой-либо внешней экспансии. Впрочем, дорогой Пьер, я изменяю своему собственному правилу: даю советы. Повторяю, полагайтесь-ка прежде всего на себя». Признаюсь, я не скрыл своего удивления: «Но ведь их программа...» Беззаботно рассмеявшись, Леруа тут же прервал меня: «Помните, мой дорогой друг, этой бумажкой они пользуются только для уличных митингов, в чем-чем, а в реализме им не откажешь, проследите хотя бы за их эволюцией в самые последние месяцы, еще и года не прошло со дня переворота, а от их прежнего радикализма остались одни лозунги, большевистская партия у нас на глазах превращается в обычную национальную камарилью со всеми атрибутами маленького самодержавия наизнанку, можно легко представить себе, во что они превратятся через пять-шесть лет, Россия есть Россия, мой дорогой Пьер!» Честно говоря, доводы ше фа показались мне тогда убедительными, тем более что в первые дни моего пребывания здесь многое в окружающем соответствовало этим доводам. Страну, казалось, прорвало после трудного и затяжного молчания.

Она заговорила торопливо и одновременно на всех языках и наречиях, не вздумываясь в сказанное и не слыша самое себя. Слова в обществе стали жить сами по себе, вне всякого отношения с реальностью. Слова сделались средством жизни, пропитания, самозащиты. Люди лихорадочно спешили оглушить, ослепить друг друга словами, чтобы только отгородиться от окружающего безумия. Каждый человек в этом безумии представлял из себя отдельную партию, а

порою, в зависимости от обстоятельств, даже две. Партии, которые плодилось еженедельно, чуть ли не в геометрической прогрессии, умирали так же, как и рождались, в потоках собственного словоизвержения. Могущественное совсем недавно государство расплзлось на глазах, словно лишенное сдерживающей формы желе. Естественно, что у всякого заинтересованного наблюдателя возникала мысль о сильной руке, способной обуздать эту неуправляемую стихию и направить ее в созидательное русло. Руководствуясь напутствиями Леруа, я уже с первых дней во Владивостоке начал было изучение здешнего политического спектра, когда из Омска поступило сообщение об адмиральском перевороте.

Имя самого Адмирала мало что говорило мне, а наспех собранные мною скудные сведения о нем свидетельствовали не в его пользу: потомственный морской офицер с научными склонностями, далек от политики, амбициозен только в своей области, боевой опыт ограничен, вспыльчив, неопределенных политических взглядов. В столь судьбоносные для страны дни вождю, на мой взгляд, требовались несколько иные качества. Но, в конце концов, решил я, послужной список у Наполеона был не многим лучше. С тем большим терпением ожидал я по дороге в Омск встречи с новым диктатором России.

Несмотря на неразбериху, царившую в городе после переворота, Адмирал принял французскую миссию в полном составе и вне всякой очереди. Вблизи он оказался небольшого роста сангвиником с быстрым, проникающим собеседника взглядом по-восточному темных глаз. Я и до этого слышал о восточном происхождении предков Адмирала, но только увидев его, уверился в справедливости этих слухов. Восток, но не языческий, а магометанский, утонченный Восток едва заметно сказывался во всем его облике, в манере говорить, смотреть, двигаться, и лишь улыбка, по-детски откровенная и в то же время беспомощная, обнажала его глубоко славянскую сущность. «Кто знает, — подумал я, — что может таиться в этой гремучей смеси кровей, он или взнуздает Россию или Россия раздавит его?»

На коротком совещании после встречи с Адмиралом наш глава — генерал Жанен — со свойственной ему категоричностью определил для нас линию нашего поведения на будущее: «Мы будем поддерживать этого человека до тех пор, пока ему сопутствует успех, но идти ко дну вместе с ним не в наших

интересах, в случае необходимости мы сменим ориентацию». «Что ж, — решил я, — это соответствует моей задаче». В этот же день я приступил к работе».

2

«23 декабря. Завтра Сочельник. Впервые в жизни я встречаю его вдалеке от родины. Сожалею ли я об этом? Нет! Эти несколько недель в России стоят целой жизни. За целый век мне бы не пережить во Франции того, что я пережил здесь с того дня, как вступил на русскую землю. Только поэтому мне удалось преодолеть свое отвращение к письменным воспоминаниям. Мне стало страшно, невыносимо подумать, что все пережитое уйдет, исчезнет, забудется вместе со мной. Может быть, мой опыт для кого-нибудь все же окажется поучительным.

Сегодня, в канун Сочельника, мне захотелось подвести некоторые итоги происходящему. Месяц тому назад я начал с анализа ближайшего окружения Адмирала. Разумеется, меня прежде всего интересовали наиболее крупные фигуры. К сегодняшнему дню о большинстве из них у меня сложилось достаточно полное представление. Я не хочу пускаться здесь в пространные обсуждения этих личностей, приведу лишь их сжатые характеристики, переданные мною своему начальству. Первым в моем рапорте значился господин Премьер-Министр:

ВОЛОГОДСКИЙ

Типичный провинциальный адвокат. Взглядов неопределенных, хотя, как всякий земский деятель, ближе всего к правым эсерам. Слабоволен, уступчив, весьма говорлив. Ничего индивидуального. Личность скорее репрезентативная, чем действующая. Безропотно скрепляет своей подписью любые решения Адмирала. Политически абсолютно бесперспективен. Долго не продержится. Рано или поздно ему придется уйти, или его уберут.

МИХАЙЛОВ

Заметно выделяется среди ординарностей в Совете Министров. Энергичен, быстро схватывает суть возникающих проблем, находчив в решениях, даровит от природы. Облада-

ет несомненной харизмой, привлекающей к себе окружающих, чему в немалой степени способствует его биография: родился в каторжной тюрьме, в семье народовольцев, с отличием закончил юридический факультет Петроградского университета, при котором и был оставлен для подготовки к профессуре по кафедре политической экономии, после революции, совсем еще молодым человеком, назначен управляющим делами Экономического Совета при Всероссийском временном правительстве. Тяготеет к эсерам, но без определенной идеологической окраски. В условиях стабильной государственной структуры способен вырасти в фигуру общероссийского масштаба. Но для самостоятельной роли в гражданской войне явно непригоден: не пользуется доверием военных кругов.

ПЕПЕЛЯЕВ

Фронтовой офицер. После развала русской армии под Барановичами в чине полковника возвратился в Сибирь. Организовал здесь антибольшевистскую организацию, состоящую в основном из офицеров, которая весной 1918 года присоединилась к чешскому движению. Беспредельно храбр, популярен в войсках, но интеллектуально крайне ограничен. Политически близок к эсерам, но скорее психологически, чем идейно. Не лишен авантюрных наклонностей, поэтому в критической ситуации может оказаться весьма ненадежным. В отличие от своего старшего брата Виктора — бывшего члена Государственной думы, управляющего министерством внутренних дел в правительстве Адмирала, — чисто политической деятельностью никогда не занимался, хотя не лишен амбиций и в этой области. В известных обстоятельствах, при умном руководителе, способен сделаться решающей силой.

ДИТЕРИХС

Убежденный монархист. Романтический мистик. Академически образован. Убежден в своем назначении спасти Россию, а с нею и весь мир. Политически консервативнее Чингисхана. Тем не менее имеет довольно значительное влияние на Адмирала. Предки генерала чешского происхождения. В связи с этим пользуется поддержкой чешского корпуса. Огромный военный опыт: участие в русско-японской кампании, операции в Туркестане, в начале мировой войны — начальник штаба 3-й армии, блестяще показавшей себя в

Галиции, затем — генерал-квартирмейстер фронта, командование дивизией в Македонии, отказ от поста военного министра в правительстве Керенского, штабная работа при генералах Корнилове и Духонине. Для ситуации гражданской войны слишком прямолинеен, политически одиозен, высокомерен, несговорчив. Личность, принадлежащая историческому прошлому.

БУДБЕРГ

Тип добродушного скептика. Почти невероятная наблюдательность, огромное чувство юмора, меткость суждений в сочетании с полной безответственностью. Плышет по течению с циничным безразличием к своему будущему. Прекрасный собеседник. Энциклопедически начитан. Очень удобный для Адмирала советник: его советы можно пропускать мимо ушей. Играет роль домашней Кассандры. С точки зрения наших задач абсолютно бесперспективен.

ГАЙДА

Одаренный чешский авантюрист. Пользуется полным доверием Адмирала. Честолюбив не по способностям. Явно метит во всеславянские Наполеоны. Вульгарен, напорист, беспредельно самоуверен. Политически в высшей степени беспринципен, хотя кокетничает демонстративным радикализмом. Как личность, неуправляем и ненадежен. Подобно всякому парвеню, по-детски тщеславен, падок на чины, знаки отличия, мундиры. Ради достижения своих эгоистических целей способен на все, не исключая прямого предательства. Опасен во всех отношениях и для всех, в том числе и для самих чехов, у которых пользуется непрерываемым авторитетом.

ТИМИРЕВА

Просто женщина, и этим все сказано».

3

«Мне действительно почти нечего добавить к характеристике Анны Тимиревой. Редко в жизни мне приходилось встречать такое сочетание красоты, обаяния и достоинства. В ней сказывается выработанная поколениями аристократическая порода, даже если, как поговаривают, она

по происхождению из простого казачества. Но я убежден, что аристократизм — понятие не социальное, а, в первую очередь, духовное. Сколько на своем пути встречал я титулованных кретинов с замашками провинциальных кабатчиков и сколько кабатчиков с душой прирожденных грандов! Порою в уличной девке можно встретить больше ума и тонкости, чем в светской шлюхе из Сен-Жерменского предместья. Я убежденный холостяк, но, если бы когда-нибудь меня привлекла семейная жизнь, я хотел бы встретить женщину, подобную этой. Как мне стало известно, она близка с Адмиралом еще со времени своего замужества, но даже теперь, когда сама жизнь освободила их от прежних обязательств и свела вместе, связь их никому не бросается в глаза, с таким тактом и деликатностью они оберегают эту связь от посторонних взглядов.

Увидеть их вдвоем большая редкость. Она старается держаться в стороне от его дел. Чаще ее можно встретить в швейных мастерских, где шьют обмундирование для армии, или в американском госпитале, выполняющей самые непрезентабельные работы по уходу за ранеными. Но даже в этих обстоятельствах свойственная ей изящная царственность не покидает ее. Впервые я увидел ее рядом с Адмиралом на одном из приемов, и меня поразило их внешнее сходство. Если бы до этого мне не был известен характер их отношений, я принял бы их за брата и сестру или, по крайней мере, за людей, состоящих в близком родстве: тот же взгляд, та же осанка, та же порывистость, тот же Восток, облагороженный славянской мягкостью. Так зачастую начинают походить один на другого муж и жена после долгой жизни под одной крышей. Но у Адмирала и Тимиревой не только сходства, но даже явные различия удивительным образом дополняют друг друга. Глядя на них со стороны, невольно приходишь к мысли, что раздельно они просто немислимы. Я еще, помнится, думал тогда не без сожаления: «Кто знает, что их ждет впереди: царство или бесславная гибель?»

4

«28 декабря. Сегодня меня вызвал генерал Жанен и попросил сделать беглый обзор моих первых впечатлений от омской обстановки. Однако мой короткий доклад не произвел на генерала ровно никакого впечатления. Можно было поду-

мать, что он меня вообще не слушал. Мои сведения его явно не интересовали. Судя по всему, наша встреча была лишь предлогом для разговора на совсем иную тему. «Вот что, капитан, — произнес генерал, едва я закончил, — все это превосходно, я ценю вашу наблюдательность и чутье, но мне хотелось бы, чтобы вы достаточно ясно осознали, для чего мы здесь и чего Франция ожидает от нас.

— Его неподвижные глаза смотрели на меня с бесстрашной незрячестью. — Дела этого господина, которого вы называете Адмиралом, и его ближайшего окружения интересуют меня постольку, поскольку это соответствует задачам моей страны, нашей страны, капитан. Даже если ему будет сопутствовать военное счастье, оно должно быть направлено в желательное нам русло. Любой его успех не может выходить за предусмотренные нами рамки, причем никогда и ни при каких обстоятельствах мы не смеем допустить, чтобы он забыл, кому обязан этим успехом. Его необходимо сделать сговорчивым и послушным. Если же счастье ему изменит, нам придется ускорить его конец и пойти на союз с другим движением, но на тех же условиях. Поэтому, капитан, старайтесь не слишком вникать в подробности, займитесь-ка лучше поисками альтернативных возможностей, это сейчас для нас самое важное. Честь имею». Признаться, разговор с генералом Жаненом озадачил меня. Его ординарность в армии была общеизвестна, он слыл типичным военным чиновником, бюрократам в мундире, звезд с неба не хватал и большим умом не славился.

В беседе со мной он, конечно же, только повторял мысли, вложенные в него со стороны. Здесь впервые меня обожгла догадка, что в мире существует сила, которая незримо стоит за спиной и генералов вроде Жанена, и стоящих за ним политиков, и даже за руководимыми этой публикой правительствами. И цепкая паутина этой силы дирижирует самими, казалось бы, спонтанными людскими стихиями на земле, направляя их к какой-то никому не ведомой, но роковой цели. Ухватиться хотя бы за единственную ниточку этой паутины, пусть мысленно распутать весь ее дьявольский лабиринт — сделалось отныне моей идеей фикс».

Надо же было тому случиться, что, едва вступив в должность Верховного Правителя, Адмирал слег: снова, в который раз уже за последние годы, дала себя знать застарелая, настигшая его еще в русско-японскую кампанию хроническая пневмония.

Явь перед ним растекалась в знойном тумане, а в ней, в этой яви, плавали лица и голоса, но чаще всего единственный голос и одно лицо — Анны. У нее для него всегда находились слова, приносившие ему облегчение: «Александр Васильевич, милый, Пепеляев уже в Перми»; «Слава Богу, Александр Васильевич, с Семеновым все улажено!»; «Антон Иванович Деникин признал вас, дорогой, сегодня утром пришло официальное подтверждение»; «Англичане и французы обещают самую скорую поддержку, Александр Васильевич, милый, это победа!».

Ее сообщения сливались в почти непрерывный, праздничного накала мотив, с которым в нем все более нарастали силы и прояснялось сознание. Взмывавший над ним потолок медленно опускался, сообщая вещам и предметам вокруг ровную устойчивость.

«Неужели все-таки перелом возможен? — окрыляла его ликующая надежда. — Наверное, есть же предел людскому безумию?»

Когда явь окончательно определилась в нем и к нему вернулась способность отчетливо воспринимать окружающее, он решил, что настало время обратиться к населению и войскам с ободряющим воззванием, и попросил вызвать для разговора на эту тему кого-нибудь из правительственного отдела печати.

Человек, присланный по вызову, был довольно высок, плотен, с отрешенными, как у больной овцы, глазами и типично профессорской бородкой на тонкогубом лице. Войдя, он нерешительно помялся у порога, после чего бочком двинулся навстречу адмиральскому кивку, по кивку же сел, вернее, примостился на краешке кресла и, вопросительно воззрившись на хозяина, выслушал его соображения.

— Распространить ваше воззвание как можно шире — это

наш долг, адмирал, — этим сугубо штатским обращением к нему гость как бы подчеркивал свою независимость от существующей субординации. — Я могу записать сейчас же, под вашу диктовку.

Что-то в этом человеке сразу же насторожило Адмирала. Во всем его облике, в тоне, в манере держаться чувствовалась затаенная уверенность в чем-то таком, что недоступно пониманию многих, если не всех остальных смертных, и чем он не спешил поделиться с ближними.

«Еще один мессия, — досадливо поморщился про себя Адмирал, — сколько вас, куда вас гонят!»

— Извините, с кем имею честь?

— Бывший приват-доцент Московского университета Николай Устрялов, адмирал, — с подчеркнутой размеренностью ответил тот. — Теперь служу у вас, в бюро печати.

Гость уже вызывал в Адмирале настоящее любопытство.

— Вы только служите или еще верите в свою службу?

— Нет, адмирал, не верю, — овечьи глаза гостя пристально отвердели, — но отправляю ее исправно, я прочно привязан к вашей колеснице, адмирал, и другого пути у меня нет.

— Во что же верите, уважаемый?

— В то же, что и вы, адмирал, но у меня нет иллюзий.

— Что вы имеете в виду?

— Я могу быть откровенным, адмирал?

— Вполне.

— Хорошо, адмирал, я хочу изложить вам свою личную точку зрения на развитие событий, — поерзав, он чуть поплотнее вдвинулся в кресло, но все же окончательно не расслабился, видно, опасаясь быть прерванным в любую минуту. — Поймите меня правильно, адмирал, что наша борьба диктуется лишь политическим романтизмом, реальных же шансов у нас нет, потому что происходящее — это не просто бунт или даже революция, что было бы еще полбеды, после революции общественный организм в конечном счете восстанавливается в том или ином виде, сейчас, адмирал, происходит нечто куда более судьбоносное, чем революция...

— Что же? — нетерпеливо перебил его адмирал. — Что?

— Смена цивилизаций. И Россия только начало этой смены. Уверяю вас, адмирал, ни Ленин, ни Троцкий тут ни при чем, будь они хоть семи пядей во лбу, им не дано изменить ничего в этом процессе, он протекает помимо их усилий, искусство их состоит только в том, чтобы держаться на его поверхности, придет время — он поглотит и их, если они вовремя

не успеют умереть своей смертью. В подобных катаклизмах, как при землетрясениях, нет правых и виноватых, есть только жертвы, вне зависимости от места на баррикаде. Кто бы ни оказался победителем, им придется строить новые баррикады уже друг против друга и так до бесконечности, пока последнюю из баррикад не воздвигнут два оставшихся на земле человека, после чего победитель уничтожит самого себя и тогда конец, сумерки богов, тьма: сегодня впервые в своей истории, адмирал, человек восстал не против социальной несправедливости, а против самого себя, — он беспомощно развел руками и впервые слабо улыбнулся. — Вы хотели откровенности, адмирал.

— Так чей же это замысел, наконец? — надсадно вырвалось у Адмирала.

— Дьявола, — все тем же ровным глосом откликнулся гость.

— А Бог? Бог где?

— Если люди забыли о Нем, то, видно, не в Его правилах напоминать им о себе.

— Ну, это уже кощунство! — взвился Адмирал. — Хула на Духа Святого!

— К сожалению, словами ничего нельзя изменить, адмирал.

— Предлагаете сдаться без боя?

— Наоборот. Мы обречены идти до конца.

— И скоро, по-вашему, этот самый конец?

— Мы в самом его начале, адмирал.

— Но они бегут!

— Это как в океане, адмирал, только временный отлив, следующий прилив накроет нас с головой.

— Что же тогда, по-вашему, делать?

Устрялов снова виновато улыбнулся:

— Драться.

— Спасибо за совет. — Адмирал встал, прекращая разговор, охваченный одновременно запальчивостью и смятением. — Текст обращения я напишу сам и передам по назначению. Честь имею.

После ухода Устрялова Адмирал еще долго не мог успокоиться. Впервые то, что он всегда предчувствовал и о чем беспрестанно думал, было высказано ему вслух другим человеком и с такой пугающей откровенностью. Перед ним вдруг воочию раздвинулся некий покров, за которым его смятенной душе открылась такая зияющая пустота, что все в нем до колкого

холода в кончиках пальцев зашлось от смертной тоски и бессильного крика: «По какие грехи нам кара, Господи!»

Словно увлекаемый в эту притягательную пустоту, Адмирал в поисках опоры вцепился в подлокотники кресла, и явь снова поплыла вокруг него в бредовом тумане. Свет и тени скрещивались между собой, стремительно прокручивая в памяти цветной калейдоскоп лиц, голосов, видений. С мучительным упрямством продираясь к своему сознанию сквозь эту обжигающую мешанину, он снова и снова изводился разъедающей сердце виной: зачем он взял на себя эту ношу, по какому праву, не веря в конечный результат, повел за собой других на верную гибель, по каким Божеским или человеческим законам действовал и во имя чего?

В такие минуты ему нужна, необходима была Анна. Одно ее присутствие облегчало его, врачевало знойно тлевшую в нем боль, сообщая ему то ровное умиротворение, которого ей было не занимать. Стоило ему приступить к работе, и ее тут же уносило в повседневные хлопоты. Госпиталь, швейные мастерские, благотворительные организации отнимали у нее ровно столько времени, сколько было необходимо, чтобы оставаться на расстоянии от него до первого его зова. Если бы она знала сейчас, как он нуждался в ней в эту минуту!

Появление Удальцова на пороге кабинета облегчающе заслонило распахнувшуюся было перед Адмиралом и влекущую его к себе бездну:

— Прибыл генерал Нокс, Ваше превосходительство!

А тот, не ожидая приглашения, уже светился, сиял из-за удальцовского плеча всем своим белозубым ртом, ямочками на холеных щеках, безукоризненным пробором:

— У меня для вас великолепные новости, адмирал! — Его сияние напористо заполняло собой окружающее пространство. — Правительство Его Величества готово признать вас, уверяю вас, адмирал, это дело считанных дней.

Казалось, в эту минуту через него на Адмирала излучалась вся мощь Британской Империи, сулящей безвестному туземцу несметные россыпи стеклянных бус и до слез умилявшейся при этом собственным великодушием.

— Будем надеяться, — не поддался, не размяк в его сиянии Адмирал, — знаете, как у нас говорят в России: улита едет, когда-то будет.

Уязвленность гостя оказалась прямо пропорциональной его тут же угасшему энтузиазму:

— Вы мне не доверяете, адмирал, я только что получил депешу из Форин-офис, слово офицера!

— Бог с вами, генерал, я высоко ценю ваше искреннее желание помочь нам в нашем праведном деле, но, окажись ваше правительство на моем месте, я бы ни на минуту не раздумывал, признать мне или не признать силы законности и порядка в стране-союзнице. Если же ваше правительство считает, что своим признанием делает нам одолжение, то, буду с вами откровенным, генерал, и не жажду такого признания.

Гость, словно отгорающаяся «шутиха», потухал на глазах, осыпаясь напоследок холодными искрами.

— Вы, русские, — люди крайностей, адмирал: или все, или ничего, но нам надо быть реалистами, сейчас в России существуют две власти — ваша и большевиков, признание одной в ущерб другой может иметь самые непредвиденные последствия для внешнего мира, принимать решения в таких условиях — огромная ответственность, поверьте мне, адмирал.

— Простите, генерал, но вы все еще живете в девятнадцатом веке.

— То есть?

— А то, что Россия только эпизод в драме, которая началась теперь на земле, рано или поздно она перекинется и на английские подмости, прошли те золотые времена, когда Британская Империя дралась за владычество на морях, отныне ей придется драться за само свое существование, как, впрочем, и всем другим.

— Зачем эти крайности, адмирал, роль Кассандры не для боевого офицера, честно говоря, я на вашем месте избрал бы другой путь.

— Любопытно, какой?

— Красные, зеленые, белые, какая разница! Сели бы за один стол и поговорили бы по душам, ведь речь идет о судьбе России, в конце концов! Я уверен, что если бы каждая сторона немного уступила, можно было бы найти взаимоприемлемый компромисс, в конечном счете вы все — русские люди!

Адмирал верил в искренность Нокса. Из всех союзнических эмиссаров тот действительно делал все от него зависящее, чтобы помочь ему в снабжении армии и контактах с иностранными правительствами. Но тем не менее невозможно было понять, взять в толк, как, каким образом этот достаточно поживший и повидавший виды солдат, оказавшись в эпицентре кровавого вихря русской смуты, ухитрился сохранить в

непорочной целости и эту свою лучезарность, и этот безукоризненный пробор, и это почти девственное недомыслие?

— Стола еще такого не придумали, генерал, за который бы они с нами сели, — вставая, он чувствовал себя так, будто поднимал на плечах какую-то внезапно навалившуюся на него тяжесть. — Впрочем, и мы с ними — тоже.

Англичанина явно передернуло от адмиральской бесцеремонности, но вида он не подал, только еще более схлынул лицом и, поднявшись, молча откланялся.

И Адмирала снова властно потянуло к ней — к Анне. Хотелось уйти, скрыться от этой удушающей бессмысленности вокруг, спрятать лицо в ее прохладные, чуть пахнувшие лавандой ладони и хотя бы на короткие мгновения забыть обо всем на свете, безвольно отдаваясь неистребимой в ней душевной ясности.

Он позвонил:

— Прошу вас, полковник, найдите, пожалуйста, Анну Васильевну, передайте ей, что мне необходимо ее видеть, — он говорил, не поднимая глаз, знал: Удальцов уже стоит в дверях, преданно устремленный в его сторону. — Хотя нет, подождите, я поеду сам, проводите меня.

И, подхваченный собственным решением, одним рывком, через кабинет и приемную, на ходу обрастая верхней одеждой, на крыльцо, в сани, сквозь легкую метелицу — к ней.

2

— Здравствуйте, Анна Васильевна, милая, простите, ради Бога!

— Александр Васильевич, голубчик, что так вдруг, что-нибудь случилось?

— Ровным счетом ничего, Анна Васильевна, дорогая, просто очень захотелось вас увидеть.

— И это все? Как вы меня напугали, Александр Васильевич.

— Еще раз простите, но я не мог не приехать.

— Какой же вы, право, ребенок, Александр Васильевич.

— Для вас — да.

— Дайте-ка я на вас погляжу, милый, как следует.

— Анна Васильевна... Дорогая... Если бы вы знали...

— А я знаю, все знаю.

— Люблю вас...

- Господи, Саша, Александр, что с вами?
 - Ничего, я просто устал... Устал без вас...
 - Милый.
- Молчание.

3

Поездка на фронт закончилась в Екатеринбурге, где было белым-бело. После первых февральских метелей наступило морозное безветрие. Снежный покров осел, засахарился, отчего выглядел как бы спекшимся. В его крахмальной белизне город походил на полустершийся чертеж, в котором едва угадывались полоски крыш, изгородей и оконных переплетов. И над всем этим нависало повитое печными дымками, белесое от стужи небо.

Позади оставалась долгая, но ободряющая дорога: фронт, несмотря на лютые холода, продвигался по всем направлениям, радушие населения было неподдельным, боевой дух на позициях держался без дисциплинарных понуканий, будущее представлялось обнадеживающим. Пожалуй, впервые за последние два года Адмирал несколько приободрился, уповая на лучшее. Но даже в эти, казалось бы, безоблачные дни к нему нет-нет да и подступала сосущая сердце тревога: надолго ли все это?

Город, сквозь который несли его штабные сани, смотрелся вымершим: жизнь его, словно зверь в берлогу, забралась под снег, напоминая о себе лишь курной куделью над заснеженными кровлями.

С того самого дня, когда на Адмирала обвалилась весть о гибели Монарха, его тянуло сюда — в этот город, как притягивает путника близкая бездна: взглянуть, увидеть собственными глазами всю смертную жуть ее влекущей глубины, чтобы или окончательно сойти с ума, или навсегда излечиться от безумия.

Поэтому прямо с вокзала он приказал вести себя к дому Ипатьева, где его, по предварительной договоренности, уже должны были ждать с подробным докладом обо всех обстоятельствах этого рокового для России убийства.

Дом развернулся к Адмиралу с лету, всем фасадом — двухэтажный, приземистый, но не без претензий на некоторую вычурность. Его мертвые окна тускло освещивали по сторонам из-под обледенелых наростов, одновременно маня и отпу-

живая содеянным в нем злодейством. Было в нем что-то от разграбленного склепа или заброшенного могильника, откуда исчезло все содержимое, оставив после себя лишь тлен и дыхание смерти.

Во дворе навстречу Адмиралу высыпала небольшая группа людей, из которой сразу же выделился, приближаясь, высокий, остролицый, с черными усами человек в барашковой шапке и шинели без погон:

— Здравствуйте, Ваше высокопревосходительство, разрешите представиться: судебный следователь Соколов, — он близоруко вглядывался в Адмирала сверху вниз, будто гадал, не ошибся ли адресом. — Дозвольте также представить вам моих сотрудников...

После церемонии беглого знакомства все, следом за Адмиралом, гуськом потянулись в дом. Сумрак, царивший внутри, только подчеркивал его отпугивающую заброшенность. Все здесь носило следы разнузданной вольницы: замызганные полы, испещренные ругательствами стены, перекореженная, в беспорядке мебель. Было видно, что бежавшие даже не пробовали замести следы совершенных бесчинств, настолько оставались уверены в своем праве на них.

С глухобьющимся сердцем спускался Адмирал в подвальную часть дома, с каждым шагом все более ощущая приливавшую к ногам ватную слабость: «Хоть бы детей, женщин пожалели, Господи!»

Ему вдруг вспомнилась его единственная аудиенция у Императора в могилевской Ставке, перед назначением на Черноморский флот. Тот принял его без обычных официальностей, усадил в кресло против себя, с отсутствующим видом глядел сквозь него, заученно складывая формулы Высочайшего повеления, но голос его при этом не выражал ничего, кроме укоренной усталости и безразличия ко всему окружающему.

Помнится, уже в тот июльский вечер шестнадцатого года Адмиралу передалась эта безвольная обреченность Императора, и он с тоской подумал тогда: «Не жилец».

И еще одно отчетливо отложилось в памяти: в разговоре с ним Император то и дело досадливо морщился, отмахиваясь от назойливо кружившей перед его лицом мухи...

Тусклый свет керосинового фонаря из-за плеча Адмирала слабо озарял перед ним небольшую, если не сказать крохотную, комнату об одно окно, с растерзанной в беспорядочной стрельбе стенкой впереди.

«И как только они все здесь поместились! — замороженно

вглядывался он в выщербленную штукатурку и черные пятна на полу. — Это же бойня, настоящая бойня!»

И уже почти задыхаясь, отвернулся, дернулся к выходу: — Разрешите, господа...

Наверху, в наспех прибранной столовой, на покрытом белой простынею обеденном столе были выставлены для обозрения разрозненные останки императорской семьи.

Перед Адмиралом, аккуратно разложенное и пронумерованное, лежало то, что осталось от Дома Романовых, целой династии, трехсотлетней истории России; пепел, прах, горстка костей. Стоило ли строить государство, вести страну через кровавые бунты и еще более кровавые войны, правдами и неправдами умножать ее славу и богатство, чтобы в конце концов обратить все в ней и обратиться самим в щепоть безымянного тлена? Конечно, тут сошлось множество разных причин и роковых случайностей, но уверенная в себе монархия вековым инстинктом должна, обязана была предугадать все эти причины и случайности, вместе взятые, и в судьбоносный час противопоставить смертельному стечению обстоятельств всю мудрость и глубину своего божественного знания.

Только целиком проникшись этой единосущностью, можно разрешить себе, не угрызаясь совестью, отправлять на плаху собственных детей, не брезговать святотатством и клятвопреступлением, преступать, если нужно, все Божеские и человеческие законы, а потом, в редких промежутках между громкими победами и еще более громкими поражениями, замаливать собственные грехи смиренными молитвами и показной щедростью.

И сразу же почему-то отчеканилось в памяти из переписки Грозного с Курбским: «Како же сего не могл еси разсудити яко подобает властителем не зверски ярится, ниже бесловесно смирятся? Яко же рече апостол: «Овех убо милуйте разсуждающе, овех же страхом спасайте, от огня восхищающе». Видиши ли, яко апостол страхом повелевает спасти? Тако же и во благочестивых царех и временех много обрящещи злейшие мучение. Како убо, по твоему безумному разуму, одинако быти царю, а не по настоящему времени? То убо разбойницы и татие мукам неповини суть (паче же и злейша сих лукавая умышления!). То убо вся царствия нестроения и междоусобными браньями разтлется. И тако ли убо пастырю подобает, еже не разсмотряти о нестроении о подвластных своих?»

Но как раз этим качеством и был обделен от природы последний монарх династии. Взамен этого она одарила его мно-

гими иными добродетелями — простотой, деликатностью, редким великодушием, но первая зачастую оборачивалась для окружающих хуже воровства, вторая воодушевляла проходимцев, а третьей пользовались все, кому не лень, от казнокрадов до бомбометателей. Его государством была собственная семья. Только в ней он находил опору в повседневных делах, только в единении с нею чувствовал себя полноценным человеком и лишь ее считал гарантией будущего России. Все, что находилось за пределами этого замкнутого мирка, представлялось ему крикливой и докучливой суетой, на соприкосновение с которой его обрекало происхождение и долг, вытекающий из этого происхождения.

Поэтому в роковой час, когда от него потребовалось усилие воли, чтобы взять на себя окончательную ответственность за судьбу династии и государства, он предпочел малодушно бежать в этот мирок, оставив страну на поток и растерзание разнузданной бесовщине. И затем: бесславное отречение, прозябание в Тобольске, скорая нелепая гибель.

Монархия, по его глубокому убеждению, могла и еще сможет стать надежным залогом непрерывности истории и культуры, только если не будет пытаться приспособлять их к своему образу и подобию, а, наоборот, приспособит себя к ним, сделавшись лишь регулирующей силой, способной с чуткостью любящей, но умной матери мгновенно отзываться на их взлеты и падения и при этом помочь им в первом, но удержать во втором...

Потом Адмирал почти машинально листал объемистое следственное дело, мелькали даты, имена, фамилии так и не схваченных обвиняемых. Откуда, из какой тьмы возникли они — все эти белобородовы, голощековы, юровские или медведевы и сколько они еще прольют невинной крови, пока та же тьма не поглотит их?

(Много, много, Адмирал, они еще прольют невинной крови, но Тьма, породившая их, поглотит всю эту свору скорее, чем вы думаете, Ваше высокопревосходительство. Правда, прежде чем поглотить, она протащит их через все девять кругов пыточного ада, и некому им будет помолиться, чтобы облегчить хотя бы душевные свои муки. Когда одного из них уже поволокут на плаху, ему только и останется, что вопить благим матом: «Я Бслобородов, передайте в ЦК, меня пытаются!» Но ЦК — не Господь Бог, кричи не кричи, не поможет!)

— Благодарю вас, господа. — Его неудержимо тянуло прочь

от этого места, от этого дома, от этой засасывающей душу пропасти. — Честь имею.

И снова по коридору, через двор, наружу, а затем в сани и сквозь городскую белизну — к надежному теплу штабного бронепоезда.

На станции его застала необычная суматоха: на вокзальной платформе, оцепленной часовыми, бурлила толпа чешских легионеров, по путям беспокойно сновала железнодорожная обслуга, вокруг бронепоезда настороженно сгрудился адмиральский конвой.

— Беда, Ваше высокопревосходительство, — кинулся отсюда навстречу Адмиралу Удальцов: обычно невозмутимый, он выглядел не на шутку встревоженным. — Один из наших застрелил легионера.

— Кто? — на ходу бросил Адмирал, направляясь к поезду.

— Егорычев.

— Каким образом?

— Действовал по уставу, Ваше высокопревосходительство, — возбужденно дышал ему в затылок тот. — Стоял на посту, сначала крикнул, потом дал предупредительный выстрел, но ведь вы сами знаете, Ваше высокопревосходительство, чехам теперь сам черт не брат и море по колено, тип этот только обложил Егорычева матом, а на выстрел даже ухом не повел, ну, Филя мой и хлопнул его, как его по уставу учили.

— Так в чем же дело, если по уставу?

— Чехи подняли союзников, те грозятся разорвать отношения, легионеры, как видите, тоже бушуют, Сыровой вот-вот прибудет для объяснений.

— Что ж, примем. — После пережитого им в этот день нервы его были напряжены до предела. — Пора наконец действительно объясниться.

Сыровой вкатился к нему в салон без предупреждения, волчком закружил по ковру перед ним, возмущенно поблескивая в его сторону своим единственным глазом:

— Когда прекратится это беззаконие, адмирал, я больше не намерен этого терпеть, вы можете безнаказанно лить кровь своих соотечественников, вы сами ответите за нее перед историей, но я не могу допустить, чтобы ваши люди лили чешскую кровь, за нее отвечаю я! — он тут же осекся, поймав на себе побелевший от ярости взгляд адмирала. — Это очень серьезно, Ваше превосходительство.

Адмирал медленно поднялся, не спуская с гостя помертвевших в испугленном гневе глаз:

— Слушайте, вы, как вас там, господин Сыровой, вы не в пражской пивной, а в салон-вагоне Верховного Правителя России, держите себя в руках или я прикажу выбросить вас вон. Вы прекрасно знаете, что часовой действовал согласно существующим воинским правилам, поэтому незачем разыгрывать передо мной дешевую мелодраму. Зарубите себе на носу и передайте вашим иностранным друзьям: за неукоснительное исполнение служебного долга я объявляю часовому благодарность в приказе и рассылаю этот приказ по войскам.

— Но, адмирал...

— Для вас я не «адмирал», а «Ваше высокопревосходительство», видно, генеральский мундир еще не сделал из вас военного, Сыровой, не сделал он таких и из ваших подчиненных, иначе они бы знали, что такое честь, а они ведут себя в приютившей их стране, как шайка обезумевших мародеров. Сначала вы изменили одной присяге, теперь изменяете другой, и все это ради спасения своей собственной шкуры, чего вы стоите вместе со своим воинством, Сыровой, плевка не стоите!

— Я вынужден доложить об этом своему правительству, — еще догорал, попыхивая угольным треском тот. — Это неслышанно!

— Под шумок большой войны, за спиной у истекающей кровью Европы вырыли себе свою национальную норку и думаете отсидеться в ней от всемирного потопа. Не получится, Сыровой, рано или поздно потоп этот доберется и до вашего иллюзорного убежища, где вы вознамерились теперь избавиться от своей лакейской мизерабельности за счет чужой крови, а от этого можно избавиться только за счет своей, но она настигнет вас, эта кровь, и падет, если не на вас, то на ваших детей, — гнев в нем схлынул так же внезапно, как и возник, он даже не сел, а обессиленно упал в кресло, отвернувшись к окну. — Среди вас был лишь один человек — полковник Швец, который понимал это, вот он и покончил с собой, чтобы не разделять с вами вашего позора.

— И все же, Ваше высокопревосходительство...

Адмирал только отмахнулся с вялой брезгливостью:

— Я вас больше не задерживаю, Сыровой, но в следующий раз соблаговолите предварительно докладывать о своем визите по форме, иначе, повторяю, я прикажу спустить вас с лестницы.

И прикрыл веки, словно занавес опустил между собой и гостем.

Предсмертная записка полковника Швеца:

«Я не могу пережить позора, постигшего нашу армию по вине многочисленных необузданных фанатиков-демагогов, которые убили в себе и в нас всех убивают самое ценное — честь».

Открытое письмо капитана польских войск в Сибири Ясинского-Стахурека генералу Сыровому:

«Как капитан польских войск, славянофил, давно посвятивший свою жизнь идее единения славян, — обращаюсь к Вам, генерал, с тяжелым для меня, как славянина, словом обвинения.

Я, официальное лицо, участник переговоров с Вами по прямому проводу со ст. Ключвенная, требую от Вас ответа и доведу до сведения Ваших солдат и всего мира о том позорном предательстве, которое несмываемым пятном ляжет на Вашу совесть и на Ваш «новенький» чехословацкий мундир.

Но вы жестоко ошибаетесь, генерал, если думаете, что Вы, палач славян, собственными руками похоронивший в снегах и тюрьмах Сибири возрождающуюся русско-славянскую армию с многострадальным русским офицерством, пятую польскую дивизию, полк сербов и позорно предавший Адмирала, — безнаказанно уйдете из Сибири. Нет, генерал, армии погибли, но славянская Россия, Польша и Сербия будут вечно жить и проклинать убийцу возрождения славянского дела.

Я приведу только один факт, где Вы были главным участником предательства, и его одного будет достаточно для характеристики Иуды славянства, Вашей характеристики, генерал Сыровой!

9 января сего года от нашего высшего польского командования, с ведома представителей иностранных армий, всецело присоединившихся к нашей телеграмме, было передано следующее:

«5-я польская дивизия, измученная непрерывными боями с красными, дезорганизованная бесприммерно трудными передвижениями по железной дороге, лишенной воды, угля и дров, и находящаяся на краю гибели, во имя гуманности и человечности просит Вас о пропуске на восток пяти наших эшелонов (из числа 56) с семьями воинов: женщинами, детьми, ранеными, больными, обязуясь, предоставив Вам в Ваше рас-

поряжение все остальные паровозы, двигаться дальше боевым порядком в арьергарде, защищая, как и раньше, Ваш тыл».

После долгого пятичасового томительного перерыва мы получили, генерал, Ваш ответ, ответ нашего доблестного брата-славянина:

«Удивляюсь тону Вашей телеграммы. Согласно последнему приказанию генерала Жанена, Вы обязаны идти последними. Ни один польский эшелон не может быть мною пропущен на Восток. Только после ухода последнего чешского эшелона со ст. Клюквенная Вы можете двигаться вперед. Дальнейшие разговоры посему, вопросы и просьбы считаю излишними, ибо вопрос исчерпан».

Так звучал Ваш ответ, генерал, добивший нашу многострадальную пятую дивизию.

Конечно, я знал, что Вы можете сказать мне, как и другим, что технически было невозможно выполнить наше предложение; поэтому заранее говорю Вам, генерал, что те объяснения, которые Вы представили и представляете другим, не только не убедительны, но и преступно лживы. Мне, члену комиссии, живому свидетелю всего происходящего, лично исследовавшему состояние ст. Клюквенной, Громодской и Заозерной, Вы не будете в состоянии лгать и доказывать то, что Вы доказывали генералу Жанену. Если бы Вы не как бесчестный трус, скрывавшийся в тылу, а как настоящий военачальник были бы среди Ваших войск, то Вы увидели бы, что главный путь был свободен до самого Нижнеудинска. Абсолютно никаких затруднений по пропуску пяти наших эшелонов быть не могло. У меня есть живые свидетели, специалисты железнодорожного дела, не поляки, а иностранцы, бывшие 7, 8, 9 января на ст. Клюквенной, которые, несомненно, подтвердят мои слова.

Я требую от Вас, генерал, ответа только за наших женщин и детей, преданных Вами в публичные дома и общественное пользование «товарищей», оставляя в стороне факты выдачи на моих глазах на ст. Тулуне, Зиме, Половине и Иркутске русских офицеров, «дружественно» переданных по соглашению с Вами, для расстрела, в руки «товарищей» совдеповско-эсеровской России... Но за всех них, замученных и расстрелянных, несомненно, потребуют ответа мои братья-славяне, русские и Великая Славянская Россия. Я же лично, генерал, требую от Вас ответа хотя бы только за нас, поляков. Больше, генерал, я не могу и не желаю говорить

с Вами — довольно слов. Не я, а беспристрастная история соберет все факты и заклеит позорным клеймом, клеймом предателя, Ваши деяния.

Я же лично как поляк, офицер и славянин обращаюсь к Вам: к барьеру, генерал! Пусть дух славянства решит наш спор — иначе, генерал, я называю Вас трусом и подлецом, достойным быть убитым в спину.

Капитан польских войск в Сибири Ясинский-Стахурек, 5 февраля 1920 года».

Ответа на это письмо не последовало.

После завершения чешской эвакуации генерал Жанен вручил Сыровому в Харбине орден Почетного легиона.

5

Сквозь смотровую щель штабного блиндажа и расступавшееся впереди редколесье обзор открывался как на ладони. Адмирал поднял бинокль, и полевая даль за лесной опушкой приблизилась к нему почти вплотную.

Сначала в знойном мареве над июльским полем перед ним выявилась кромка березовой рощицы, дальним своим краем стекающей за горизонт. Затем от этой рощицы, словно струнувшийся с места подлесок, выделилась изреженная россыпь темных фигурок. Издалека казалось, что они не передвигались, а плыли поверх некошеной травы, устремляясь туда, где на крутом изгибе речного берега сгрудились впритык друг к другу тесовые крыши облепившего его села.

Фигурки плыли в полной тишине, прошитой лишь шипом и стрекотом полевого царства, и, глядя со стороны, можно было подумать, что происходит безобидная игра в «детские солдатики».

Но чем короче становилось расстояние между атакующей цепью и селом на взгорье, тем явственней обозначался в фокусе адмиральского бинокля облик наступающих: жесткие, без кровинки лица, напряженно откиннутый немного назад корпус, руки, судорожно слившиеся с прикладом и ложем винтовки у плеча, — знак смерти на гимнастерке.

В двух шагах впереди цепи, словно возглавляя парадный строй, вышагивал подбористый, саженного роста офицер, и, остановив на нем окуляры, Адмирал сразу узнал его: Каппель.

«Будто сам смерти ищет, — горько отложилось в нем, — не к добру это».

Что он знал об этом Каппеле? Почти ничего, кроме обычного послужного списка: Николаевское кавалерийское училище, Академия Генштаба, мировая война, герой штурма Симбирска и Казани. При немногих, да к тому же коротких, встречах сух, подтянут, исполнителен до подобострастия: типичный выученик старой школы. Но что-то привлекало в нем Адмирала, тянуло встретиться в другой, менее официальной обстановке, даже пооткровенничать под сурдинку, но ежедневная суета закручивала его с утра до ночи, не давая опаматоваться, выбрать случай для душевной беседы, а время той порой шло и шло, упрямо увлекая их, отдаленных друг от друга людьми и расстоянием, к одному и тому же концу.

Чуткая, а потому осторожная к людям Анна, словно угадывая его слабость к Каппелю, не раз замечала ему в разговорах:

— Один у вас друг, Александр Васильевич, без лести преданный, — это Владимир Оскарыч, вот кому бы вам довериться...

За месяцы Верховной власти он так и не смог избавиться от некоторого ученического почтения к армейскому генералитету. Ему казалось почти непостижимым искусство распоряжаться целыми массами людей, двигая их по своему усмотрению в любую сторону и маневрируя ими в зависимости от случайностей, возникающих уже по ходу боя. Для этого, по его убеждению, они должны были обладать каким-то особым даром постоянного чувства личного взаимопонимания не только с этими массами, но и с каждым из подчиненных в отдельности.

Во флоте дело обстояло совершенно иначе. Флотоводцу вообще почти не было нужды выходить за пределы флагманской каюты или соприкоснуться со сколько-нибудь большим количеством людей. Корабельная армада жила сама по себе, как предельно отлаженный механизм, в котором воля командующего играла не направляющую, а скорее регулирующую роль. Знания и точный анализ считались здесь важнее интуиции и таланта.

Наверное, поэтому Адмирал так благоволил к Гайде и младшему Пепеляеву, прощал им их своеволие и заносчивость. Для него — образованного и опытного моряка — было почти сверхъестественным, что вчерашний поручик и неудачливый фельдшер безбоязненно брались за любые крупномасштабные операции и, что самое поразительное, доводили их до более или менее успешного завершения.

Эта его слабость к сухопутным практикам не раз оборачивалась для него промахами в выборе военачальников...

Пулеметная очередь попеременно с одиночными выстрелами, словно град ребячьих хлопучек, вдруг прошла раскаленную тишину и пошла, пошла сыпать, выхватывая из плывущих цепей мишень за мишенью. Но не замедляя и не ускоряя шага, цепи продолжали двигаться, неотвратимо, волна за волной накатывались, приближались к сельской околице, увлекаемые волей ведущего, и, наконец, растеклись, слились с контурами далеких построек.

Стрельба, будто захлебнувшись, мгновенно смолкла.

— Взяти! — азартно выдохнул у него за спиной Удальцов.

— Молодец, Каппель!

Но в отличие от него Адмирал не испытывал радости. Он думал сейчас о тех, кто, не дойдя до цели, полег там — в некошенных травах, с застывшим у них в глазах июльским небом.

«Ради чего, — изводился он, — и зачем все это? За что, во имя какой корысти эти безусые мальчишки кладут свои головы вот так, еще не вздохнув полной грудью?»

Ответить на эту источавшую его муку после всего пережитого им за последние месяцы он не мог даже самому себе. События развивались так, что эти мимолетные успехи только подчеркивали общую обреченность.

Ему вспомнилась его зимняя поездка вдоль прифронтовой полосы. Тогда, после Перми, счастье, казалось, улыбнулось им: взятие Оханска и глубокий обход Осы, бегство красных от Камы в сторону Вятки, победный штурм Уфы и, наконец, соединение передовых линий лыжников с архангельцами. Признание союзников ожидалось в ту пору со дня на день.

Но и тогда Адмирал не спешил обольщаться. Если бы враг у него существовал только впереди, ему не о чем было бы беспокоиться: под его рукой имелось достаточно боеспособных сил и опытных военачальников, чтобы одолеть любого противника. Но враг был сзади, у него за спиной: в штабных и гражданских канцеляриях, на железнодорожных путях и проселочных трактах, в салонах-вагонах и резиденциях союзников, в рабочих поселках, в лесных деревнях, казачьих станицах: человеческая душа страшилась упустить выпавший ей случай пожить по своей воле и собственному разумению, не имея, к несчастью, ни того, ни другого.

Поэтому царившее зимой вокруг него повсеместное ликование не вселило в него особых надежд, слишком поучитель-

ным оказался для него весь его послефевральский опыт, чтобы утешаться иллюзиями удержать прорванную плотину всеобщего безумия хрупкими подпорками фронтовых успехов.

Еще там, на Черноморье, в июне семнадцатого, когда корабельные заводились вломились к нему во флагманскую каюту с нелепым постановлением судового комитета о его смещении и аресте, он понял, что это конец всему и всего: то, что еще вчера казалось ему хорошо и надолго отлаженным механизмом, у него на глазах превращалось в груды беспорядочного лома, вдруг потерявшего всякое понятие о своем назначении.

У них не было причин подозревать его в чем-либо или за что-то ненавидеть: он не лукавил с ними и был к ним неизменно справедлив, но в их тогдашней торжествующей возбужденности и не чувствовалось ни обиды, ни злости, а лишь одно ликующее упосние властью над тем, что еще вчера оставалось им неподвластно.

Сколько разговоров, сколько мифов и легенд распускалось потом обо всей этой сцене, а в особенности о выброшенном Адмиралом за борт Георгиевском кортике! На самом деле все происходило обыденней и короче, без красивых жестов и аффектации. По правде говоря, он не прочь был даже подчиниться: в конце концов что, собственно, означал для него этот самый кортик, если рушилась сама основа, которая еще сообщала смысл каким-либо ценностям или отличиям, но победительная ухмылка главаря — в прошлом знающего и покладистого боцмана — вызвала в нем такой прилив черного бешенства, что на минуту он потерял контроль над собой:

— Руки прочь, не ты мне его давал, — кортик со свистом рассек синеву за распахнутым настезь иллюминатором, — не ты его и отберешь...

Приходя в себя, Адмирал повернулся к Удальцову:

— Каппелья ко мне!

Потом, когда в сумерках они сидели друг против друга за собранным на скорую руку ужином, Адмирал вглядывался в невозмутимое, без единой морщинки лицо собеседника в поисках хотя бы тени, проблеска, налета тревоги или беспокойства, но тот в продолжение всего разговора производил на него впечатление человека, только что вернувшегося с безобидной прогулки и готового по первому приглашению ее повторить.

И, лишь прощаясь, Каппель впервые напряженно потемнел, выдавая выжигающую его изнутри муку:

— Вы спрашиваете, Александр Васильевич, стоит ли командующему самому подставляться под пули? — В выпуклых

глазах его проступила сдержанная ярость. — Не знаю, может быть, и не стоит, но только мне с ними, — он кивнул куда-то за спину себе, — на одной земле не быть, а единственное, что у меня есть в обмен на это, — моя жизнь, — и тут же официально вытянулся: — Разрешите идти, Ваше высокопревосходительство?

После его ухода Адмирал долго еще сидел в одиночестве, глядя сквозь блиндажную щель в наступающую снаружи ночь. Он снова думал о тех, кто полег сегодня там, в июльских лугах, и для кого уже не существовало ни этой ночи, ни этой тишины, ни завтрашнего, может быть, еще более тяжелого для них дня.

«Кто знает, — складывалось в нем, — не придется ли мне еще завидовать их участи? И одному ли мне?»

Впереди, над зубчатой кромкой отдаленного леса, вдруг возникла, мерцая и разрастаясь, одинокая, но торжествующая в ночной тверди звезда. Звезда, от которой веяло горькой полынью. Его звезда.

Не оборачиваясь, он позвал Удальцова и, едва услышав за спиной легкое движение, распорядился:

— Попросите заготовить приказ о производстве генерал-лейтенанта Каппеля в полные генералы.

— Слушаюсь, Ваше высокопревосходительство!

А звезда продолжала набирать силу и возноситься.

6

Из записок Г. Гинса:

«В начале октября Верховный Правитель собирался в дальнюю поездку, в Тобольск. Я решил сопровождать Адмирала. Мне хотелось ближе познакомиться с ним, хотелось также побывать на фронте, у самого огня увидеть солдат, офицеров, ознакомиться с их настроением.

Как раз накануне отъезда в доме Верховного был пожар. Нехороший признак. Трудно было представить себе погоду хуже, чем была в этот день. Нескончаемый дождь, отвратительный резкий ветер, невероятная слякоть — и в этом аду огромное зарево, сноп искр, суетливая беготня солдат и пожарных, беспокойная милиция.

Это зарево среди пронизывающего холода осенней слякоти казалось зловецим. «Роковой человек», уже говорили кругом про Адмирала. За короткий период это был уже второй несчастный случай в его доме. Первый раз произошел разрыв

гранат. Огромный столб дыма с камнями и бревнами взлетел на большую высоту и пал. Все стало тихо. Адмирала ждали в это время с фронта, и его поезд приближался уже к Омску.

Взрыв произошел вследствие неосторожного обращения с гранатами.

Из дома Верховного Правителя вывозили одного за другим окровавленных, обезображенных солдат караула, а во дворе лежало несколько трупов, извлеченных из-под развалин. Во внутреннем дворе продолжал стоять на часах оглушенный часовой. Он стоял, пока его не догадались сменить.

А кругом дома толпились встревоженные, растерявшиеся обыватели. Как и часовой, они ничего не понимали. Что произошло? Почему? День был ясный, тихий. Откуда же эта кровь, эти изуродованные тела?

Когда Адмиралу сообщили о несчастье, он выслушал с видом фаталиста, который уже привык ничему не удивляться, но насупился, немного побледнел. Потом вдруг смущенно спросил: «А лошади мои погибли?»

Теперь, во время пожара, Адмирал стоял на крыльце, неподвижный и мрачный, и наблюдал за тушением пожара. Только что была отстроена и освящена новая караульная, взамен взорванной постройки, а теперь горел гараж. Что за злой рок!

Кругом уже говорили, что Адмирал несет с собой несчастье. Взрыв в ясный день, пожар в ненастье... Похоже было на то, что перст свыше указывал неотвратимую судьбу.

Поездка в Тобольск состоялась. Для Адмирала был реквизирован самый большой пароход «Товарпар». Он должен был отойти в Семипалатинск. Уже проданы все билеты, и публика начала занимать каюты, когда пришло известие: «Всем пассажирам выгружаться». Шел дождь. Другого парохода не было, а публику гнали с парохода.

Бедный Адмирал! Он никогда не знал, что творилось его именем. Исправить сделанного уже было невозможно, и я ничего не сказал ему».

7

После тобольской поездки что-то словно бы хрустнуло, надломилось в налаженной было Адмиралом машине. И от этого надлома потянулись трещины и трещинки во все стороны ее не окрепшего еще организма.

Тюменская операция окончательно захлебнулась. Красные не соблазнились кратчайшим путем отхода через лесные топи на Тюмень, а вопреки всем ожиданиям повернули обратно — к Тобольску, по частям разбивая небольшие отряды воткинцев, выдвинутых в тыл отступающего противника, а встретивших наступавшего. Под самым Тобольском они, не заходя в город, повернули на Тюмень, оказавшись за спиной армии генерала Редько, шедшей вдоль Тобола в том же направлении. Сразу же началось беспорядочное отступление, а вернее, бегство. Северный фронт разошелся по всем швам.

Затем, словно сполохи по сухой стерне, пошли дымить крестьянские бунты, отзываясь на умирения все новыми и новыми зарницами. Волнения подступали к самому Омску из Славгородского и Тарского уездов, с юго-востока и северо-запада, прервав линию сообщений Семипалатинск-Барнаул. Земля уходила из-под ног Адмирала.

После чего и с запада посыпались известия одно тревожнее другого. В конце октября Юденич отступил от Петрограда. Почти одновременно Деникин сдал Орел и начал стремительно откатываться к Ростову. Архангельского фронта больше не существовало. Омск оставался в одиночестве, с глазу на глаз с Пятой армией наступающего противника.

И пошло, поехало.

Атаманщина в полном составе окончательно вышла из повиновения. Верным оставался только Дутов, но до него было далеко, и поэтому он мало чем мог помочь. Семенов удельным князьком отсиживался в Чите, Анненков куролесил по Семиречью, а Калмыков жег и грабил вокруг Харбина. И не существовало отныне на этой земле силы, которая смогла бы обуздать или утихомирить их.

Чехи, поддержанные союзниками, с каждым днем вели себя все более вызывающе. Их эшелоны забили железнодорожную сеть до самого Новониколаевска, блокируя любые перевозки в каких бы то ни было направлениях. Не считаясь ни с грузом, ни с графиком и пренебрегая чьими-либо приказами и просьбами, они самочинно реквизировали тягу и подвижной состав для подручных нужд и праздного передвижения. Сибирь сделалась заложницей этой разнузданной орды у себя, в своей собственной стране.

Омск стал походить на осажденную крепость. Вокруг города дымили кострами таборы беженцев, из которых наспех формировались разношерстные соединения: мусульмане, ле-

гионеры, православные крестоносцы. Молва перекатывала из конца в конец города недавние слова Адмирала: «Бежать больше некуда, надо защищаться».

На полыхающий неподалеку фронт были брошены последние резервы: морской батальон, городское ополчение и даже большая часть адмиральского конвоя. Упорство наступающих схлестнулось насмерть с отчаянием оборонявшихся.

Но — странное дело! — чем хуже и безнадежнее становилась общая ситуация, тем увереннее и тверже чувствовал себя Адмирал. Осознав худшее, он словно бы отряхнул душу от страхов и тревог вчерашней неопределенности и с облегчением взглянул в глаза своей гибели. Наверное, так чувствует себя беглец, достигнутый долгой погоней, когда уже нет надобности никуда бежать и не от кого скрываться: флажки сомкнулись за ним, и ему ничего не оставалось, как наблюдать из своего загона за окружающими с отчаянным спокойствием обреченного.

Царившая вокруг него паническая суета, обтекая его со всех сторон наподобие гулкого водоворота, почти не отзывалась на нем. По сравнению с тем, что ожидало его впереди, волнения и страсти вокруг виделись ему теперь словно сквозь опрокинутый бинокль, настолько они выглядели микроскопическими.

Видит Бог, он сделал все, бывшее в его силах, чтобы, оказавшись в самой стремнине сокрушительного потока, попытаться если не остановить этот поток, то хотя бы прикрыть собою тех, кто был ему особенно близок, и если и не сумел этого сделать, то не по своей вине.

Да и кому на его месте удалось бы совершить большее? Едва ли вокруг него имелись люди, видевшие дальше, чем он, и понимавшие, что все, случившееся в России, только начало пожара, который рано или поздно охватит остальной мир, и что война, заливая ее, теперь уже не кончится до тех пор, пока на земле останется хотя бы одна живая душа. Простому смертному не под силу была бы догадка, что человек впервые в истории затеял войну, которая захлестнет землю, а затем, дробясь и дробясь на все более малые боины, обернется последним поединком двух живых существ, после чего победитель, в последний раз огласив мертвую землю предсмертным криком, уничтожит самого себя. И тогда над поверженным миром прокатится торжествующий хохот Сатаны: «Я победил тебя, Галлеянин»...

Губернаторский дом, где размещались службы Верховного

Правителя, превратился в придорожный табор: повсюду громоздилась ручная кладь, товарный багаж, беспорядочные груды документации, а поверх всего этого сидели, лежали, возбужденно метались люди с загнанными от растерянности глазами.

В кабинете Адмирала происходило почти непрерывное заседание. Разговоры велись лишь об одном: сдавать или не сдавать Омск? В принципе эвакуация была решена еще в августе, но затем не раз отменялась в надежде на изменения к лучшему. Даже теперь, когда, казалось бы, другого пути не оставалось, наиболее отчаянные головы призывали правительство защищаться во что бы то ни стало и любой ценой.

Адмирал непрерывно принимал министров, генералов, представителей городской общественности, вполуха выслушивал все «за» и «против», невидяще смотрел сквозь собеседника, едва воспринимая обращенные к нему доводы и доказательства.

Слегка оживился он только при появлении командующего Третьей армией генерала Сахарова. Тот прибыл прямо с фронта, вымокший под мокрым снегом с ног до головы, в заляпанных грязью сапогах возник на пороге и уже оттуда, не стесняясь субординацией, обрушил на присутствующих водопад новостей, одну хуже другой:

— Фронта больше не существует, господа, солдаты разбегаются куда глаза глядят, Щетинкин гуляет по нашим тылам, как у себя дома, измена поднимает голову на каждом шагу, большевики могут оказаться в любую минуту на ружейный выстрел от Омска! — но, выложив все это одним духом, закончил он довольно неожиданно. — Выход один: собрать остатки сил в единый кулак вокруг города и защищаться до последнего, противник тоже на последнем пределе, если мы выстоим, возможен перелом.

И лишь после этого не сел, а облегченно рухнул в кем-то сочувственно выдвинутое к нему кресло, с вызовом вздернув бульдожий подбородок в сторону Адмирала.

Даже видавший виды Пепеляев не сразу нашелся, настолько он был ошарашен сахаровским натиском:

— Какими же силами защищаться, Константин Васильевич, где они у нас, эти силы?

— Наличными, Анатолий Николаевич, наличными, — Сахаров не скрывал давней своей неприязни к Пепеляеву. — Вытянуть на свет Божий из разных канцелярий и штабных

щелей всю тыловую сволочь, поставить под ружье и отправить на позиции, хватит ей пробавляться на казенном корму за спиной у фронтовиков, вот и весь сказ, а то ведь, я смотрю, эта сволочь не воевать, а удирать собралась на семеновские хлеба, только как бы ей этими хлебами не подавиться.

В дальнейшую перепалку Адмирал уже не вникал. К нему вдруг вернулось спасавшее его временами упрямство: почему бы и нет? Да, положение практически безнадежное, да, реальных шансов у них, если смотреть правде в глаза, нет, но вот находится человек, который хочет и полон решимости драться, отчего не позволить этому человеку рискнуть? Сколько можно выслушивать нытье Дитерихса, этого тихопомешанного ханжу, возомнившего себя перстом Божьим, или надеяться на шальное везение Пепеляева, удачливого только на ровной дорожке, пусть честолюбивый новичок попытает счастья, может быть, еще не все потеряно и есть шанс хотя бы отсрочить худшее?

Возвращаясь к действительности, Адмирал решительно вклинился в гудевший вокруг него спор.

— Быть по сему.

8

Из дневника Анны Васильевны:

«Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь, — с кем я могу говорить об Александре Васильевиче? Все меньше людей, знавших его, для которых он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной каких бы то ни было человеческих черт. Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу, — сухо, протокольно и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться по мелочам — это ли не уважение к человеку?»

И мне он был учителем жизни, и основные его положения: «ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты» и «если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу — тогда не так страшно» — были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы».

Из записок Г. Гинса:

«В день отъезда ударил мороз. Стало легче на душе: армия сможет отойти за Иртыш.

По обе стороны пути тянулись обозы отступающих частей. На станциях стояли длинной цепью эшелоны эвакуирующихся министерств и штабов. Платформы были наполнены всяким скарбом.

В Новониколаевске мы получили известие, что дела Деникина идут очень плохо. Я посетил стоявшего там Дитерихса. Он показал мне торжествующее радио большевиков, которое заканчивалось словами: «...плохо, брат Деникин, пора умирать». «А вы знаете, — сказал Дитерихс, — что вам лично грозила опасность в Омске? Я просил генерала Домонтовича вас об этом предупредить».

Мы тронулись дальше. Ехали спокойно, но чувствовали себя путешественниками, а не правительством. Все разбилось, разорвалось на части и жило своей жизнью по инерции, не зная и не ища власти. Только начиная от Красноярска, где путь уже не был так разбит, стали выходить местные администраторы, чтобы встретить и получить инструкции.

Но что мог дать им Вологодский, который в то время больше походил на путешественника, чем когда-либо! И встречавшие получали только последний номер «Правительственного Вестника» с Положением о Государственном Экономическом Совете. Это была последняя ставка правительства.

Любопытно, что одна из последних телеграмм Деникина извещала о разработке проекта учреждения законодательного органа. Этого же хотел и Миллер в Архангельске. Все пришли к этому выводу. Но Миллер просил одновременно дать ему право производить в чины и награждать орденами. Эту телеграмму мы оставили без ответа...

Армия Адмирала обратилась в беспорядочное бегство, а в район расположения сил генерала Деникина врезался клин наступающих красных войск. Деникин отступал, и не только миновала опасность Москве, но и открылись перспективы освобождения хлебных районов. Юденич отступил к границам Эстляндии. В Юрьеве было достигнуто соглашение между советской Россией и Эстляндией о признании последней и прекращении военных действий. Юденич уже не

думал о взятии Петрограда, его внимание было направлено в сторону спасения остатков разбитой армии.

Было чему радоваться в красной Москве.

Омское правительство выехало 10 ноября, а 14-го Омск был уже занят красными. Произошло занятие Омска с той же понятной только для свидетелей гражданской войны, объяснимой только социальной психопатологией, катастрофической быстротой. Восстание внутри, неожиданное появление отрядов красных с севера — и все побежало, все силы гарнизона куда-то испарились, одни отнимали у других лошадей, одни других пугали.

Впечатление непреодолимости красных сил усиливалось от стихийности их движения. Красная армия начала казаться всем непобедимой. Сила сопротивления становилась все слабее. Перелом настроения в сторону большевиков вызвал массовый переход на их сторону всех тех, кто относился безразлично или с антипатией к власти Верховного Правителя».

10

В Нижнеудинске поезд Верховного Правителя загнали в тупик. Адмирал сразу же почувствовал себя будто под стеклянным колпаком, настолько осязаемой сделалась окружающая его тишина. Связь с внешним миром прервалась окончательно, и лишь невероятными ухищрениями Удальцова, правдами и неправдами уломавшего станционных связистов, удалось дважды соединиться со штабом Западного фронта, но вести оттуда не принесли облегчения: фактическая боевая сила продолжала существовать только на штабных картах.

На следующий день нарочным было доставлено два пакета: от Совета Министров и генерала Жанена. В первом ему предлагалось отречься в пользу Деникина, во втором — отдаться под опеку чехов. Ультиматум вчерашних подчиненных выглядел дурной шуткой, предложение союзников о чешской опеке — смертным приговором.

Но, давно приготовившись к худшему, Адмирал не считал себя вправе связывать своей судьбой сопровождавших его людей.

— Вот что, полковник, — он брезгливо протянул Удальцову обе бумаги, — передайте этой сволочи, что я согласен, и себе-

рите ко мне тех, кто еще остался, — офицеров, обслугу, конвой, я хочу попрощаться с ними.

Бумаги тот взял, но так и остался стоять с ними в вытянутой по шву руке:

— Разрешите, Ваше высокопревосходительство, изложить вам кое-какие свои соображения?

— Только давайте теперь попросту, Аркадий Никандрч, без чинов, — от Удальцова исходила жаркая волна ожесточенной решимости, которой так не хватало сейчас ему самому, — чего уж там, выкладывайте.

— Надо пробиваться в Монголию, Ваше высокопревосходительство, — под укоряющим взглядом Адмирала он тут же с усилием поправился, — Александр Васильевич, к весне собрать там силу и ударить снова, я уже говорил с людьми, два десятка соберется вполне надежных, медлить нельзя никак, каждую минуту могут разоружить. — Видно, уловив в лице Адмирала проблеск колебаний, заговорил еще жарче, еще убежденнее. — Пробьемся, Александр Васильевич, легко пробьемся, комитетских здесь кот наплакал, если бы не чехи, мы бы их без выстрела сняли, я ведь родом из этих мест, с завязанными глазами проведу и выведу...

Надежда золотой рыбкой встрепенулась было в Адмирале, но померкла так же мгновенно, как и занялась:

— Верность вашу, Аркадий Никандрч, я всегда ценил и ценю, но бегство — это не для меня, — он устало горбился за столом вполоборота к Удальцову, но на собеседника не глядел, разговаривая скорее с самим собою. — За мной пошла армия, тысячи людей, они поверили мне, сколько из них сложили головы, а теперь, когда им совсем плохо, когда у них ничего не осталось, кроме веры в меня, я соглашусь их бросить? Нет, Аркадий Никандрч, этому не бывать, это означало бы предать и живых, и мертвых, погибать — так уж вместе с ними.

— Но без вас-то нам уже и вовсе не подняться, Александр Васильевич, — почти выкрикнул, взмолился Удальцов. — Тогда всему конец!

— Пробивайтесь на соединение с Каппелем, Аркадий Никандрч, — все так же, вполоборота к собеседнику, Адмирал поднялся, — во Владимира Оскарыча я верю, он еще сумеет, за ним пойдут, — он медленно повернул к Удальцову опустошенно схлынувшее лицо. — Храни вас Бог, Аркадий Никандрч!

И весь ушел в свои глаза, замкнувшись в них, как в раковинах.

Какой долгой видится жизнь вначале и какой короткой она оказывается в конце! Теперь ему представлялось, будто ее и вовсе не было, и мгновение, когда он осознал свое «я», все еще длится, вобрав в себя его путь от первых шагов по земле до сегодняшнего дня. Прерывистыми кадрами вспыхивали в его памяти фантомы и видения прошлого, сливаясь в конце концов в одно целое, в котором полностью замыкался магический круг его судьбы...

У него не было надобности даже оборачиваться, чтобы почувствовать ее присутствие, а почувствовав это, он тихо спросил, все так же глядя перед собой, но в себя:

— Вы уже знаете?

— Да.

— Что вы об этом думаете?

— Будем надеяться, Александр Васильевич, они все-таки европейцы.

— Европейцы обычно употребляют это слово, когда хотят оправдать свое равнодушие.

— Но они военные, дорогой Александр Васильевич, для них небезразлично понятие чести.

— К сожалению, они давно забыли о том, что это такое.

— Но они предлагают нам перейти в вагон под их флагами.

— То есть в мой собственный гроб, покрытый их знаменами.

— И все же будем надеяться, Александр Васильевич, будем надеяться...

Легкие ладони ее легли ему сзади на плечи, и от этого их летучего прикосновения все в нем затихло, выровнялось, улеглось. Поэтому, когда на пороге появилась тучная фигура генерала Зенкевича, он был уже снова собран и предупредителен:

— Слушаю вас, генерал.

Тот некоторое время смущенно таращился на Адмирала базедовыми глазами, грузно переминался с ноги на ногу и, наконец, выдавил из себя с заметным усилием:

— Простите, Ваше высокопревосходительство, союзники торопят... Мы должны немедленно перебраться в чешский эшелон. Иначе они не ручаются за вашу безопасность... На станции беспокойно...

— Кто с нами?

Зенкевич еще более сник и напрягся:

— Только ближайшее окружение, Ваше высокопревосходительство... Таково условие чехов... Генерал Сыровой уже распорядился поставить нас на общий солдатский котел...

Адмирал равнодушно пожал плечами: Сыровой мстил. Мстил мелко и глупо, как всякий торжествующий плебей. На таких у Адмирала обычно не хватало даже презрения.

(Новоиспеченный чешский генерал великодушно дарил полному русскому адмиралу, Верховному Правителю России, право пользоваться котлом иноземных солдат, состоявшим из харчей, реквизированных ими у сибирских крестьян: не правда ли, восхитительно, а?)

— Я готов, — он бережно снял ее руки с себя и, повернувшись к ней лицом, взял их в свои. — Надеюсь, эти милостивые государи не оставят здесь, вместе с моим конвоем, русского золота?

— Золотой запас, Ваше высокопревосходительство, уже отбыл в Иркутск.

— Я был уверен, что об этом они позаботятся, деньги они считать умеют, в особенности чужие. Попросите собрать для меня самое необходимое, больше мне уже, наверное, не понадобится. Благодарю вас. — И к ней, с обреченной решимостью: — Анна Васильевна, милая, оденьтесь потеплей, холод на дворе анафемский...

С этого момента их отношения, дошедши до своего последнего предела, сделались обыденнее, проще, доверительней. У них уже не было надобности считаться с какими-либо ограничениями или условностями, связанными с их официальным положением. Впервые за эти годы существовавшей между ними переменчивой близости они стали наконец по-настоящему близки.

Ночь обвалилась на них звездной пропастью, перехватила дыхание режущей стужей и хрустко закрипела под ногами, сопровождая их путь к чешскому эшелону.

Где-то далеко впереди, из-за крыш станционных построек, призывно попыхивали огневые зарницы и перекатывался гул орудийной переклички. Тепло живой жизни затаилось под кровлями жилищ и вагонов, посвечивая оттуда тусклыми огоньками притемненных окошек, а над всем этим, угрожающе сдвигаясь, аспидно возносилось раскаленное от звезд небо.

(Мне кажется, что я и вправду вижу ее — эту маленькую

процессию на железнодорожных путях заштатной сибирской станции, с падающими летучими тенями на сверкающем снегу, и все во мне устремляется следом за нею, этой процессией, чтобы, преодолев барьеры времени, настичь ее и остановить: Куда вы!)

В коридоре вагона второго класса было не протолкнуться, но при появлении Адмирала и его спутницы солдатский гомон затих, раздвинулся вдоль окон, уступая им место для прохода, а затем молча, со смущенным любопытством, пропустил мимо себя в отведенное для них купе.

Щелчок замка задвинутой за ними двери отделил их от этого любопытства, и они наконец остались наедине, порывисто припав друг к другу:

— Вам холодно?

— Нет, нет, Александр Васильевич, совсем нет!

— Я виноват перед вами, Анна.

— Александр Васильевич, милый, полноте!

— Хорошо, Анна Васильевна, я больше не буду.

— Вот и славно, дорогой мой, вот и славно.

— Милая Анна, Аннушка, Аннет...

— Если бы всегда так...

— Еще не поздно, Анна, еще не поздно...

— О, если бы!

Потом он укладывал ее на диване, кутал ей ноги своей шубой, а после сидел над ней, уже спящей, глядя в плывущую за окном ночь.

Сидел и думал о том, зачем и откуда он появился на этой земле, где и как его жизнь кончится и что останется после него на ней? В чьей гремучей смеси славянской и восточной кровей пустило корни родословное дерево, одним из побегов которого сделался он, — нынешний адмирал и Верховный Правитель России в самую, может быть, страшную пору ее истории...

Ему не требовалось гадать о своем конце. Конец этот был совсем близок, и уже неотвратим. Гадать он мог лишь о том, где и как это произойдет. Но вот что останется после него на земле и останется ли вообще что-нибудь, это сейчас занимало и мучило его болсе всего.

Где-то там, в далеком Париже, затерялись два близких ему существа — жена и сын. С женой они расстались без объяснений, у нее оказалось достаточно ума, силы и великодушия, чтобы понять, что случившееся между ним и Анной не было мимолетным увлечением, и вовремя отойти в сторону, но

судьба сына продолжала терзать его до сих пор. Что будет с ним, кем он вырастет и каким запомнит отца?

В последние месяцы, оставаясь наедине с собой, Адмирал часто мечтал о том, чтобы после него остался хотя бы единственный свидетель, который когда-нибудь рассказал бы его сыну историю выпавшего ему крестного пути. С каким облегчением он принял бы тогда свой конец!..

Дверь распахнулась, будто вывалилась, обнажив прямоугольник тускло освещенного коридора, а в нем, как в портретной раме, приземистую фигуру чешского офицера:

— Наше командование, — тот старательно выговаривал явно заранее выученные наизусть слова, но на Адмирала не смотрел, скосил взгляд в сторону, в глубину купе, — передает Вас иркутским властям в целях Вашей собственной безопасности.

И хотя Адмирал ждал этого и давно приготовил себя к самому худшему, все в нем мгновенно оборвалось и зябкой волной схлынуло к ногам:

— Значит, союзники предают меня? — но усилием воли ему тут же удалось встряхнуться и взять себя в руки. — Пройдемте в коридор, даме необходимо привести себя в порядок...

При этом Адмирал смотрел мимо чеха, в окно за его плечом, где на чернильном фоне холодной ночи, словно вклеенная в верхний угол оконного стекла, неслась навстречу ему одинокая и торжествующая в своем одиночестве звезда.

Его звезда.

11

В ярко освещенной зимним солнцем комнате перед ним собралось четверо. Разглядывая их по одному, он не находил в них ничего такого, что отличало хотя бы одного из них от простых смертных единой чертой или повадкой. Встреть такого случайно на улице, пройдешь мимо, даже не заметив. Но вот теперь именно им — этим четверым — предстояло вести допрос и решать его судьбу.

Да и сам допрос менее всего походил на допрос. Это было скорее нечто среднее между праздным разговором и школьным экзаменом, где стороны заранее знают, о чем пойдет речь.

Он старательно пересказывал им свою биографию (будто они ее сами не знали!), политические взгляды (словно взгляды эти оставались для них секретом!), историю его деятельности на посту Верховного Правителя (деятельность эта была им известна лучше, чем ему самому!), а следователи благодушно попивали себе чаек (впрочем, подследственного тоже не обносили!) да посматривали на него с неослабевающим любопытством.

Собственно, из всех четверых и старался-то только один, некто Алексеевский, этакий въедливый господин с обликом испитого сельского учителя. Он явно дорвался до своего звездного часа и старался вовсю, но, особенно не поддержанный остальными, тоже вскоре заразился общей вялостью и сник, уступая очередной вопрос кому-либо из коллег.

Они словно бы играли с ним в какую-то еще непонятную ему игру. Постепенно у него стало складываться впечатление, что у них самих нет уверенности в своем праве вести такой допрос, что судьба его решается не ими и что все происходит по инерции, в ожидании некоего подлинного хозяина положения, который и должен будет решить участь арестованного.

Поэтому, машинально отвечая на вопросы, он стал теперь мысленно конструировать для себя прошлое каждого из следователей, и это отвлекало его от томительных мыслей о завтрашнем дне.

Кем бы мог, например, быть Председатель Попов в своей прошлой жизни? По внешнему облику, по манере двигаться и немногословности в нем чувствовался полуинтеллигентный мастеровой из кадровых подпольщиков, а вот в его заместителе со странной фамилией Денике проглядывался скорее тип хлопотливого, но не слишком удачливого земца с большими, хотя и едва ли осуществимыми амбициями.

Особенно Адмирала заинтересовал четвертый член комиссии — Лукьянчиков, более других походивший на судейского, но за все дни допроса так и не проронивший ни единого слова, даже поглядывавший на него временами с некоторым сочувствием.

«Что он, кто он, — терялся Адмирал в догадках. — На чиновника не похож, на «светлую личность» из обиженных тоже, слишком интеллигентен для этого, тогда кто же он все-таки?»

Его занятиям физиономистикой положило конец появление на очередном заседании быстрого в движениях, грачиного

облика человека в щегольской солдатской гимнастерке, перепоюсанной наборным кавказским ремешком. С этого дня Адмиралом занялись всерьез, хотя сам новоприбывший в разговоре участия не принимал, сидел себе, поигрывая своим ремешком, искоса поглядывая на подследственного.

Но в нескрываемом нетерпении, с каким тот выслушивал вопросы и ответы, в той почти неуловимой непоседливости, с которой он обсиживал свое место, и в самом этом его нервном поигрывании ремешком сквозила уверенная повадка человека, облеченного настоящей, а не одной лишь видимой властью. Машина допроса сразу же закрутилась, избегая длиннот и каких-либо околичностей. Речь теперь шла только о фактах и месте этих фактов в общей цепи доказательств.

К тому же Адмирал сразу отметил, что с появлением этого непоседливого грача часам его стали обносить, но всякий раз, когда стаканы проплывали мимо него, рука Лукьянчикова, будто невзначай, пододвигала ему свой. В таких случаях Адмирал благодарно кивал, но тот мгновенно отворачивался от него.

«Господи, — удивлялся он, — есть ведь и среди таких вот нормальные люди!» А про грача сразу подумал: «Мелок ты, брат, мелок, а в большую власть войдешь, еще мельче станешь!»

И чувствуя, что развязка скользяще устремилась к концу, стал с большей охотой возвращаться к себе в почти не топлениую камеру, чем сидеть в этой ярко освещенной январским солнцем и жаркой комнате за уже ничего не означавшими в его судьбе разговорами с чужими для него людьми. Там, в тюрьме, у него все еще оставалась возможность встречаться с Анной на прогулках и разговаривать, разговаривать, разговаривать с ней.

Когда перед очередным допросом его после завтрака вывели на прогулку (о, если бы ему знать тогда, что эта его прогулка с ней будет в их жизни последней!), он, взяв по обыкновению ее руки в свои, вдруг почти с детским восторгом просиял в лицо ей:

— А что, Анна Васильевна, неплохо мы с вами жили в Японии!

Это было последнее, что она услышала от него на земле.

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА:

21 января 1920 г.

Председатель: Вы присутствуете перед Следственной Комиссией в составе ее Председателя Попова, заместителя председателя В.П.Денике, членов комиссии: Г.Г.Лукьянчикова и Алексеевского для допроса по поводу Вашего задержания. Вы адмирал Колчак?

Адмирал: Да, я адмирал Колчак.

Председатель: Мы предупреждаем Вас, что Вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому Чрезвычайно-Следственной Комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов. Вам сколько лет?

Адмирал: Я родился в 1873 году, мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде на Обуховском заводе. Я женат формально законным браком, имсю одного сына в возрасте 9 лет.

Председатель: Вы являлись Верховным Правителем?

Адмирал: Я был Верховным Правителем в Омске Российского Правительства — его называли Всероссийским, но я лично этого термина не употреблял. Моя жена Софья Федоровна раньше была в Севастополе, а теперь находится во Франции. Переписку с ней я вел через посольство. При ней находится мой сын Ростислав.

Председатель: Здесь добровольно арестовалась г-жа Тимирева. Какое она имеет отношение к Вам?

Адмирал: Она моя давнишняя знакомая, она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам — больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она досхала сюда до того времени, когда я был задержан чехами. Когда я схал сюда, она захотела разделить участь со мною.

Председатель: Скажите, адмирал, она не является Вашей гражданской женой, мы не имеем права зафиксировать этого?

Адмирал: Нет.

Н. А. Алексеевский: Скажите нам фамилию Вашей жены.

Адмирал: Софья Федоровна Омирова. Я женился в 1904 году, здесь, в Иркутске, в марте месяце. Моя жена уроженка Каменец-Подольской губернии. Отец ее был судебным деятелем или членом Каменец-Подольского Суда, он умер давно, я его не видал и не знал. Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном институте, затем он был на уральском Златоустовском заводе, после того он был приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда он ушел в отставку, в чине генерал-майора, он оставался на этом заводе в качестве инженера или горного техника, там я родился. Мать моя Ольга Ильинична, урожденная Посхова. Отец ее происходит из дворян Херсонской губернии. Мать моя уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи. Оба мои родителя умерли. Состояния он не имел никакого. Мой отец был служащий офицер. После Севастопольской войны он был в плену у французов и при возвращении из плена — женился, а затем он служил в артиллерии ...в Горном институте. Все семья моего отца содержалась исключительно только на его заработки. Я православный, до времени поступления в школу я получил семейное воспитание под руководством отца и матери. У меня есть одна сестра Екатерина, была еще одна сестра Любовь, но она умерла в детстве. Сестра моя Екатерина замужем, фамилия ее Крыжановская. Она осталась в России, где она находится в настоящее время — я не знаю. Жила она в Петрограде, но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как я уехал из России.

Свое образование я начал в 6-й Петроградской Классической Гимназии, где я пробыл до 3-го класса, затем в 1888 (86?) году я поступил в Морской Корпус 12-ти лет и окончил свое воспитание в Морском Корпусе в 1894 году. В Морской Корпус я перевелся по собственному желанию и по желанию отца. Я был фельдфебелем, шел я все время первым или вторым в своем выпуске, меняясь со своим товарищем, с которым поступил в Корпус, из Корпуса вышел вторым и получил премию адмирала Рикорда. Мне тогда было 19 лет. В Корпусе был установлен целый ряд премий для 5 и 6 первых выходящих, и они получались по старшинству. По окончании Корпуса я начал свою службу. По выходе из Корпуса в 1894 году я поступил в Петроградский 7-й флотский экипаж, пробыл там я несколько месяцев до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу за границу

броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь во Владивостоке я ушел на клипер «Крейсер» в качестве вахтенного начальника в конце 1896 года. На нем я плывал в водах Тихого океана до 1898 года, когда этот клипер вернулся в Кронштадт. Это было первое мое большое плавание. В 1898 году я был произведен в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным начальником. Во время моего первого плавания главная задача была чисто страсвая, на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами, я готовился к Южно-Полярной экспедиции, но занимался этим в свободное время, писал списки, изучал южно-полярные страны, у меня была мечта найти Южно-Полярный Полус, но я так и не попал в плавание на Южном океане.

<...>

Председатель: Иначе говоря, мирились ли Вы с существованием монархии, являлись ли Вы сторонником ее сохранения, или Японская война и революция 1905-1906 гг. внесли изменения в Ваши политические взгляды?

Адмирал: Моя точка зрения была точкой зрения служащего офицера, который этими вопросами не занимался. Я считаю, что при нашей присяге моя обязанность заключается в несении службы так, как эта присяга этого требовала. Я относился к Монархии как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменениях строя; я был занят тем, чем занимался. Как военный, я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял, и этим исчерпывалось все мое отношение. И сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы.

Н. А. Алексеевский: Среди военных, как среди всего русского общества, условия и политические события, связанные с династией и, в частности, с семьей бывшего императора, события последних лет перед революцией повлияли в значительной степени на разрушение тех симпатий, которые существовали раньше. Военная среда в этом отношении не была чужда этой перемены. В частности появление Распутина, его роль, насколько мне известно, повлияли на изменение отношений к династии и, в частности, к императору Николаю среди военных. Я имею сведения, что в военно-морской среде

существовали такие же настроения. Так вот, захватывали ли Вас эти настроения и в какой степени?

Адмирал: Насколько мы получали эти сведения и, в частности, о распутинской истории, они глубоко возмущали ту среду и меня, и тех, которые об этом деле осведомлялись и получали какие-нибудь известия. Я, например, помню такой случай. В 1912 году, когда я плывал на «Уссурийце» — верно это или нет, — прошел слух, что Распутин собирается из Петрограда прибыть на место стоянки императорской яхты в шхеры и для этого будет дан миноносец. Я помню, со стороны офицеров было такое отношение: что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняют, но я такую фигуру у себя на миноносце не повезу. Это было общее мнение командиров. Но дело в том, что мы в это время плавали, получали такие известия, но на самом деле и [этого] не было, и никого из нас не звали, и никакого Распутина не возили. Эта история глубоко возмущала нас, но непосредственно с ней мы не соприкасались, никто толком не знал, была масса слухов и разговоров.

В. П. Денике: Мы как будто бы остановились на том, как сложились Ваши воззрения к концу 1906 года. Что же в дальнейшем за этот период времени с 1906 г. по 1917 г. ко времени революции происходили ли изменения Ваших политических воззрений и принимали ли Вы какое-нибудь прямое или косвенное участие в политической жизни страны?

Адмирал: Нет. Я не принимал участия, я в это время был занят чисто технической работой, у меня не было времени, я соприкасался с ними, поскольку бывали разговоры.

Н. А. Алексеевский: Здесь уместен один вопрос, который касается вот чего: Вы сначала нам скажите, имели ли Вы личные отношения с бывшим Императором и с выдающимися членами и деятелями династии и, в частности, имели ли Вы хоть одно свидание с Распутиным.

Председатель: Я прибавлю, не изменились ли эти отношения до самой революции 1917 года.

Адмирал: Я никакого участия в политической работе не принимал. Я скажу прежде всего о Государе. Нужно сказать, что до войны — меня выдвинула война — я был слишком маленьким офицером, слишком маленьким человеком, чтобы иметь соприкосновение вообще с какими-нибудь высшими кругами, и потому я непосредственных сношений с ними не мог иметь по существу. Я не имел ни связей, ни знакомств, ни возможностей бывать в этой среде, среде придворной, среде правительственной. Соприкасался я с отдельными высшими

правительственными лицами только тогда, когда я работал в Генеральном Штабе, когда я бывал в Думе, где мне приходилось встречаться с отдельными министрами, а кроме своего прямого начальства, я непосредственно не мог ни с кем сталкиваться. Государя я видел в Могилеве, в Ставке, перед этим я видел его, когда он приезжал на смотрины во флот. При дворе я никогда не бывал. В 1912 году я видел Государя и царскую фамилию, когда царская фамилия стояла на рейде «Штандарт» — в шхерах. Туда были вызваны отряды заградителей для постановки пробных заграждений и отряд миноносцев для конвоирования этих заградителей. Я тогда командовал «Пограничным». Туда прибыл Эссен. Мой миноносец состоял в распоряжении Эссена. Характер постановки мин был такой, что заградители шли из строя и сбрасывали мины, но для того, чтобы видеть характер этой постановки, мой миноносец назначен был идти рядом с ними. Вот на мой миноносец прибыли Государь, свита его и адмирал Эссен. Мой миноносец шел рядом с одним из заградителей, «Амуром», который ставил мины. Это был случай, когда Государь был у меня на миноносце, но так как я был командиром, стоял на миноносце и управлял им, то не мог с ним разговаривать. Затем после окончания постановки мин я пришел на «Штандарт».

Председатель: Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли Вы монархистом или нет?

Адмирал: Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь. Тогда вопроса: «Каковы у Вас политические [убеждения]», — никто не задавал. Я не могу сказать, что монархия — это единственная форма, которую я признаю, я считаю себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такого не существовало в природе. До революции 1917 года я считал себя монархистом. Итак, я был на завтраке на «Штандарте», затем я второй раз видел Императора в Ревеле, когда Государь прибыл на смотр, на крейсер «Россия». Я тогда стоял во фронте, он пришел, обошел фронт, поздоровался с командой и уехал. Никаких других по своему положению я не мог иметь связей. Императрицу я видел единственный раз, когда я был на «Штандарте» — во время завтрака. Из Великих Князей до 1917 года я встречался в Морской Академии с Кириллом Владимировичем, видел я также Великих Князей, когда были смотры.

Н. А. Алексеевский: С Распутиным Вы ни разу не видались?

Адмирал: Нет, ни разу не видал.

Н. А. Алексеевский : В числе вещей у Вас есть икона — золотой складень; там, как будто, есть надпись, что она Вам дана от Императрицы Александры Федоровны, от Распутина и какого-то епископа.

Адмирал : У меня есть благословение епископа Омского Сильвестра, которое я от него получил, это маленькая икона в голубом футляре. Эта икона принадлежит ему, он получил ее от каких-то почитателей с надписью, и так как у него другой не было, то он мне эту и подарил.

Н. А. Алексеевский : Мы бы хотели, чтоб Вы нам сказали, не касаясь всех событий, какие произошли после февральского переворота, изменились Ваши политические взгляды за это время и какими они представляются в настоящее время?

Председатель : Какова была Ваша общая политическая позиция во время революции?

Н. А. Алексеевский : Если угодно, мы зафиксируем в протоколе, что с высшими представителями прошлого режима личных отношений Вы не имели.

Председатель Чудновский : Мы бы хотели знать в самых общих чертах Ваши политические взгляды во время революции, о подробностях Вашего участия Вы нам расскажете на следующих допросах.

Адмирал : Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы, Протопопов и т.д., не в состоянии справиться с задачей ведения войны, и я вначале приветствовал самый факт выступления Государственной Думы как высшей правительственной власти. Лично у меня с Думой были связи, я знал много членов Гос. Думы, знал как честных политических деятелей, совершенно доверял им и приветствовал их выступление, так как я лично относился к существующей перед революцией власти отрицательно, считая, что из всего состава министров единственный человек, который работал, это был Морской Министр Григорович. Я приветствовал перемену правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не сомневался, которых знал и поэтому мог отнести только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения Государя, ясно было,

что уже монархия наша пала и возвращения назад не будет. Я об этом получил сообщение в Черном море, принял присягу вступившему тогда первому нашему Временному Правительству. Присягу эту я принял по совести, считая это правительство, как единственное правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, что я в конце концов [служу] не той или иной форме правительства, я служу родине своей, которую ставлю выше всего и считаю необходимым признать то правительство, которое объявило себя тогда во главе Российской власти. Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти. Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел, для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствую революцию, как возможность рассчитывать на то, что революция внесет энтузиазм — как это и было у меня в Черноморском флоте вначале — в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего, — и образа правления, и политических соображений. <...>

Из дневника Анны Васильевны:

«И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание, — и он говорит:

— Я думаю, за что плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас — я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром».

Оттуда же:

«Киев, июль 1969 г.

Сегодня я рано вышла из дома. Утро было жаркое, сквозь белые облака просвечивало солнце. Ночью был дождь, влажно, люди шли с базара с охапками белых лилий в руках. Вот точно такое было утро, когда я приехала в Нагасаки по дороге в Токио. Я ехала одна и до поезда пошла бродить по

городу. И все так же было: светло, сквозь облака просвечивало солнце, и навстречу шел продавец цветов с двумя корзинами на коромысле, полными таких же белых лилий. Незнакомая страна, неведомая жизнь, а все, что было, осталось за порогом, нет к нему возврата. И впереди только встреча и сердце полно до краев.

Не могу отделаться от этого впечатления.

Приблизительно с месяц тому назад мне позвонил по телефону М.И.Тихомиров — писатель, который пробовал писать роман об А.В.Колчаке, и, узнав, что я еще жива, приехал ко мне для разговора.

Роман он написал скверный, сборный — и, собственно, о генерале Лукаче. Эпизодически и об Александре Васильевиче, меня наградил княжескими титулами и отвел крайне сомнительную роль, ничего общего со мной не имеющую, и имел дерзость мне его прислать. Перелистав, я читать не стала. Но тут он сообщил мне, что в архиве сохранились не отправленные мне письма А.В., частично напечатанные в журнале «Вопросы истории», N 8 за 1968 г., что писатель Алдан-Семенов имел их в руках и может мне передать в перепечатке из журнала.

Я просила его передать Алдан-Семенову, чтобы он доставил мне их. Письма 1917-18 годов. Тот привез их мне.

И вот больше чем через 50 лет я держу их в руках. Они на машинке, обезличенные, читанные и перечитанные чужими, — единственная документация его отношения ко мне. Единственное, что сохранилось из всех его писем, которые он мне писал с тех пор, как уехал в Севастополь, — а А.В. в эти два года писал мне часто. Даже в этом виде я слышу в них знакомые мне интонации. Это очень трудно — столько лет, столько горя, все войны и бури прошли надо мной, и вдруг опять почувствовать себя молодой, так безоглядно любимой и любящей. На все готовой. Будто на всю мою теперешнюю жизнь я смотрю в бинокль с обратной стороны и вижу свою печальную старость. Какая была жизнь, какие чувства.

Что из того, что полвека прошло, никогда я не могу примириться с тем, что произошло потом. О Господи, и это пережить, и сердце на куски не разорвалось.

И ему и мне трудно было — и черной тучей стояло это ужасное время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь, ничем не заменимая, ничем не замененная. Раз-

ве я не понимаю, что даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого: не такой это был человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции в то время, как люди, шедшие за ним, гибли за это и поэтому.

Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску: «Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось — только бы нам не расставаться».

И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили.

И все. И луна в окне, и черная решетка на полу от луны в эту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверное, спали в Гефсиманском саду ученики. А наутро — тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в общую камеру. Я отозвала коменданта и спросила его:

— Скажите, он расстрелян? — И он не посмел сказать мне «нет»:

— Его увезли, даю Вам честное слово.

Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было узнать мне правду. Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего не понимал.

Полвека не могу принять —
Нельзя ничем помочь —
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
Но если я еще жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.»

Глава седьмая

ЕГОРЫЧЕВ

I

В этот раз Егорычев принял пост за полночь. Над станцией сквозь морозный туман мерцало, словно перемигиваясь, звездное небо, отчего тьма вокруг казалась еще гуще и непрогляднее. И лишь в отдалении, в пределах вокзала, маячил островок света, откуда разносилась по путям хмельная многоголосица:

праздничная гульба чешских легионеров, видно, была в самом разгаре.

«Вольготно живут, — с горечью откликнулось в нем, — чего им по чужие беды ходить!»

Вспомнились ему его дорожные встречи с ними по пути в Омск: степенный, обходительный народ, смотреть на них было любо-дорого. Чего это с ними стряслось, что они будто с цепи сорвались, слова никому из них не скажи, сразу в мат, чему хорошему, а этому быстро научились. Грабят, смертоубийством не брезгают, над бабами, девками нашими измываются, куда это годится?

Эти его раздумья прервал возникший невдалеке со стороны станции голос. Голос приближался к нему, проборматывая на ходу исковерканную сильным акцентом русскую матерщину. Затем под ноги к Егорычеву протянулась текущая тень и в темноте перед ним выявилась фигура человека, пересекающего пути по направлению к штабному вагону Адмирала.

— Придержи, браток, — добродушно осадил было идущего Егорычев, — не туда гребешь.

В ответ из ночной тьмы слышались те же ругательства, одно другого замысловатее.

— Стой, говорю! — обозлясь, крикнул Егорычев. — Стрелять буду! — И выстрелил вверх. — Стой!

Но тень продолжала надвигаться на него, а ругательства в темноте сделались еще заковыристее. Сердце Егорычева вдруг занялось таким остервенением, что руки его, помимо воли, выбросили винтовку вперед, а палец мгновенно нажал курок. В плотном от холода воздухе выстрел прозвучал, словно одиночный хлопок в ладоши. Тень перед Егорычевым подломилась и стаяла на снегу, свернувшись впереди в черный комок.

Из вагона на выстрел встревоженно выскочил в наспех накинутаой на плечи шинели Удальцов.

— Что у тебя?

— Да вот, — еле приходя в себя, кивнул в темному Егорычев, — свалил одного.

— Что случилось?

— Да что ж, Аркадий Никандрыч, слов не понимает, выстрел вверх дал, ругается, ну я и свалил, как по уставу положено, — чуя по необычной взволнованности Удальцова, что произошло что-то непоправимое, тихо сник. — Чего ж мне еще делать-то было, Аркадий Никандрыч?

— Ладно, — отодвинул его в сторону Удальцов, надевая на себя шинель, — иди к себе, сиди тихо, никуда не показывайся, пока не позову, быстро!

Запершись в купе конвойной дежурки, Егорычев вслушивался в чешский галдеж за стенкой вагона, перекрываемый зычным голосом Удальцова:

— Прошу перед штабом Верховного Правителя России митингов не устраивать! Здесь вам не совдеп!.. Если не разойдетесь, прикажу стрелять... Прошу немедленно разойтись!

Удальцов постучался к нему, когда за окном определился тусклый рассвет.

— Поднимайся, Филя, — раздалось из-за двери, — Верховный зовет, выложишь, как на духу...

Адмирал поднял на Егорычева квелье от бессонницы глаза, спросил вяло, словно отбывая урок:

— Рассказывай, как дело было?

У Егорычева язык к гортани присох: так близко да еще один на один видеть Адмирала ему еще не доводилось.

— Так что... Вашсство... Как по уставу сслужбы, — с трудом складывал он. — Приказано...

Видно, вникнув в состояние Егорычева, Адмирал усталым жестом остановил его, молча поднялся, неспешно вышел из-за стола, подступился к нему почти вплотную, оказавшись ему по плечо, и снизу вверх вскинул на него ожесточившиеся вдруг глаза:

— Молодец, Егорычев, благодарю за службу, чтоб незваные гости помнили: кто к нам с добром, к тому и мы всей душой, а кто со злобою, пусть на себя пеняет, — он, не глядя, снял со своего кителя Георгиевский крестик и старательно пристроил его на гимнастерке Егорычева. — И с первым офицерским чином тебя!

И чуть заметным кивком отпуская гостя, повернул обратно — к столу.

Но времена скоро наступили такие, что Егорычеву стало не до своего скороспелого офицерства. С каждым днем конвой Адмирала превращался в боевую часть, которую перебрасывали из прорыва в прорыв, откуда она выходила еще более поредевшей и потрепанной.

А с первыми холодами грянула катастрофа.

Из лагерных рассказов Филарета Егорычева:

«Правда, после той лихой атаки под Курганом все у нас пошло-поехало наперекосяк. Фронт посыпался кругом, только подол подставляй. В одном месте треснуло, в другом прохудилось, в третьем потекло да так уж и без передыху. Конвой из боев не выбирался, только что ж конвой один может, вроде подспорья, а против большой силы таким числом не выстоишь. Ко всему, народ по деревьям совсем задубел, смотрит зверем, от мобилизации в леса норовит, да и то сказать — наш брат тоже не сахар, гребут у мужиков что ни попадя, на руку тяжелые сделались, иные вовсе лютовали, хотя, бывало, и за чужие грехи на себя напраслину принимали. Помнится, отбили мы деревеньку как-то, а там за околицей нашего брата горой навалено. Думали, красные в злобе навалили, а на поверку вышло, что сами мужики допьяна напоили и хмельных потом косами посекали, до того им уже допекло тогда, так те зверовали. Только, как стали ихнюю обувь-одежу растаскивать да приспособливать по домашней нужде, документы в барахле обнаружили, а по документам тем они все красными оказались, с особым заданием, мужицкую злобу против нас распалать, вот ведь на какой обман шли, греха не боялись. Правда правдой, а поди Расскажи кому, не поверит, да и рассказывать некому, никто слушать не хотел, надоела мужикам эта канитель, одно долбили: замиряться пора. К зиме ближе совсем у нас худо сделалось, офицеры и те разбежаться стали, красные обложили наши фронты со всех сторон, один путь оставался — двигаться на Иркутск. С первым снегом и двинулись из Омска по железной дороге. Однако дальше Нижнеудинска не доехали, застряли на путях вместе с золотом, ни туда, ни сюда. Вот тут-то и зовет меня как-то к себе мой начальник: «Вот, — говорит, — Филя, какие дела: продали нас союзнички, ни за понюх продали, Адмирал решил никого не неволить, предлагает подчиненным выбираться на свой страх и риск, а мне советует пробиваться к Каппелю, так что решай: со мной пойдешь или свою дорогу выберешь?» А мне в ту пору и думать было нечего, такое с им вдвоем прошли, что меня от него только с мясом оторвать можно было. «Пол-России прошли, — говорю, — Аркадий Никандрч, глядишь, Бог пособит, и вторую пройдем вместе». Обнял он меня и прослезился даже: «Братом ты мне стал, — говорит, — а не подчиненным, судьба нас с тобой, Филя, навсегда побратала». Двинулись мы

с им той же ночью, а как к Каппелю попали, убей меня Бог, не помню, я уже тогда в тифу был, шел, как во сне, ни земли, ни ног под собой не чуял, уж потом узнал, что прямо в каппелевском штабе и свалился. Чем выжил, сам не знаю, однако молодой был, выдюжил».

3

За конной атакой, в которой участвовал адмиральский конвой, Егорычеву выпало следить издалека: его, как еще необстрелянного, определили в стрелковый заслон, что должен был, в случае неудачи кавалерийского удара, принять на себя натиск преследующих.

Он лежал заряжающим у пулемета, глядя, как конница, в две лавы, одна за другой, полукругом охватывала прибрежное село на взгорье, и дробь долетавшей оттуда пальбы отзывалась в нем исступленной мольбой: «Не попусти, не попусти, Господи, спаси душу раба твоего Аркадия!»

Облегченно вздохнулось ему только, когда ружейная пальба у сельской околицы впереди внезапно, словно захлебнувшись, смолкла и в оглохшей вслед за этим тишине взмыл над его головой пронзительный и протяжный звук походной трубы: отбой!

К селу рекой потянулись ожившие в предвкушении близкого отдыха стрелковые цепи и войсковые обозы, по дороге все более возбуждаясь и беспорядочно смешиваясь.

Егорычев оказался в селе одним из последних, застав здесь уже запущенный в действие круговорот армейского механизма: вокруг местной школы мельтешила штабная карусель, по улицам дымили походные кухни, а в церковной ограде, в неверной тени развесистых лип разворачивался походный лагерь.

На базарной площади, на самом солнцепеке, ему бросилась в глаза сбитая в почти безликую кучу группа пленных, сидевших прямо на земле, в окружении хмурого от жары и усталости конвоя.

Скорее в растерянности, чем из любопытства, Егорычев замер перед этим зрелищем и одновременно услышал у себя за спиной отрывистый, похожий на перепалку разговор, сразу же выделив в нем знакомый, с легкой хрипотцой голос Удальцова:

— Адмиральский конвой, Ваше высокопревосходительст-

во, не расстрельная команда, Верховный приказал мне поддержать фронт, но убивать пленных он мне не приказывал, увольте, Ваше высокопревосходительство, палачеству не обучен.

— Но, полковник, — упрямо гнул кто-то в ответ, — Верховный сам настаивал на расстреле коммунистов во всяком случае и без суда.

— Разве мы успели уже выяснить их убеждения, Ваше высокопревосходительство? Уверяю вас, что большинство из них такие же коммунисты, как мой Филарет, они и слова-то этого толком не произнесут, набрали их по мобилизации и погнали в огонь, вот и вся их партийность, нашими экзекуциями мы только озлобляем мужицкую массу.

— В таком случае, куда же их девать, полковник?

— А переодеть и в строй, за милую душу воевать пойдут, им ведь все равно с кем, лишь бы начальство было.

И словно туман расступился перед глазами Егорычева: в серой мешанине на земле он вдруг разглядел лица, много лиц, самых, казалось бы, разных, но при всей их непохожести друг на друга, сквозило в них что-то такое, отчего они — эти лица — поначалу сливались для него в одно, как бы присыпанное пеплом пятно, отмеченное лишь покорным безразличием к окружающему.

«Наша, мужицкая кость, — всматривался он в них, будто в зеркало, — какой с них спрос!»

(Множество раз впоследствии доведется Егорычеву сталкиваться вот так, лицом к лицу с этой безликой покорностью, но долго еще ему предстоит впереди быть клятым и битым, прежде чем он проникнется ее спасительным отупением: двум смертям не бывать, а одной не миновать!)

А тем временем в разговор за его спиной неожиданно вклинилась чья-то насмешливая скороговорка:

— Дозвольте мне, Ваше высокопревосходительство, — быстрый голос сзади даже пресекался от нетерпения, — я человек простой, меня тонким чувствам в академиях не обучали, зато жена моя с дочерью комиссарскую науку сполна прошли, потешилась над ними красная сволочь досыта, обе руки на себя наложили, у меня душа не дрогнет, пускай только господин полковник кружевным платочком прикроется, а то еще сблюет ненароком от сердечного благородства, — тяжелая рука властно отодвинула Егорычева в сторону. — Осади!

В замкнутый круг перед пленными решительно вступил приземистый, с бычьим загравком казачий офицер и, тя-

жело покачавшись на коротких ногах, отрывисто скомандовал:

— А ну, поднимайся! — И к конвойным: — Выводи за околицу! — Тут он круто развернулся, оказавшись почти лицом к лицу с Егорычевым, и хмельно подмигнул кому-то в толпе перед собой. — Вот так-то!

Но при этом широкоскулое лицо его оплывало такой презрительной ненавистью, что хмельная усмешка на нем выглядела вымученной гримасой.

Стоило Егорычеву только представить, что вот-вот этих, поднятых по пьяной команде, мужиков поведут на верную гибель за чужие вины и не свои грехи, как явь у него перед глазами занялась горячей дымкой от обиды за них и вызывающей несправедливости происходящего.

— Господин офицер, — поплыла под ним неподатливая земля, — не по закону это будет вот так-то...

Но прежде чем нагайка в руках казака взвилась над головой Егорычева, свет перед ним заслонила широкая спина начальника адмиральского конвоя:

— Это мой ординарец, господин подхорунжий, я за него ручаюсь, — он повернул к Егорычеву встревоженное лицо, крепко обхватил ординарца за плечи и принялся вминать, волоочь, заталкивать его в толпу, шепотно приговаривая ему на ухо: — Ты что, спятил, Филя, собственной головы не жалко?.. Ты же видишь, он не в себе, ему теперь и своя жизнь — полушка?

Уже в безопасном отдалении Егорычев, успокаиваясь под упрямой рукой командира, не смог все же побороть соблазна — обернулся, и снова душа его мгновенно взмыла и сжалась от обморочного удивления: пленные нестройным табором безвольно текли вдоль пропыленной улицы в знойное марево сельской околицы в сопровождении молчаливой охраны, и в этой их сонной безвольности явственно прочитывалась грозная завязь и предостережение.

«Не к добру это, — отложилось напоследок в Егорычеве, — ох, не к добру!»

4

Когда в заснеженной Иннокентьевской Егорычев после болезни встретил своего командира, душа в нем зашлась трепетной радостью, что жизнь человеческая чего-нибудь да стоит и что нет для людей непоправимой беды, если они вместе.

Много лет пройдет, прежде чем в скитаниях по гулаговским кругам выветрится из Егорычева эта восторженная уверенность, тому, впрочем, помогут во многом самые разные люди и нелюди.

ИКОНА СТАРОГО САПОЖНИКА

Мордовать Егорычева принялись уже в начале двадцатых, едва затихла гражданская. Поначалу ласково, с подходцем, больше мелочью, подробностями интересовались, как-никак, мол, при самом Адмирале служил, не припомнит, мол, чего зянятного? Но с годами стелили все жестче, а спать давали все реже. Как ни хоронился он месяцами по зимовкам, как ни прятался от людских глаз, из дома носа не высовывая, дотягивалась-таки до него хваткая чекистская пятерня, вытаскивала на свет Божий и ставила пред свои грозные очи: как попал к Адмиралу, по принуждению или по личной охоте, принимал ли участие в карательных заданиях, до какого дня в точности оставался в его конвое? Историю с пьяным чехом и тут раскопали, припомнили: на каком основании применил оружие? Ко времени коллективизации с ним совсем уже не церемонились, брали, когда хотели, и разговаривали, как хотели, а с началом колхозов взяли окончательно и навсегда. В ту пору у них с Дарьей целый выводок подрастал: трое мальцов и девка за старшую, в которых он души не чаял и жизни впереди не видал. Последнее расставание с ними Егорычев запомнил на всю свою последующую горькую долю. Часто потом на вагонках бесчисленных в его судьбе лагерных командировок грезилось ему это расставание: распластанная в беспомощности на полу избы Дарья и четыре пары ребячьих глаз над ней, застывших в испуганном недоумении: не искушай, Господи, кровь от тоски высохнет или руки на ближнего наложу! Трудно давался Егорычеву лагерный век, больно уж не по вине казалась ему его кара, а тягости заключения и того пуще. Чуть не с первого дня под замком взялся он писать жалобы и прошения во все концы, правды, милости добивался, выводил заскорузлой рукой кривые каракули на любой случайной бумажке, а когда у него самого не получалось, соседей-грамотсев просил, последней пайкой расплачивался. Думал, не звери же наверху сидят, какой уж такой его смертный грех, что довелось ему у Адмирала служить, вникнут, опамытуются, простят по молодости. Егорычев писал, но в ответ ему одни добавки шли: к первому пятернику десятку добавили, а к той еще столько же. Вот и весь

сказ, как говорят. Не сыскав правды в канцеляриях, стал задумываться он о Божьем Промысле, вспомнил вдруг молитвы полузабытые, притчи евангельские, любую вольную минутку Богу молился, спрашивал, за что, за какие грехи такое испытание ему и когда этой расплате срок придет? Но и этим не облегчился, не всякому, видно, дано от самого Господа Бога отчеты получать. Тогда застыл Егорычев сердцем, оглох душой и принялся жить изо дня в день со своей тоской один на один. По этому времени и свел его случай с лагерным сапожником Сутейкиным. Был Сутейкин человек нелюдимый, слов в разговорах не тратил, больше матком обходился да смешочком коротеньким в бороду. Должность у него была нехитрая, зато хлебная: сапожник в зоне всем нужен, зеку, само собой, а начальству тем паче, тоже ведь не босые ходят. Оттого Сутейкин держался уверенно, шапки ни перед кем не ломал, до себя допускал по редкому выбору, но Егорычева почему-то сразу отметил, смотрел по-доброму, латки на драной обуви его ставил без запросу и на совесть. Завернул как-то к нему в барачную кабинку Егорычев с очередной нуждой, а тот ему вдруг и скажи: «Гляжу я на тебя, браток, и без очков вижу — доходишь ты, на глазах доходишь, дух из тебя черной тоской смердит, не протянуть тебе долго, послушай меня, старого, смирись, совладай с памятью, забудь про все, не гляди под ноги, живи как живется, будто для того и родился. Ты думаешь, другим легче, возьми хоть меня, я ведь тоже третий срок тяну, а вины моей и на один-то слишком, хочешь расскажу? — Согласия, правда, ждать не стал, поплел дальше. — Сам я из Москвы родом, из Черкизова, место там такое имеется, все в нашем роду сапожники, ну и я по этой части пошел, будка у меня собственная была, кустарем числился, зарабатывал не то чтобы много, но на закуску с выпивкой хватало. Ну вот как-то по пьяному делу и сбрехни я в пивной, мол, Сталин — человек нашего сапожного роду. Вроде и не сказал я ничего против правды. Ведь отец-то евонный по-настоящему сапожником был, чего ж ему этого стесняться, а вышло на следствии, что я великого вождя оскорбил и на евонную светлую личность покусился. Что они со мной, эти следователи, выделявали, ни в сказке сказать, ни пером описать, кровью намыливался, мочой умывался и получил первые десять, как одну копеечку. И стал тоже вроде тебя по верхам челобитные слать, а от них мне, как и тебе, ничего, кроме добавок. Пробовал на твой манер и молитвами, не полегчало. Совсем до края дошел, но как-то заглянул ко мне один матерый зек, его, считай, чуть ли

не с самого семнадцатого по этапам поволокли, да и заплатил мне за работу вещицей одной, вроде иконки, которую он хранил при себе по всем дорогам от Соловков до Колымы. «На, — говорит, — ничего у меня дороже нет, спрячь у себя и держись за нее, как черт за грешную душу, не пропадешь». Сам этот зек скоро дуба дал, а я по свонной милости, как видишь, все еще жив-здоров, чего и тебе желаю, а потому и хочу показать тебе сейчас вещицу эту, глядишь, и ты придешь в чувство». Сказав это, отогнул Сутейкин висевший на стенке кабины засиженный мухами плакат «Родина-Мать зовет!» и обнажил пред гостем кусок закопченной фанеры, на которой чьей-то рукой выжжено было одно-единственное слово: «Насрать!»

Этим Егорычев и прожил всю остальную жизнь.

5

Но это было потом, а пока Егорычев смотрел на возникшего перед ним командира, и слабое сердце его обливалось слезами и кровью от не изведенной еще до сих пор преданности.

Глава восьмая

ОНА

1

После отъезда Адмирала в Тобольск в ней все словно бы окаменело. Не то что она обиделась, что не взял ее с собой, для нее это было не в новинку, просто всякий раз, когда она его долго не видела, ей становилось невмоготу: где он, что с ним, не забыл ли?

В такие дни она день и ночь пропадала в госпитале. Только здесь, среди обнаженной до предела человеческой боли, она оттаивала от изводящей ее тоски в сострадании и самоотдаче. Лазарет, размещенный в обширных корпусах бывшего сельскохозяйственного училища, круглые сутки стонал, бредил, взывал к сочувствию и помощи. Больными и ранеными были забиты, заполнены не только служебные помещения, кабинеты и коридоры, но и лестничные площадки. Смерд стоял такой, что даже настезь распахнутые окна и двери не облегчали

дыхания. Люди лежали вповалку, голова к голове, без разбора болезни или ранения. В обрез было не одних лишь лекарей, но даже бросового белья, которое удавалось менять не чаще, чем раз в месяц. Где здесь приходилось думать о чем-то, кроме тех ежечасных, ежеминутных, ежесекундных забот о самых насущных людских нуждах, которыми был заполнен ее маятный рабочий день. Они — эти нужды, тянулись к ней из каждого угла и закоулка в ожидании сострадания, слова или хотя бы взгляда. И она разрывалась на части, расточая по крохам свою душу, которой все равно не хватало на всех.

Стараясь не обойти никого вниманием, однажды по-матерински все-таки выделила для себя из многих других молоденького, лет восемнадцати, не более того, солдатика-сибирячка, смертельно раненного в живот, но все еще жившего надеждой на свое близкое выздоровление и встречу с родней.

Наверное, память о брате, сгоревшем когда-то у нее на глазах с той же лихорадочной уверенностью в скором выздоровлении, сыграла здесь не последнюю роль. Могла ли она забыть, как в тот его последний приезд летом пятнадцатого он, выгорая вовне испепелявшим его жаром, требовательно вымаливал у нее «святой лжи»:

— Если б ты знала, Аннушка, сестренка дорогая, как я рад, что, несмотря ни на что, выжил! Только теперь, пережив смерть, я понял, как мы не ценим того, что дает нам жизнь. Нам все мало, мы просим и просим у нее как можно больше, не хотим замечать, что и того, что дано нам ею, слишком много...

И она, глотая слезы, послушно поддакивала ему:

— Да, да, Сережа, это ты очень хорошо сказал, надо радоваться тому, что нам дано, а не строить воздушных замков, ведь даже без маленьких огорчений жизнь стала бы невыносимо пресной. Снег, вода, ветер, шум деревьев, огонек в окне — все может приносить радость, ведь из этого и складывается жизнь...

Теперь, в этой страждущей преисподней, ей казалось, что она только продолжает памятный для нее разговор с братом, когда, утешая своего умирающего подопечного, поддерживала в нем уже несбыточные надежды:

— У тебя, Коля, все впереди, тебе только отлежаться нужно, отоспаться как следует, подлечишься, голубчик, и домой, в деревню к себе, места у вас тут такие, что мертвого на ноги

поднимут, не воздух, а настоящее чудо, лучше всяких лекарств!

А тот тянулся к ней сияющими глазами, выглядевшими на его воспаленном лице чужими:

— Эх, Анна Васильевна, сестрица милосердная, у нас на Байкале об эту пору самый клев и такая благодать кругом, что, куда ни погляди, душа поет, как вернусь к своим, дня дома не высижу, ружьишко на плечо, сетя за спину и до самых снегов под крышу ни ногой...

Николай даже веки прикрывал в счастливом предвкушении своего близкого праздника, но темные глазницы его при этом мертвенно проваливались, а черные тени резче обозначались у него на заостренных скулах.

«А вдруг, — заражалась его надеждой она, — ведь бывают же в конце концов чудеса!»

С этим она снова и снова шла к доктору Мягкову — усталому, постоянно вполпьяна скептику с насмешливыми и в то же время затравленными, как у бездомной собаки, глазами:

— Голубушка, Анна Васильевна, — доктор лишь беспомощно разводил руками, — чудеса если и бывают, то не от рук человеческих, а я ведь только немощный эскулап, будь я даже о семи пядях во лбу и обладай самыми новейшими средствами, мне все равно не удалось бы его спасти... Простите, голубушка.

И усмехался в седеющую бороду снисходительно и печально.

По ночам ей грезились лица, множество лиц, виденных ею в жизни, и среди них чаще всего лицо брата Сергея, сливавшегося в ее сумеречном сознании с обликом умирающего Николая.

А тот истлевал, испепелялся, сгорал на глазах, почти в полной памяти, лишь изредка впадая в бредовую полуявь:

— Ты мне, Петёк, зубы не заговаривай, знаю я тебя, говорка... Да только мы таких говорков, знаешь как с бугорков... Ты на чужих девок не зарься, своих обхаживай, Настю мою не замай, — и вдруг запел тоненько и тихо. — «Эх, Настасья, эх, Настасья, открывай-ка ворота, открывай-ка ворота, принимай-ка молодца...»

Умирая, он счастливо сиял и как бы дымился выжигавшим его жаром, и, казалось, не он — душа его пела от чего-то такого, чему нет названия на человеческом языке и что дарится ей лишь на пороге жизни и смерти, а за какие добродетели, не нам знать.

Она не отходила от него до самого конца, а когда лицо его

стало у нее на глазах отвердевать в меловой бледности, не выдержала и, беззвучно изливаясь в слезном сострадании, приникла к его уже отвердевшим губам. Это было единственное, что ей оставалось доступно подарить ему на прощанье: пусть вот так он запомнит в ней свою далекую Настасью!

Потом она навзрыд, содрогаясь всем телом, плакала на плече Мягкова, а тот, стараясь не дышать на нее, гладил ее по голове, словно обиженную девочку, и монотонно приговаривал при этом:

— Ну, ну, голубушка, Анна Васильевна... Ну, ну... Полноте... То ли еще будет, то ли еще будет...

2

Вскоре после возвращения Адмирала началась распутица, а с нею и новые беды. Но — удивительно! — никогда еще она не видела его таким спокойным и уравновешенным. Он словно перестал замечать, что творится вокруг него, глядя на все с грустной снисходительностью. Она это почувствовала даже на себе: в тяжелые для себя часы он уже не искал в ней поддержки, а скорее наоборот, сострадал ей в ее непрерывных волнениях за него. В его отношении к ней проявлялось что-то отеческое, отчего их встречи сделались сдержанней, но душевней.

— Вот, дорогая Анна Васильевна, — сказал он ей при первой же встрече, — злые языки говорят, что во мне турецкая кровь бушует, а у меня сейчас такое чувство, что я совсем без крови остался, будто выжали ее из моих жил до последней капельки: уезжал, думал, как Антей, сил у родной земли призанять, но вышло — последнее потерял.

— Что-нибудь случилось, Саша? — она умоляюще приникла к нему. — Александр Васильевич, милый, не мучайте!

Он легонько прикоснулся губами к ее лбу и, положив ей руки на плечи, бережно, но настойчиво усадил в кресло:

— Ровным счетом ничего, дорогая Анна Васильевна, просто я понял наконец, что проиграл, проиграл окончательно, и не надо больше строить иллюзий. Но стоило мне осознать это, как я увидел окружающее совсем другими глазами. Говорят, когда тонущий теряет волю к сопротивлению, к нему приходит ровное, ничем не омраченное спокойствие, остаются только воспоминания и больше никаких чувств. То же самое испытываю теперь и я, страсти, которые бушуют сейчас вокруг меня, не

вызывают во мне ничего, кроме жалости и презрения, отныне я готов ко всему и поэтому абсолютно спокоен.

— Александр Васильевич, Саша, зачем же терять надежду?

— Моя надежда не в том, чтобы выжить, Аня.

— В чем же? — почти в отчаянии не выкрикнула — просто-на-ла она.

— В том, чтобы достойно умереть.

3

Когда доложили о приходе американского Генерального консула Гарриса, она было поднялась, чтобы оставить его наедине с гостем, но он снова и еще настойчивее усадил ее:

— Мне нечего от вас скрывать, Анна Васильевна, пусть объясняется в вашем присутствии, от него не убудет, да и вряд ли этот господин сообщит мне что-либо новое, обычная дипломатическая болтовня.

Гость — высокий, громоздкий, но тем не менее элегантный толстяк, явно смутился присутствием дамы, хотя тут же взял себя в руки и рассыпался в любезностях, после чего, без особого перехода, приступил к деловой части:

— Мне хотелось бы, Ваше высокопревосходительство, ознакомить вас с только что полученной мною телеграммой Государственного Департамента, смею думать, что это хорошая новость для нас всех. Это почти признание!

Гаррис протянул Адмиралу телеграмму таким барственно щедрым жестом, будто дарил ему полцарства, а вторую половину держал за пазухой для пущего сюрприза.

Но из прочитанного текста Адмирал не узнал ничего, кроме того, что твердые намерения правительства Соединенных Штатов Америки по отношению к нему не изменились, что намерения эти основаны на обменных нотах между ним и представителями союзников и что оно питает уверенность в содействии ему всех элементов России, преданных делу ее воссоздания на демократических началах.

«Слова, слова, слова, — усмехнулся про себя Адмирал, — но где же ваша сладость?»

А вслух сказал:

— Положение, господин Гаррис, таково, что я считаю необходимым говорить с вами без дипломатических околичностей. Откровенно говоря, я рад, что меня до сих пор не признали, таким образом мы избежали Версаля, не дали своей подписи

под договором, который оскорбителен для достоинства России и тяжок для ее жизненных интересов. Мы будем свободны, и, когда окрепнем, для нас этот договор окажется не обязательным.

Гость сразу же поскущел и вызывающе вскинул тяжелый подбородок:

— Неужели, Адмирал, после того, что случилось в вашей стране, вы все еще бредите имперскими амбициями? Зачем она вам, эта лоскутная империя, она только связывает вас по рукам и ногам, обрекая на бесплодное распространение и тем самым умножая ваших врагов?

Адмирал насмешливыми глазами уперся в гостя:

— Мне не хотелось бы преподавать вам уроков американской истории, дорогой господин Гаррис, вы ее и сами прекрасно знаете, но я с удовольствием задал бы вам несколько вопросов по этой части. Разумеется, вы самая демократическая страна в мире, но, может быть, не следовало бы забывать, какой ценой обошлась на ее территории эта самая демократия? Кому, к примеру, исторически принадлежит Калифорния? Или Техас? Куда делись целые племена и народности с большей части американских земель? Да едва ли стоит забывать и о чумных одеялах, с помощью которых ваши доблестные пионеры освобождали для себя лучшие земли от нежелательных аборигенов? И давно ли вы освободили черных от крепостного права? Помнится мне, что чуть попозже, чем мы в нашей варварской стране своих. Не смею более продолжать, боюсь, этот разговор может завести нас слишком далеко. Теперь о деле, господин Гаррис. Разумеется, мы сами заварили свою кашу, мы сами должны ее и расхлебывать, но уж коли наши союзники в нее вмешались, то они должны отдавать себе ясный отчет, что не делают нам этим одолжения, а защищают прежде всего себя, поскольку программа большевиков, насколько я знаю, не предполагает остановки на границах бывшей Российской Империи, а простирается в своих претензиях на весь мир. Рано или поздно вам самим придется сойтись с ними лицом к лицу, но тогда у вас уже не окажется такого безотказного союзника, как Россия, она сделается вашим кошмаром и навядением, вы забудете о процветании и вынуждены будете думать о том, чтобы только выжить, но, уверяю вас, что выжить вам в конце концов не удастся, потому что невозможно вечно жить в состоянии обороны, вам так или иначе придется капитулировать. Впрочем, эту военную аксиому вам может преподать любой лейтенант из Вест-Пойнта.

— Но мы делаем все, что можем! — заволновался, заколыхался всем своим грузным телом гость. — Разве мы мало сделали для вас?

— Даже если бы вы сделали в десять раз больше, это было бы каплей дистиллированной воды в море серной кислоты, заливающей сегодня Россию.

— Чего же вы хотите, Адмирал, прямого военного вмешательства?

— Не просто вмешательства — войны.

— Это невозможно, Ваше высокопревосходительство, никто в нашей стране не санкционирует нам этого безумия.

— Тогда, знаете, — Адмирал безнадежно развел руками, — могу вам на прощание, господин Гаррис, лишь процитировать Гамлета: «Из жалости к вам я вынужден говорить правду: несчастья ваши только начались, готовьтесь к еще большим».

Гаррис встал и молча откланялся, но в тяжелой его поступи по дороге к двери чувствовались недоумение и растерянность.

— Вот, — повернул он к ней, едва тот вышел, — даже лучшие из них не в состоянии понять, что же действительно происходит сегодня в России, чего нам ждать от худших, вроде генерала Жанена, я уже не говорю о нашем русском мужике, который просто устал и уже согласен на любую власть, лишь бы замирился. Мало кто хочет замечать, что человечество заразилось новым видом эпидемии, которая лишает его основной жизненной функции — чувства самосохранения, а это в сто раз страшнее чумы.

До сих пор он никогда не говорил с ней о делах или политике. Его внезапная откровенность не столько польстила ей, сколько испугала ее: видно, груз, который ему выпало нести на себе, становился ему не по силам, и он спешил поделиться им с нею, чтобы облегчить себя. Нет, она не боялась разделить с ним этот груз, ее пугало лишь то, что он теряет веру в себя и в свою звезду, а это было для нее страшнее всего.

— Неужели вы не видите выхода, Александр Васильевич, дорогой, — взмолилась она, — неужели поражение неизбежно?

— Смотря что считать поражением, Анна, победа моя — это вы, а большего мне и желать грешно.

И он благодарно принял к ее руке.

Из воспоминаний Г.К.Гинса:

«По всей Сибири разлились, как сплошное море, крестьянские восстания. Чем больше было усмирений, тем шире они

разливались по стране. Они подходили к самому Омску из Славногородского и Тарского уездов, с юго-востока и северо-запада, прерывая линию сообщений Семипалатинск — Барнаул, захватили большую часть Алтая, большие пространства Енисейской губернии. Даже местным усмирителям становилось, наконец, понятно, что карательными экспедициями этих восстаний не потушить, что нужно подойти к деревне иначе. Зародилась мысль о мирных переговорах с повстанцами, так как многие присоединялись к движению, совершенно не отдавая себе отчета, против кого они борются.

Приходили сведения о жестоких расправах в городах с представителями местной социалистической интеллигенции. Делавшие это помпадуры не понимали, что интеллигенция — мозг страны, что она выражает настроения широких кругов населения и заражает их своими настроениями, что всякая излишняя, а тем более произвольная жестокость вредна не только потому, что убивает без смысла, но и потому, что создает тысячи новых врагов.

Трудно было проверить все, что приходило с мест. Красильников, один из участников переворота 18 ноября, повесил на площади городского голову города Канска, и, как рассказывают, когда ему сообщили о жалобе на него Верховному Правителю, то он пьяным, заплетающимся языком ответил:

— «Я его посадил, я его и смещу».

Красильникова послали на фронт. Он повиновался. Он был всегда послушен власти, никогда не проявлял атаманской склонности ни захватывать власть, ни наживаться. Один из близких Красильникову людей, честный молодой офицер Ш., отрицал справедливость обвинений, возводившихся против Красильникова, а прокуратура молчала. Несомненно, Красильников был хорошим офицером, но отвратительным, невежественным администратором.

Дыма без огня не бывает. Красильников успел, вероятно, натворить много зла. Страшные сибирские расстояния и разобщенность власти с обществом затрудняли правильную информацию. Отсутствие представительного органа, в котором могли бы представляться запросы и вопросы, более чем когда-либо давало себя чувствовать...

Но что же происходило на фронте? Бои проходили с небывалым ожесточением. Обе стороны дрались со страшным упорством. Наше командование бросило на фронт все резер-

вы, Пошли крестonosцы, морской батальон, состоявший из квалифицированных техников, часть конвоя Верховного Правительства. Смерть безжалостно косила ряды бойцов.

Погода установилась отвратительная. Обмундирование, которое было выслано на фронт, каталось по рельсам, так как непрерывное отступление не давало возможности развернуться. Солдаты мерзли в окопах.

Беспрерывные мобилизации дали несколько десятков тысяч новых солдат, но этим солдатам нельзя было доверять. Не было гарантий, что они не перейдут к красным, не потому, что они сочувствовали им, а потому, что больше верили в их силу, чем в силу Адмирала. Кто наступал, тот вел за собой солдат.

Ряды первой армии так поредели, что, когда красные повели наступление на армию ген. Пепеляева, ему некого было выслать; он бросился в бой сам, вместе со штабом, и отбросил противника.

Генерал Дитерихс объехал всех командующих армиями: Сахарова, Лохвицкого и Пепеляева. По соглашению с ними он решил отступить, не останавливаясь перед сдачей Омска.

Омск начал разгружаться. Дитерихс наметил новую линию фронта и начал отводить армии. Первой уходила сибирская армия, как наиболее поредевшая.

К омскому вокзалу потянулись длинной вереницей возы».

5

Прощание с Омском было тягостным. Ночной город провожал их настороженной тишью, готовый в любую минуту взорваться криком или пальбой. Станцию обогнули стороной, чтобы своим появлением не вызвать цепной паники. На путях товарной-сортировочной их уже ожидала толпа штабников. Толпа молча расступилась, освободив для них узкий проход, и молча потекла следом за ними вдоль приготовленного к отправке поезда.

— Оперативный отдел здесь, господа, — шелестел в ночной тиши полусшепот Удальцова, — интендантство сюда пожалуйста... Конвой в следующем вагоне... Ваше высокопревосходительство, вам в следующем...

Но не успела за ними захлопнуться дверь вагона-салона, как снаружи проникла невнятная многоголосица, перешедшая тут же в короткую перепалку уже прямо за стенкой — в

тамбуре, после чего в салон следом за взволнованным Удальцовым ввалился генерал Пепеляев, или, как его еще называли в войсках, Пепеляев-младший.

— Ваше высокопревосходительство, прошу извинить, но дело мое не терпит отлагательств, — в шинели нараспашку, из-под которой выпукло выпирал его туго обтянутый с офицерским Георгием на груди торс, он производил впечатление необузданной силы и напористости. — Медлить сейчас смерти подобно, правительство давно потеряло доверие населения и общественности, необходимы срочные реформы, но со стариками каши не сварить, пришла пора менять упряжку, иначе все погибло, фронт разлагается на глазах, солдаты не желают защищать то, что уже давно сгнило. Ваше высокопревосходительство, от вашего решения зависит теперь не только наша судьба, но и судьба России!

Гость явно не чувствовал себя здесь подчиненным: он не просил, он требовал, но Адмирал тем не менее оставался невозмутимо ровен:

— Что же вы предлагаете, генерал?

— Правительство общественного доверия, — выпалил тот, заметно настраиваясь на победительный лад. — Другого выхода нет.

Адмирал, расслабляясь, откинулся на спинку кресла:

— И не надосло вам, Анатолий Николаевич, вместе с вашими приятелями жевать эту кадетскую жвачку, без малого ведь пятнадцать лет пережевываете, неужели Февраль вас так ничему и не научил?

Пепеляева передернуло от едва сдерживаемого негодования, но, видно, зная характер Адмирала, он не рискнул искушать судьбу, сбавил тон:

— Ваше высокопревосходительство, не о себе пекусь, об общей пользе, надо действовать пока не поздно, силы реакции толкают нас к пропасти, необходимо освободиться от них. Прогрессивные элементы общества готовы взять на себя ответственность за судьбу страны.

— Полноте, Анатолий Николаевич, — поморщился Адмирал, — что за слова: «реакция», «прогрессивные элементы»! Оставьте это для митингов, можно же хотя бы в такой обстановке не употреблять этот птичий язык и говорить по-человечески! — Он закрыл глаза и выговорил, словно продиктовал: — Передайте Виктору Николаевичу, пусть действует по своему усмотрению, я подпишу. И желаю вам и ему всех благ.

Подхваченный неожиданной удачей, Пепеляев молоде-

вато шелкнул каблуками и, круто развернувшись, выкатился из салона.

(Эх, Пепеляев, Пепеляев, играя свои эсеровские игры, ты, в конце концов, переиграешь только самого себя и через год, брошенный и забытый всеми, займешься частным извозом, чем тебе и следовало бы заняться с самого начала, а не Россию спасать!)

— Вот, — кивнул ему вслед Адмирал, — еще один благодетель отечества, одной ногой на том свете, а в голове солнце Аустерлица и колокольный звон над белокаменной. — Молящий взгляд его взмыл к потолку. — Дети, злые, испорченные, несчастные дети! Если бы они знали, что их ждет впереди, то вместо того, чтобы играть в министров и главнокомандующих, молились бы за упокой собственной души. Спаси их грешные души, Господи!

И, как бы откликаясь на его мольбу, снаружи раздался приглушенный снежной сыростью паровозный гудок, и состав дрогнул, тронулся с места и потянулся в ночь, навстречу неизбежности.

6

В Новониколаевске их ожидала нелепая весть: на Дальнем Востоке против Адмирала выступил Гайда. Отставленный после горячей размолвки с Верховным еще в июле от должности, но с сохранением чина и содержания, тот был отправлен на восток, с условием покинуть пределы России. Да, видно, не выдержала фельдшерская душа честолюбивого искушения, сдалась перед заманчивой перспективой облагодетельствовать русский народ, не погнушавшись клятвопреступлением.

Услышав об этом, Адмирал лишь укоризненно покачал головой:

— Ох, Гайда, Гайда, забубенная твоя голова, не сносить ее тебе долго, не по росту тебе эта страна, всосет она тебя, как пылинку, всего, без остатка, а если и унесешь ноги, то на всю жизнь горбатым останешься.

(И как в воду глядел: не пройдет и семи лет, как исчезнет, забудется всеми этот горе-войка в одной из чешских тюрем, осужденный за сотрудничество с советской разведкой! Вот такие пироги, как выражаются в наше время!)

Ей оставалось только диву даваться: Адмирал и сейчас, после того, что случилось, продолжал сочувствовать ему, это-

му чешскому проходимцу. Она же прониклась к Гаюде неприязню с первого взгляда, едва увидав его однажды на улице, гарцующего в окружении конвоя, разряженного в форму придуманного им самим покроя и расцветки: вытянутое книзу лошадиное лицо с тяжелым подбородком, бесцветные, навывкате глаза, с наглой незрячестью глядевшие перед собой, и тоже, в тон конвою, — весь в регалиях и позументах.

«Боже мой, — помнится, мелькнуло у нее тогда, — и они еще называют себя европейцами, им бы еще кость в нос и серьгу в ухо, какие дикари!»

Но, следуя раз и навсегда принятому для себя правилу, мнения своего высказать Адмиралу не спешила, тем более, что Гаюду поначалу прямо-таки преследовал успех. Пермь, Уфа, Казань — в каждой из этих операций его участие оказалось решающим. Поэтому она старалась относить свою неприязнь к нему за счет поспешного впечатления. Но женское чутье все же не подвело ее: после первых же неудач между ним и Адмиралом начались трения, в которых одна из сторон (Гаюда!) нападала, а другая (Адмирал!) защищалась. В итоге это кончилось июльским разрывом, после чего опальный генерал с видом оскорбленной добродетели отбыл спецпоездом во Владивосток, но дальше не поехал, а застрял там на станционных путях, где, оказываясь, не сидел сложа руки все эти месяцы.

— Александр Васильевич, дорогой, а чего же иного вы ждали от этого чешского выскочки? — она твердо выдержала его вопрошающее удивление. — Наглый, невоспитанный фанфарон, типичный искатель счастья и чинов да еще с претензиями на всероссийскую власть. Удивительно, как вы, с вашим умом и чуткостью, не разглядели в нем его хвастливого ничтожества?

Тот вглядывался в нее все с тем же вопрошающим удивлением, как бы впервые узнавая ее:

— А ведь вы, Анна Васильевна, могли бы во многом помочь мне, почему вы никогда не заговаривали со мной о моих делах, о людях, которые меня окружают, о вашем отношении к происходящему наконец?

— Я не хотела огорчать вас, Александр Васильевич, у вас и без того было слишком много советников.

— Жаль.

— Отчего?

— Может быть, мне удалось бы избежать многих промахов и ошибок, иногда, к сожалению, роковых.

— Женщины — плохие советницы, Александр Васильевич, в свои оценки они вносят чересчур много личного.

— Но у вас, Анна, я заметил, есть удивительное чутье на людей, помните, как вы как-то говорили мне о Каппеле?

— Владимир Оскарыч так открыт, что с первого взгляда ясно, каков этот человек.

— Вы и теперь так думаете?

— Разумеется.

— Что ж, быть по сему, мой друг, я сегодня же назначу его Главнокомандующим, — острый подбородок его упрямо отвердел. — Я знаю, что спасти положение не сможет теперь даже он, но, наверное, никто не в силах завершить наше дело достойнее его.

— Кто знает, Александр Васильевич, кто знает.

Адмирал позвонил и поспешно отнесся к возникшему на пороге Удальцову:

— Попросите, полковник, генерала Зенкевича заготовить приказ о назначении Владимира Оскарыча Каппеля Главнокомандующим. И вот еще, — задержал он того нетерпеливым жестом, — попробуйте-ка связать меня с Жаненом.

После ухода Удальцова они молча сидели друг против друга, вслушиваясь в тишину вокруг себя. Снежная каша стекала по стеклам ослепших окон, и, казалось, что вагон, словно огромная рыба, бесшумно плывет в ней — в этой каше в неведомую никому даль.

«Как странно, — думала она, невольно укачиваясь в своем ощущении, — будто и в самом деле плывем!»

Из расслабляющего оцепенения их вывело лишь появление в дверях начальника конвоя:

— Ваше высокопревосходительство, — Удальцов обескураженно мялся на пороге, — генерал Жанен молчит.

— Хорошо, полковник, идите, — и повернулся к ней, усмехнувшись одними глазами. — А вы говорите — Гайда. Бедняге Гайде и в голову не приходит, что он лишь пешка в большой игре, которую ведут за него другие. Но у него есть хотя бы одно достоинство: он искренен в своих наивных амбициях, настоящая опасность не в нем, Анна.

— В ком же, Александр Васильевич, в таких, как Жанен?

— Отчасти. Эти преследуют свои национальные интересы, а потому тоже дальше собственного носа не видят. Существует сила, в руках которой и они пешки.

— Тогда кто же?

— В последнее время я много читал, дорогая Анна Васильевна, читал, сравнивал прочитанное с тем, что происходит вокруг, и пришел к выводу, что все мы — и те, и другие оказались пешками в чужой игре, где нам отведено место пушечного мяса для достижения цели, далекой от каких-либо человеческих интересов, как дурных, так и праведных.

— Во имя чего же, Александр Васильевич?

— Во имя власти.

— Чьей же?

Он встал, подошел к ней, притянул ее голову к себе, и она облегченно затихла у него под рукой:

— Я не хочу, чтобы ты знала об этом, Анна, тебе еще жить и жить, а с этим тебе не продержаться!

Телеграмма полковника Сыроболярского генералу Жанену:

«Как идейный русский офицер, имеющий высшие боевые награды и многократные ранения и лично известный Вам по минувшей войне, позволяю себе обратиться к Вам, чтобы высказать о том леденящем русские сердца ужасе, которым полны мы, русские люди, свидетели небывалого и величайшего предательства славянского нашего дела теми бывшими нашими братьями, которые жертвами многих тысяч лучших наших патриотов были вырваны из рабства в кровавых боях на полях Галиции. Я лично был ранен перед окопами одного славянского полка австрийской армии, находящегося ныне в Сибири, при его освобождении от рабства.

Казалось, год назад мы получили заслуженно-справедливо братскую помощь, когда, спасая только свои жизни, бывшие наши братья-чехи свергли большевистские цепи, заковавшие весь русский народ, ввергнутый в безысходную смертельную могилу. Когда стихийной волной по Сибири и всему миру пронесся восторг и поклонение перед чешскими соколами и избавителями! Одним порывом, короткой победной борьбой, чехи превратились в сказочных богатырей, в рыцарей без страха и упрека. Подвиги обессмертили их. Русский народ на долгие поколения готовился считать их своими спасителями и освободителями.

Назначение Ваше на пост главнокомандующего всеми славянскими войсками в Сибири было принято всюду с глубоким удовлетворением. Но вот с Вашего приезда чешские войска начали отводиться с фронта в тыл, как сообщали, для отдыха от переутомления. Русские патриоты, офицеры,

добровольцы и солдаты, более трех лет бороздившие с Германией за общие с Вашей Родиной идеалы, своей грудью прикрывали уходивших чехов.

Грустно было провожать их уходившие на восток эшелоны, перегруженные не только боевым имуществом, но более всего так называемой военной добычей. Везлась мебель, экипажи-коляски, громадные моторные лодки, катера, медь, железо, станки и другие ценности и достояние русского народа. Все же верилось, что после отдыха вновь чешские соколы прилетят к братьям-русским, сражавшимся за Уральским хребтом. Но прошел почти год, и мы вновь свидетели небывалого в истории человечества предательства, когда славяне-чехи предали тех братьев, которые, доверившись им, взяли оружие и пошли защищать идею славянства и самих их от большевиков. И вот, когда они, спокойно оставив в тылу у себя братьев, оторвавшись на тысячи непроходимых верст, приняли на себя все непосильные удары и, истомленные и обессиленные, начали отходить — поднялись ножи каинов славянства, смертельно ударивших в спину своим братьям.

Я не знаю, как и кем принимались телеграммы от русских вождей-патриотов, полные отчаяния, со смертельным криком о пощаде безвинных русских бойцов, погибших с оружием в руках, защищая не пропускаемые чехами эшелоны с ранеными и больными, с семьями без крова и пищи, с женщинами и детьми, замерзающими тысячами. Я прочел телеграмму генерала Сырового, которая еще более убедила нас всех в продуманности и сознательности проведения чехами плана умерщвления нашего дела возрождения России.

Кроме брани и явного сведения личных счетов с неудобным чешскому командованию русским правительством и жалкой попытки опровергнуть предъявленные к ним обвинения в усугублении происходящих бедствий русской армии и русского народа — в ней не было ничего соответствующего истине. А что думает Сыровой о брошенных и подставленных под удары большевиков братьях-поляках, сербах, румынах, кровавыми жертвами устилающих свой путь?

Ваше превосходительство! Ваш преждевременно поспешный отъезд в тыл возглавляемых Вами частей лишил Вас возможности быть непосредственным свидетелем и беспристрастным судьей всех ужасных преступлений, производимых Вашими подчиненными. Сведения, поступающие к Вам из источников явно тенденциозного свойства, не могли

дать истинной картины всего происходящего. Лучший судья человечества — время — даст будущей истории фактические данные о роли возглавляемых Вами чехов в переживаемые тяжкие дни России.

Вы, главнокомандующий славянских частей, со дня своего приезда, не зная обстановки, осуждали атамана Семенова за его недоразумения с Верховной властью, а теперь со всей Вашей армией готовы видеть в нем врага за то, что он остался верен той власти, в подчинении которой Вы ранее его лично убеждали и от которой Вы так быстро отвернулись, оставив ее без помощи и поддержки. То, что происходит сейчас в Сибири, несравнимо с предательством Одессы, похоронившей в себе все, что было лучшего, честного и идейного в ней.

Неужели же и здесь, в Сибири, существует неумолимое решение не дать даже одиночным бойцам, которых Вы снабжали оружием, одеждой и тем самым поддерживали в борьбе с большевиками, выйти из той искусственно созданной Вами обстановки, где они неминуемо должны погибнуть? Об издевательствах и оскорблениях, нанесенных чехами главе и представителю русской армии, нашему Адмиралу, говорить не приходится, так как неожиданная перемена в поддержке неформально признанной Вами Всероссийской власти вызывает сомнения в чистосердечности прежних отношений. Полковник Сыробоярский. 14 января 1920 года. Ст. Черемхово».

* * *

С тех пор прошло пятьдесят лет, но память, равнодушно пропустив мимо себя все последующее, сохранила в ней только то, чем она жила долгие эти годы. И теперь, в наползающих со двора сумерках, перед ее глазами, словно сквозь проявляемый негатив, вырисовывались мельчайшие подробности ее последних дней рядом с ним.

8

Из записок Гришиной-Алмазовой:

«Раз в неделю допускались передачи для заключенных с воли. Этими передачами только и можно было спастись от голода, потому что тюремная пища была невыносима. Едва только на лестнице появлялся тюремный суп, весь корпус наполнялся зловонием, от которого делались спазмы. К сча-

стью, я получала передачи, которыми делилась с Тимиревой и Адмиралом. Впоследствии они также стали получать передачи от своих друзей. Разносили пищу и убирали камеру уголовные, которые относились довольно радушно к новым арестантам, хотя и были довольны переворотом, сулившим им близкое освобождение.

Они охотно передавали письма, исполняли просьбы и поручения политических заключенных. Политические отвечали таким же дружелюбием. Один из уголовных был застигнут на месте преступления, когда брился безопасной бритвой, данной ему Адмиралом. В ответ на негодование начальства он простодушно заявил: «Так ведь она безопасная», и добавил: «Это — наша с Александром Васильевичем». Надзиратели держались корректно. Служа издавна, они столько раз видели, как заключенные становились правителями, а правители — заключенными, что старались ладить с арестантами. Поэтому власти не доверяли надзирателям, в тюрьму был введен красноармейский караул. Часовые стояли у камер Адмирала, Пепеляева и в третьем этаже. Они не должны были допускать разговоров с заключенными и передачу писем. Но кто не знает русского солдата, который может быть до исступления свиреп, но и до слез добр! Очень скоро с караулом завязалась дружба.

Тимирева и я свободно выходили в коридор, передавали письма, разговаривали с заключенными. Не вовремя явившееся начальство могло бы увидеть красноармейца, откупоривавшего банку с ананасом, переданную нам с воли.

Но это благодущие длилось недолго. Скоро наступили безумные, кошмарные, смертные дни. Появились слухи о приближении капелевцев. Сначала этому не придавали значения, но скоро власти были охвачены тревогой. Тюрьму объявили на осадном положении.

Было дано распоряжение подготовиться к вывозу заключенных из Иркутска. С 4 февраля егерский батальон, несший караульную службу, был заменен красноармейцами из рабочих. Почти все уголовные были убраны из коридоров, по которым хищно бродили красноармейцы, врывавшиеся в камеры, перерывавшие вещи и отнимавшие все, что им попадалось под руку. Открыто делались приготовления к уничтожению заключенных в случае захвата города. Тревога и ужас царили в тюрьме».

За промерзшим насквозь окном, будто далекая лавина обвалилась, ухнул пушечный выстрел и сразу же следом за ним коротко просыпалось ружейное эхо. Сердце у нее вдруг жарко набухло и, мгновенно холодея, опало в смертельной тоске: спаси и сохрани, Господи!

За те немногие недели, что довелось ей провести в тюрьме, она уже свыклась с мыслью о скорой смерти. Адмирала они едва ли оставят в живых, а без него она не мыслила себе своего существования. Если ее сочтут недостойной умереть вместе с ним, у нее найдутся силы самой совершить суд над собой. Но всякий раз, когда, как ей чудилось, несминуемое уже случилось, душа ее опаленно взмывала, чтоб тут же свернуться в ней клубочком ледяного ужаса: пронеси, пронеси, пронеси!

Ее соседка по камере, жена осевшего где-то на юге генерала Гришина-Алмазова — Ольга, излучая на нее маслянистую желтизну своих татарского разреза глаз, добродушно подтрунивала:

— Ради Бога, Анна Васильевна, не изводите вы себя так, нельзя же каждый день умирать заново, рано или поздно это случится с каждым из нас, зачем же опережать судьбу?

На допрос ее вызывали всего один раз. Перед ней сидел черноволосый человек с резким лицом, по-птичьи прямо поставленной головой, в солдатской гимнастерке, плотно облегающей его сухос, но уверенное тело.

— Вы настаиваете, гражданка Тимирева, — штопорно ввинтился он в нее колючим взглядом, — что являетесь гражданской женой бывшего Адмирала, не так ли?

— Разве это новость для вас?

В тонких губах у того прорезалась едва заметная трещинка злорадной усмешки:

— На допросе он отказался подтвердить это, — и поверх ее головы, к часовому: — Уведите.

(Прежде чем злорадствовать, знать бы тогда Председателю Иркутской чрезвычайки Чудновскому, что не так уж далек тот день, когда не только жена, но и родные дети предадут его, но, в отличие от Адмирала, не ради спасения близкого им человека, а ради самих себя, хотя все равно не купят себе этим спасения!)

В камеру она вернулась раздавленной и опустошенной.

«За что, за что, — рыбой, выброшенной на песок, билось в ней вопросительное отчаяние, — почему он это

сделал, неужели я не нужна ему даже для того, чтобы умереть рядом?»

Сбивчивый ее рассказ не произвел на соседку ровно никакого впечатления.

— А чего же вы ждали от него, голубушка Анна Васильевна? — С ленивой снисходительностью осадила ее та. — Александр Васильевич — русский офицер, дворянин, не думали же вы, в самом деле, что он потянет вас за собой на виселицу?

Но ей все еще трудно было прийти в себя:

— Это я понять могу, Оля, а если просто не любит? — голос ее удушливо пресекался. — Или не любил никогда? Знаете, Оля, ведь Александр Васильевич очень влюбчив. Помнится, он рассказывал мне, как его поразила одна женщина во Владивостоке. Он встретил ее случайно, мельком в гостинице, а рассказывал о ней, будто о близкой знакомой, с мельчайшими подробностями.

Гришина неожиданно вспыхнула и зашлась в громком и безудержном хохоте:

— Анна Васильевна, миленькая, вот уж чего не ожидала, так ведь это я и была, как сейчас помню, выхожу из номера, а навстречу мне моряк, да какой моряк, с ума сойти, я с самого первого взгляда по уши влюбилась... Потом, когда в одном поезде с вами в Омск ехала, на каждой станции слушать его ходила, горела вся, будто влюбленная гимназистка... Знать бы мне тогда, родненькая, что и он равнодушен не остался, отбила бы я его у вас, за милую душу отбила бы!

И затормошила, закружила ее по камере в шутовском вальсе, самозабвенно убаюкивая партнершу в его плавном ритме. В безвольном этом кружении Анна Васильевна незаметно для себя успокаивалась, возвращалась в тот привычный ей мир, где вновь обретала веру в себя и в свой завтрашний день. Их день.

Но на утренней прогулке, впервые за все их пребывание здесь, Адмирала не оказалось. И зимнее небо мгновенно качнулось над ней и сплющилось у нее в глазах в каменный монолит, навалившийся ей на плечи всей тяжестью своего вечного холода: нет, нет, нет, только не это!

Она сразу же перестала ощущать время и пространство вокруг и, лишь возвращаясь в камеру, омертвевшим сознанием выделила из коридорной пустоты морщинистое, в прокуренных усах лицо разводящего, который всегда казался ей несколько если не добрее, то покладистее других:

— Скажите мне правду, — чуть слышно сложила она, задерживаясь около него, — где он, его казнили?

Тот опустил перед ней глаза и в тон ей обронил себе под ноги:

— Его увезли, гражданка.

— Куда?

— Не могу знать...

В камере она приникла спиной к запертой за нею двери и стояла так, глядя в зарешеченное окошко перед собой: без дум, без надежд, без желаний.

С подоконника на пол капала стекавшая с оттаявших стекол вода, и ей виделось, будто окружающий мир вместе с нею вытягивается в одну протяжную каплю, готовую в любую минуту сорваться вместе с нею в еще неведомую, но бесконечную бездну.

Прощай!

10

Так и прошла, пролетела, пронеслась ее жизнь, не оставив после себя ничего, кроме воспоминаний, в которых она безвольно неслась к своему уже близкому концу, упиваясь ими, словно наркотической дурью.

То грезилась ей вечерняя набережная в Гельсингфорсе, а там, за этой набережной, зовущие огоньки стоящих на рейде кораблей и его голос, протянувшийся к ней сюда, на московскую окраину, из минувшей Земли и из-под ушедшего Неба:

— Анна Васильевна, Аня, Аннушка, жизнь моя!

То снилась аспидная ночь с полынной звездой в самой своей середине, где под эхо отдаленной канонады затерялись в морозном тумане хлопушки ружейного залпа, проводившего в последний путь ее мятежного Адмирала. Рожденного для воды, вода приняла его в свой текучий саван и бережно понесла вдоль крутых берегов Ангары туда, к тем морям, по которым он тосковал всю свою жизнь:

— Прощай, Саша, свет Александр, Александр Васильевич!

А то вспоминалась ей Новониколаевская пересылка, где изможденная женщина с белыми, будто вылинявшими волосами, собранными на затылке в жиденький пучок, металась по камере и, горестно искажаясь упрямым лицом, иступленно проборматывала с утра до отбоя:

— Не доругались мы тогда, не доругались с Ильичем, если бы доругаться, по-другому, по-другому бы пошло...

Может, и вправду была она Марией Спиридоновой, как себя называла, много их в ту пору — этих Спиридоновых, объявлялось по тюремным командировкам России, но если и была, то нелегко доходило до человека в ясном уме и твердой памяти, каким это чудом сохранялись в таких вот женщинах их копеечные партийные страсти, не иссякавшие в них даже у осторожной параша и на расстоянии вздоха от гробовой доски?

Часто ей виделся и ее сын, но почему-то всегда маленьким: сколько она ни силилась, не могла представить его взрослым да еще зеком, насмерть затоптаным чьей-то кованой злобой.

— Жизнь моя, кровь моя, боль моя, я-то знаю, за что плачу, но за какие вины, за какое прегрешение так страшно, так мучительно страшно пришлось заплатить тебе? Неужто мое короткое женское счастье должно быть оплачено такой дорогой ценой, что и дети мои еще остались должны? Прости меня, прости меня, прости меня, прости!

Но чаще всего она, сама того не замечая, вслух разговаривала с ним, с возникавшим перед ней из небытия Адмиралом:

— Ты хотел, чтобы я жила, — сейчас, в преддверии конца она позволяла себе говорить ему «ты», — и я осталась жить, но трудно назвать жизнью то, что выпало на мою долю! Знал бы ты, сквозь какие тернии и через какую темь протащила меня судьба, прежде чем выбросить на эту окраину, в мое последнее одиночество! В тот день, когда мне наконец сказали, что тебя больше нет, жизнь моя кончилась, я лишь продолжала существовать, плыть по течению без руля и ветрил туда, куда несло меня обезумевшее от крови время.

Сидела, выходила замуж, снова сидела, скиталась по ссыльным углам, малевала задники в провинциальных театрах, а сегодня вот добираю век в коммунальном вертепе московского вавилона, но все это происходило не во мне и не со мной, а сквозь меня, не оставляя в моей душе никакого следа. Я оставалась с тобой в той оголтелой зиме двадцатого, когда в прогулочном дворе ты в последний раз взял мои руки в свои. Этим я и жила все остальные годы.

Теперь ко мне ходит множество людей, старых и молодых, знаменитых и никому не известных, всех возрастов, полов и профессий. Гости сидят часами и спрашивают, спрашивают, спрашивают, но я-то знаю, чувствую, что приходят они не ко мне, а к тебе, и вопросы их обращены тоже прежде всего к тебе. Им жаждет прозреть в твоей судьбе меру вещей и понятий той эпохи, которая для них ушла вместе с тобой. Однажды ты мне сказал, что миру, в котором мы родились, наверное, при-

дется умереть заодно с нами, но, как видишь, он не умер, он снова появляется на свет Божий, вопреки всему тому, что ему пришлось пережить. Те же чувства и те же ценности, которыми жили мы, прорастают сегодня в людях, и уже никакая сила не в состоянии этого остановить. В конце концов ты все-таки победил, мой Адмирал!

И сама себе отвечала за него:

— Это не ты осталась вместе со мною в той оголтелой зиме двадцатого года, Анна, это душа моя срослась с твоею и шла вместе с нею по всем твоим малым и большим голгофам, где бы ты ни была и что бы с тобою ни случилось. Помнишь, я говорил тебе, что никогда не знал победы, но если эта победа все же пришла наконец, то это не моя, а наша с тобой общая победа, Анна, и я счастлив, что ты дождалась ее еще при жизни. До свиданья, Анна, заря моя невечерняя, негасимая моя звезда!

И тут же, словно откликаясь на ее зов, сердце ее блаженно обмерло, солнечная явь за окном медленно закружилась, ввинчивая тающее сознание в какую-то ослепляющую воронку, из глубины которой навстречу ей двинулся знакомый силуэт в адмиральском мундире, и не успела она удивиться, как Адмирал был уже рядом, протягивая к ней руки. Она отдала ему свои, ладони их сомкнулись, и они поплыли вместе к сияющему в глубине воронки свету, соединенные отныне благостно и навсегда.

Глава девятая

БЕРЖЕРОН

ГОД ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

1

«Осознать мир, как заговор, значит, потерять надежду, — заметил мне однажды полковник Пишон, — путь, на который вы встали, Пьер, ведет только к отчаянью». Наверное, он прав, этот Пишон, но я ничего не могу с собой сделать. На каждом шагу я сталкиваюсь с фактами, подтверждающими мои предположения. Назойливые вопросы прямо-таки одолевают меня. Почему у меня на глазах вполне нормальные, уравновешенные люди вдруг теряют обратную связь, перестают видеть и слышать реальную

действительность, принимают жизнь болезненными химерами, утрачивают логику в мыслях, поступках, намерениях? Отчего естественные ценности — благородство, великодушие, верность слову — даже мне начинают казаться безнадежно старомодными? Чем объяснить беспричинную злобу, что разливается вокруг, затягивая в свое раскаленное поле и тех, кого я еще вчера считал образчиками добродушия и снисходительности? Взять хотя бы, к примеру, чешских легионеров. По делам службы мне приходилось бывать в чешской части Австро-Венгрии еще до войны. Я встречался там с десятками самых разных людей, от крупных общественных деятелей до простых крестьян. Признаюсь, ни до, ни после я не встречал в своей жизни народа более уживчивого, щепетильного, наделенного неиссякаемым чувством юмора. Что же могло с ним случиться, чтобы, оказавшись на чужой земле вдали от родины, они превратились в ораву полупьяных демагогов, не брезгующих никаким святотатством и хватающих на своем пути все попадающее им под руку, от пары валяных сапог и крестьянских самозаров до роялей и моторных яхт? Тогда что же? Или какие причины заставляют кичащихся своим свободолюбием американцев брататься во Владивостоке со злейшими врагами свободы — большевиками? А что общего вдруг нашлось у привередливых японцев с разнузданной атаманичиной? И какие соображения логического порядка вынуждают англичан почти открыто саботировать снабжение армии Адмирала? Не лучшим образом ведем себя и мы, равнодушно наблюдая за схваткой в ожидании победы сильнейшего. Выходит, не одна только дикость русских и обрусевших племен и народов стала причиной окружающего безумия? Вот тут-то и открывается передо мной бездна, в которую я боюсь окончательно заглянуть. Поговаривают, что Адмирал употребляет наркотики, но если бы я оказался на его месте, то, наверное, я делал бы то же самое. Видно, только приобщившись к всеобщему забвению, можно еще совсем не сойти с ума. Глядя на все вокруг и в самого себя, я невольно вопию к небу: «Боже праведный, Господи, зачем ты оставил нас?»

«13 января. Вчера за полночь, после долгих речей и споров, союзники наконец выработали текст гарантий для Адмирала. Утром этот знаменательный документ уже был у меня на столе: «1. Поезда Адмирала и с золотым запасом состоят под охраной союзных держав. 2. Когда обстановка позволит, поезда эти будут вывезены под флагами Англии, Северо-Американских Соединенных Штатов, Франции, Японии и Чехословакии. 3. Станция Нижнеудинск объявляется нейтральной. Чехам надлежит охранять поезда Адмирала и с золотым запасом и не допускать на станцию войска вновь образовавшегося в Нижнеудинске правительства. 4. Конвой Адмирала не разоружать. 5. В случае военного столкновения между войсками Адмирала и нижнеудинскими разоружать обе стороны; в остальном предоставить Адмиралу полную свободу действий». Когда днем я показал этот текст полковнику Пишону, он рассмеялся мне в лицо: «Послушайте, Пьер, кто может принять этот блеф за чистую монету! — воскликнул он. — Гарантия, которая не стоит бумаги, на которой дана, обратите внимание на последнюю фразу, она полностью снимает с нас всякую ответственность за последствия!» Увы, по зрелом размышлении, я согласился с ним: отныне Адмирал был обречен».

«16 января. Вчера Адмирала вместе с золотым запасом выдали Иркутскому комитету. В среде союзников все наперебой спешат свалить вину на чехов. Мы усиленно стараемся перекричать других, что вполне понятно: наше участие в этом сомнительном деле слишком бросается в глаза. Генерал Жанен официально Главнокомандующий Чехословацким корпусом в Сибири и без его ведома чехи никогда не решились бы на такой шаг. Головой несчастного Адмирала союзники расплатились с комитетчиками за свой беспрепятственный проезд через Байкальские туннели на Восток. Тимирева сдалась добровольно, предпочитая остаться с ним до конца. Какая сила любви и духа перед лицом циничного предательства! Стыдно считать себя после этого мужчиной и офицером. Встречаясь, мы стараемся не глядеть друг на друга,

делаем вид, будто не случилось ничего из ряда вон выходящего, в разговорах об аресте Адмирала ни звука, словно мы и впрямь находимся в доме покойника. Такое чувство, что все кругом обгажены с головы до ног, но трусят в этом признаться. Боже, как это унижительно! Утром у меня был на эту тему разговор с полковником Пишоном. Он выслушал меня без особого интереса. «Ах, Пьер, — горестно воскликнул он в ответ, — если бы знали, как мне все это надоело! Мы лжем, изворачиваемся, лукавим, лишь бы уйти от ответственности. Вам, Пьер, известны мои взгляды, я никогда не симпатизировал Адмиралу, но то, что сделали с ним при нашем молчаливом согласии, это свинство, это больше, чем свинство, Пьер, уверяю вас, нам еще придется за это очень дорого расплачиваться».

Мне стало ясно, что я не одинок в своих пугающих предчувствиях. Россия вдруг представилась мне огромной опытной клеткой, в которой некоей целенаправленной волей проводится сейчас чудовищный по своему замыслу эксперимент. В чем замысел этого эксперимента и почему именно здесь, оставалось только гадать. Может быть, географическое пространство России, ставшее плавильным котлом для множества рас, вер и культур Востока и Запада, оказалось наиболее отзывчивым полем для социальных соблазнов и заманчивых ересей, а может, историческая молодость этой страны сделала ее столь беззащитной перед ними, кто знает, но что рано или поздно она втянет в свой заколдованный омут весь остальной мир, сомневаться уже не приходилось. И нечего теперь искать виноватых в этой роковой неизбежности. Большевики, инородцы, еврейский кагал, масоны или русские, с их рабскими инстинктами, какое это имеет значение? Все они, вместе взятые, заодно со своими врагами, лишь слепые пешки в чьих-то искусных и неумолимых руках, от которых не спасется никто: ни побежденные, ни победители. Вполне возможно, что погибающие сегодня окажутся счастливее оставшихся в живых, и мне еще придется позавидовать судьбе Адмирала: ему в его трагическом пути было дано то, что навсегда потерял я, — Надежда. Итак, Адмирал: идущие на смерть приветствуют тебя!»

«5 апреля. Мы медленно движемся на Владивосток. Мимо окон проплывают невысокие горы, сплошь покрытые лесами. Снег вокруг них уже начинает оседать и темнеть в ожидании близкой весны. Только в таком вот томительно неспешном движении по-настоящему постигаешь всю почти фантастическую огромность этой земли. Мне, выходяцу из страны, которую можно пересечь из конца в конец за пятнадцать — двадцать часов, такие расстояния и пространства представляются просто немислимыми. Наверное, эта мрачная безбрежность и порождает в своих пределах страсти и катаклизмы соответствующего ее размерам масштаба. Если Сатана задумал вступить, наконец, в последнее единоборство с Богом, он не мог найти в мире место более для этого подходящее. В последние дни я занимаюсь тем, что сижу над конфиденциальными документами, пытаюсь с их помощью напасть на след, ведущий к разгадке причин нашей дипломатии в Сибири. В первую очередь меня, конечно, заинтересовала переписка Жанена с нашим правительством. Вчитываясь в нее, я все более убеждался, что за ее протокольной лапидарностью кроется какой-то второй план. На первый взгляд, правительство Клемансо довольно последовательно придерживалось ориентации на Адмирала, но с развитием событий, хотя и едва заметно, менялся тон правительственных указаний: они становились все более обтекаемыми, позволяя адресату толковать их по своему усмотрению. Разумеется, как всякий опытный бюрократ, генерал Жанен моментально уловил эти нюансы, курс его политики по отношению к вчерашнему союзнику круто изменился, а в частных разговорах он и вовсе не считал нужным далее сдерживать себя. На одном из совещаний, предшествовавших выдаче Адмирала, он без обиняков заявил нам: «Со всех сторон мне напоминают о чести, совести, благородстве и прочих атрибутах сентиментального рыцарства, но у меня есть те же самые обязательства и перед чехами, которыми я командую, я не могу отдать их на убой большевикам ради спасения одного отставного русского моряка. К тому же, даже его собственные соратники, например, генерал Дитерихс, считают, что расстрел Адмирала был бы справедлив и что это надо было бы сделать сразу же по прибытии его в Нижнеудинск». Слушая Жанена, я не верил своим ушам: это говорил человек, который всего за несколько

месяцев до этого рассыпался в восторженных комплиментах и грубой лести перед тем самым «отставным русским моряком», какого он чернил теперь в глазах своих подчиненных. Есть ли предел человеческой низости! Но что в конце концов значил цинизм этого, любившего пожить, буржуа в генеральском мундире и таких, как он, по сравнению с тем, что стояло за ними! А за ними, отныне я это отлично сознавал, стоял замысел. Замысел, рассчитанный всерьез и надолго, до того самого мгновенья, когда вечная тьма окончательно покроет опустевшую землю. Я не в состоянии закрыть глаза на эту очевидность ради сохранения иллюзорной надежды, я оставляю это пишонам. К сожалению, мир — это все-таки заговор. Заговор безбожного человека против всех и самого себя. И только Бог волен вывести нас из этого замкнутого лабиринта. Но заслуживаем ли мы Его снисхождения? Чтобы отвлечься от изводящей меня тоски, я с утра зарываюсь в бумаги, которые служат мне единственным выходом из всеобщего безумия. Неожиданно среди бумаг мне попало на глаза письмо, адресованное в Париж на имя вдовы Адмирала. Оно было кем-то уже распечатано и приобщено к его общему досье. К письму прилагалась препроводительная записка. Признаюсь, я начал читать ее не без легкого волнения: «Дорогая Софья Федоровна! К сожалению, я нахожусь в таком положении, когда мне не к кому обратиться за помощью, кроме Вас, с кем у меня есть возможность связаться хотя бы через французскую миссию. Все остальные пути общения с внешним миром для меня отрезаны, я ничего не знаю о своих родных, близких, а главное, о сыне. Вы женщина и, я уверена, вы поймете меня, несмотря на то, что произошло между нами. Александра Васильевича больше нет, он ушел из жизни, как подобает мужчине и офицеру, даже его враги оценили это. Я была с ним почти до самого конца, но что будет со мною дальше, я не знаю. Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы передать через Вас письмо своему сыну. Может быть, Вам удастся разыскать его. Я все же тешу себя надеждой, что моим близким удалось вывезти мальчика за границу, но даже если нет, то для Вас легче установить, где он и что с ним? С последней надеждой на Вас, бесконечно виноватая перед Вами, Ваша А. Тимирева». И затем обращение к сыну: «Дорогой мой! Я не знаю, где ты сейчас и что с тобой, но горячо верю, что ты жив, здоров и чувствуешь себя молодцом. Кто знает, увидимся ли мы с тобой когда-нибудь, но, если не увидимся, ты должен знать,

что твоя мать никогда не забывала о тебе, хотя судьбе было угодно отнять тебя у нее в самую трудную пору ее жизни. Когда ты вырастешь, ты поймешь, не сможешь не понять, почему это случилось и какая беда развела нас с тобой. Прощай, мой ненаглядный, кровь моя, любовь моя, боль моя неизбывная...» Дальше я не мог читать, спазмы сдавили мне горло, я лишь с горечью посетовал про себя: «Господи, не слишком ли это много для одной просто женщины!»

5

«20 июня. Сегодня я навсегда покидаю Россию. Год с небольшим, проведенные мною здесь, сделали меня другим человеком. В этой стране я познал то, что наверное не следует знать простому смертному, слишком это ему не по силам. Но я все же благодарен ей за то, что, потеряв надежду, я научился в ней самому спасительному для людей — состраданию. Поэтому, расставаясь с ней сегодня, я не говорю ей «прощай», я говорю ей «до свидания». До скорого свидания, несчастная и благословенная в своем несчастье страна, потому что ты первая взяла на себя роковую ношу! Не знаю, сколько еще мне предстоит существовать на нашей скорбной земле, но жить так, как я жил до тебя, я уже не смогу!»

Глава десятая

УДАЛЬЦОВ

1

С утра Каппель впал в беспамятство. Обмороженное, в черных пятнах лицо его с каждым часом все более заострялось, глаза проваливались, горячечный бред клубился вокруг его западающих губ. Из жарко натопленной сибирской избы, сквозь тридевять земель, время.времен и январскую стужу за окном память умирающего тянулась в прошлое, вызывая оттуда летучих духов казавшейся теперь непостижимой жизни: цветения кружевных лип над усадьбой, девушки в белом на берегу Невы, шумного эха офицерских застолий, возбужденной кутерьмы перед Пасхой, переключки смотров и парадов,

шепотного забытья любви, отзвуков старинного романа, встреч, расставаний и опять встреч.

Распластанный на заскорузлых овчинах, Каппель метался в предсмертном бреду, и нить его связи с действительностью стремительно утончалась. Время от времени он приходил в себя, водил вокруг мутными глазами, утыкался взглядом в Удальцова, узнавал и не узнавал:

— А, это вы!.. Да, да, я помню... Я скоро обязательно поднимусь... Сколько еще до Иркутска?.. Кто вы? Мне нужен Войцеховский...

С того дня, как Удальцов, сопровождаемый Егорычевым, был задержан первым же каппелевским разъездом и доставлен в штаб, он неотлучно находился при Каппеле, снова и снова, по упорным настояниям занемогшего генерала, пересказывал тому мельчайшие подробности выдачи Верховного.

И тот всякий раз как бы заново вместе с участниками переживал случившееся, в особенно уязвлявших его местах подергивался всем телом, в сдержанной ярости поскрипывал зубами и даже глаза закрывал от вытлевающей в нем муки:

— Я знал, я говорил, предупреждал: солдат с награбленным уже не солдат, а скотина, которая способна мать родную продать ради ворованного добра, а союзнички, те и того гаже, им только русская кровь нужна, чтобы свою сберечь, всегда, во все века предавали при первой возможности себе на выгоду, мерзавцы, дьяволом меченные, только на этот раз не отсидаются за славянской спиной, эти и до них дотянутся, тогда собственной кровью умоются...

Генерал вновь забывался, и снова над ним принимались кружиться миражи и химеры прошлого, мимолетно воскрешая то, что уже разметалось по земле пылью, пеплом, ветошью или заросло польнью и чертополохом.

Сменявшие друг друга дежурные офицеры с озабоченной готовностью утремлялись взглядом в сторону умирающего, но, тем не менее, их явно не тяготило это зрелище: в ледовом пути, пройденном ими от красноярских предместий до Канска, они свыклись с присутствием смерти, которая сделалась для них частью их повседневного быта.

Время от времени заглядывал врач, будто нарочно скопированный с чеховского персонажа, — бородка лопаточкой, пенсне, усталая сутулость, едва скрытая полувоенным френчем, — беспомощно топтался около больного, механически щупал пульс, задумчиво пожевывал бескровными губами и отходил, сокрушенно вздыхая:

— Чего делать, делать нечего, теперь только один Бог волен, все под ним ходим, какая уж тут медицина, так только, для очистки совести, судьбу не вылечишь, как в народе говорят: попили-поели, пора по домам...

Бдения Удальцова возле Каппеля кончились вызовом к Войцеховскому. Тот ожидал его в соседней горнице, в полушубке и папахе, лицом к окну, вглядывался в режущую белизну перед собой, заложив красные, в темной поросли руки за спину. Не оборачиваясь, спросил:

— Что там, полковник?

— Все так же, Ваше Превосходительство.

— Думаете, выживет?

— Едва ли.

— Вот что, полковник, — Войцеховский круто повернулся к нему, вперившись в него воспаленными от бессонницы глазами. — Разведка докладывает, что положение Политического центра в Иркутске практически безнадежное, власть их — дело считанных дней, в следственной комиссии над Верховным большевики играют теперь первую скрипку, а у них правосудие, сами знаете, без лишних разговоров — к стенке. Если мы хотим опередить их, нам необходимо форсированным маршем идти на Иркутск, но я связан по рукам и ногам, мне нужна карт-бланш от командующего.

— Он спрашивал вас, Ваше Превосходительство.

— Сейчас ему трудно сосредоточиться, полковник, он ни о чем не может говорить, кроме Верховного, поэтому-то и не отпускает вас от себя, но время не ждет, полковник, сейчас крайне необходимо убедить его подписать приказ о передаче мне командования, вам это будет сделать легче. — От неловкости и напряжения у него даже испарина выступила на лбу. — Поймите меня правильно, полковник, Владимира Оскарыча мы уже не спасем, а Верховного же, может быть, успеем. — Он пристально вглядывался в собеседника, словно пытаясь заранее прочесть в нем ответ, а когда прочел, наконец, сразу же облегченно расслабился. — Аркадий Никандрович, голубчик, если бы вы знали, как для меня все это непереносимо!..

К вечеру Каппель стал задыхаться. Разметанное по овчине тело его то сжималось в судорожный комок, то безвольно опадало в полном изнеможении. Хрип в его провалных губах смешивался с едва членораздельным бредом, в пестрой мозаике которого постепенно стирался какой-либо смысл:

— В правый угол... Вера... Где? Кавалергард... Тише... Не нужно... Ес...

Но явь еще не отпустила его окончательно. Она клокотала в нем, вымывая из него последние остатки жизни, но в конце концов, как бы сжалившись над ним, вернула ему на прощанье память:

— Хорошо, что вы здесь, полковник... Кажется, легче... Неужто пронесло?.. Почему так темно, полковник?.. Нельзя ли зажечь лампу?

Глядя, как мертвенно разглаживается его воспаленное лицо, Удальцов, волнуясь, заторопился:

— Вы еще совсем слабы, Ваше Высокопревосходительство, — спазмы в горле перебивали ему дыхание. — Вам надо лежать и лежать. — И уже с некоторой опаской: — Необходимо подписать приказ о временной передаче командования, Ваше Высокопревосходительство.

Тот, к удивлению Удальцова, не выразил ни малейшего недовольства или протеста:

— Давайте, — с усилием дернулся он к протянутой ему бумаге. — Только сумею ли, рук совсем не чувствую, онемели...

Удальцову с трудом удалось втиснуть в холодеющие пальцы Каппеля случайный огрызок карандаша, и тот стелющимся движением успел вывести на неподатливом листе начальные буквы своей фамилии, после чего карандаш выскользнул у него из-под ладони, уткнувшись в рыжую шерсть овчины. Рука его, вдруг окончательно обессилев, сползла к бедру и резко оцепенела.

— Все, — не оборачиваясь к стоящему у него за спиной Войцеховскому, сказал Удальцов и перекрестился. — Конец.

Каппель лежал вытянувшийся и сразу помолодевший, излучая вокруг себя умиротворение, и лишь в уголках глубоко запавших губ остывала некая озадаченность, будто в мгновение, навсегда отделившее его от жизни, он увидел перед собой нечто сильно его поразившее.

В кружении возникшей потом суеты вокруг тела и хлопот по снаряжению похоронного обоза в Читу Удальцов никак не мог выбрать свободной минуты, чтобы навестить заболевшего ординарца, но тот в одночасье сам настиг его, представ перед ним как-то среди улицы, порядком осунувшийся и помятый:

— Здравия желаю, Аркадий Никандрыч, — Егорычев прямо-таки светился радостью встречи, — малость опамятовался вот, вас ищу.

Поеживаясь от лютой стужи, тот устремлялся навстречу командиру преданными глазами, и Удальцов, словно подхваченный изнутри горячей волной, не выдержал субординации, метнулся к ординарцу, порывисто полуобнял, но тут же оттолкнул от себя:

— Чертушка, чего ты поднялся, лежать тебе надо, олух царя небесного, ведь снова свалишься!

— Никак это невозможно, Аркадий Никандрыч, никак это невозможно, — заторопился, зачастил тот, — без меня вы совсем пропадете, вошь заест, а уж куском вас обделят, как пить дать.

— Ну уж и пропаду, я ведь у тебя не дитя малое, руки-ноги есть, голова работает, выкручусь как-нибудь, — и только тут по-настоящему разглядел ординарца, замotanного с ног до головы в сборное тряпье и обутого в расхристанные опорки. — Слушай, Филя, тебе так долго не протянуть, давай-ка я тебя отправлю с похоронным обозом в Читу, отлежишься там, отогреешься, а оттуда тебе до дому рукой подать.

Егорычев сразу же погас, сжался, растерянно засучил ногами по снегу:

— А вы как же, Аркадий Никандрыч?

— А я, Филя, на Иркутск пойду с генералом Войцеховским, Верховного спасать, может быть, еще успеем.

— А куда же я без вас, Аркадий Никандрыч, — умоляюще отозвался тот, — чего мне там, в этой Чите, делать, а и жив ли кто дома у меня, один Бог знает?

— А ведь если со мной, Филя, то почти на верную гибель.

— Двум смертям не бывать, Аркадий Никандрыч.

И вновь проник Удальцова обнадеженным взглядом, готовый хоть сейчас пуститься следом за ним на этот самый Иркутск, не ожидая другого слова или приказа.

— Эх ты, голова садовая, — сглатывая в горле комок, отвернулся от него Удальцов, — нечего делать, со мной так со мной!..

Ранним утром, едва развиднелись чернильные сумерки, похоронный обоз с завернутым в старые шинели телом Главнокомандующего в сопровождении конного конвоя потянулся в сторону железнодорожной магистрали в читинском направлении.

Стоя рядом с Удальцовым и глядя вслед все удаляющемуся в морозную мглу транспорту, Войцеховский решительно выдохнул:

— Ну, с Богом!

И санная колонна, будто повинувшись этому выдоху, дрогнула, двинулась с места и медленно потекла чуть в сторону — на Иркутск.

2

Через три дня части Второй армии, двигаясь по главному Московскому тракту вдоль железной дороги, после десятичасового боя овладели станцией Зима, откуда Войцеховский, по прямому проводу, через чешского посредника, передал иркутскому ревкому условия отмены штурма города:

«1. Немедленная передача Адмирала иностранным представителям, которые должны доставить его в полной безопасности за границу.

2. Выдача Российского золотого запаса.

3. Выдача армии по наличному числу комплектов теплой одежды, сапог, продовольствия и фуража.

4. Исполнение всего изложенного под ответственностью и гарантией иностранных представителей, ведущих переговоры».

Задержав до получения ответа Главный штаб в Зиме, командующий отдал приказ войскам наступать дальше.

Третья армия, развивая успех, продолжала движение по Московскому тракту, а Вторая направилась на тридцать-сорок верст севернее, в обход Иркутска. Шли день и ночь с минимальными передышками, без особого труда сметая на своем пути выдвинутые навстречу им красные заслоны. И лишь в верстах семидесяти от города Вторая армия натолкнулась на первое серьезное сопротивление. Целый день шестого февраля и всю следующую ночь шел бой с введением в дело всех наличных сил наступающих. Только наутро седьмого (когда тело Верховного уже было спущено в ангарскую прорубь) части Второй и Третьей армий ворвались на станцию Инокентьевскую, заняв авангардные позиции на западном берегу Ангары непосредственно напротив Глазговского предместья.

Остаток утра затем, не смыкая глаз после изнурительного пути, штабники вырабатывали планы Иркутского штурма. Прибывшему вскоре Войцеховскому оставалось только утвердить операцию и взять на себя общее руководство.

Но к полудню, когда все оказалось готово к выступлению, грянул гром. Сначала чешским нарочным в штаб был доставлен документ за подписью начальника Второй чехословацкой дивизии полковника Крейчи, в котором, в ультимативной

форме, выдвигалось категорическое требование отменить захват Глазговского предместья, в противном случае, говорилось в документе, союзники выступят против каппелевцев вооруженной силой.

В помещении воцарилась тишина. Стало слышно, как отсчитывают время ходики на стене. Каждый понимал, что слова тут излишни: чехи в очередной, но теперь уже решающий раз предавали их в угоду заклятому врагу. Впервые за эти годы перед ними по-настоящему разверзлась пропасть, а позади земли у них больше не было.

Первым не выдержал Сахаров. Он вдруг напрягся, побаровел, разъяренно замотал взбывшейся головой:

— Сергей Николаевич, отдайте приказ, я сам поведу армию, я раздавлю эту чешскую нечисть вместе с их приятелями из ревкома, — генерала несло, и сейчас даже сам он не мог бы остановить себя. — Что же это делается, господа, столетиями эта сволочь ползала на брюхе перед австрийцами, в четырнадцатом предали их, стали лизать задницу нам, а теперь у нас же в доме ведут себя как озверевшее купечество, заставляют наших женщин, стариков и детей выносить из-под них дерьмо за обеды со своего стола да еще ультиматумы ставят! — он вскинулся в сторону Войцеховского побелевшими от бешенства глазами. — На дворе за тридцать градусов, мои солдаты в рваных опорках идут походным маршем по тракту, а эта разжиревшая от даровой жратвы и безделья банда едет мимо них в комфортабельных теплушках с награбленным у нас добром и еще презрительно поплеывает сверху нам на головы, доколе же мы будем сносить это позорище, господа, не лучше ли уж тогда пулю в лоб?

Воспользовавшись вопросом, в начатый разговор вклинился всегда осторожный в суждениях генерал Вержбицкий:

— Но ведь, Константин Васильевич, чехи помогли нам взять Зиму, согласитесь, если бы не майор Пржахл, своими силами мы бы не смогли этого сделать.

Но вмешательство только подлило масла в огонь.

— Пржахл, Пржахл, — снова взвился Сахаров, — надолго его хватило, этого Пржахла, Ваше Превосходительство? Где он теперь, ваш доблестный майор Пржахл? Сидит запершись у себя в вагоне, совестно на люди показаться, нашелся один порядочный офицер, а мы его уже в святцы записать готовы. Были и до него, полковник Швец, например, может, еще несколько найдется, и это на пятьдесят-то тысяч!

— К тому же, — не слушая его, продолжал гнуть свое

Вержбицкий, — союзники нас не поддержат, мы окажемся в одиночестве между всех огней.

При слове «союзники» Сахарова подхватила новая волна ярости.

— Союзники! — вскочил он с места. — На русской крови и костях отпраздновали победу, а теперь с ножом к нам в спину! Веками эти союзники спят и видят стереть с лица земли само ненавистное им название Россия, думают теперь, что дожили до своего звездного часа, ведут себя, как грязные мародеры после боя, только рано радуются, у Лейбы Троцкого с Ульяновым и для этой сволочи петля готова! Если мне разрешат, я их через двадцать четыре часа всех, вместе с ревкомом, поставлю к одной стенке! Я...

Кто знает, чем бы закончилась эта перепалка, если бы на пороге вдруг не возникла взволнованная фигура дежурного офицера:

— Позвольте доложить, — в эту минуту, видно, ему было не до уставных церемоний, — нынче утром Верховный Правитель с Пепеляевым убиты!

Только тут, после длившейся целую вечность паузы, Войцеховский наконец подал голос:

— Что будем делать, господа?

Обычно помалкивающий и болезненно стеснительный казачий генерал Феофилов подал голос:

— Константин Васильевич, однако, прав, господа, — сивый хохолок на его похожей на крепкую репку голове заносчиво вздернулся. — Иркутск надо брать, пускай эти сукины дети отвечают за все по закону, стерпеть это никак невозможно, господа.

Его поддержал командир ижевцев генерал Молчанов:

— Мои молодцы рвутся в бой, — в его простоватом, задубелом на ветру и морозах лице проступила угрюмая решимость. — Поверни их сейчас, после такого марша, в сторону, пиши пропало, боеспособная сила превратится в холостой сброд.

Но Вержбицкий со своего места только ленивым взглядом повел в их сторону, продолжая настаивать:

— Возьмем город и окажемся в глухом мешке, нас начнут бить все кому не лень и со всех сторон: и красные, и зеленые, и чехи с союзниками. Выход единственный: в обход Иркутска двигаться к Байкалу, а оттуда на соединение с Семеновым.

Остальные молчали. Молчали так красноречиво, что Вой-

цеховскому не составляло труда сделать из этого молчания вполне определенные выводы:

— Господа, как Главнокомандующий я не считаю себя вправе рисковать армией ради сведения счетов с противником, нам необходимо любой ценой сохранить силы для похода на соединение с атаманом Семеновым. Итак, мое решение: двумя колоннами обогнуть Иркутск и двигаться на Лиственничное и дальше на Мысовск. Вы свободны, господа...

Расходились молча, не глядя друг на друга, в подавленном оцепенении.

На прощание Войцеховский остановил выходившего последним Удальцова:

— Будьте любезны, Аркадий Никандрыч, задержитесь, — он сел и жестом указал на стул против себя. — Хочу поговорить с вами совершенно откровенно, — взгляд у него при этом скользил мимо собеседника и в сторону, он нервно сцеплял ладони перед собой, с ломким хрустом переплетал пальцы. — Положение, как видите, Аркадий Никандрыч, не из легких, это мягко говоря, а если всерьез, то почти безнадежное. Вы мне не подчинены, поэтому я не волен распоряжаться вашей судьбой, вы, разумеется, можете присоединиться к нам, но, думаю, у Семенова вы окажетесь не ко двору, ваше присутствие будет вызывать в нем не слишком приятные воспоминания. Мой вам совет: пробивайтесь в Монголию или Китай, там при желании еще можно собрать силы. Необходимо выждать, толпа должна перебеситься, в конце концов она устанет от собственного бедлама, тогда можно будет попытаться начать все сначала. Но, Аркадий Никандрыч, ради Бога, поймите меня правильно, это только совет, а решать вы вольны сами.

Здесь он впервые взглянул на Удальцова тяжелыми затравленными глазами, и тот понял, что Семенов тут ни при чем, что Главнокомандующему самому не терпится как можно быстрее и безболезненнее отделаться от него и что ему остается лишь принять предложенную игру и подчиниться.

Удальцов поспешил подняться первым:

— Ваше Превосходительство, — коротко откланялся он, — честь имею.

Но выходя, всей спиной, лопатками, самой кожей чувствовал клубившуюся следом за ним липкую неприязнь.

Из Инокентьевской уходили затемно. И хотя на стационарных складах брошенного красными интендантства людей удалось наспех, но сносно обмундировать, начатый путь оказался не легче предыдущего.

Вчерашний мороз сменился слепящей метелью, на протяжении вытянутой руки уже исчезало всякое представление о пространстве. Шли по наитию, следом за проводником, давно потерявшим какие-либо ориентиры. В этом движении было что-то сомнамбулическое, настолько оно выглядело бессмысленным и хаотическим. Люди инстинктивно жались друг к другу, но это их вынужденное сплочение не объединяло идущих, а лишь спекалось в них безнадежным ожесточением: сколько можно терпеть, и когда все это кончится? И ради чего?

Поэтому, когда после двух часов марша сквозь метельное крошево перед ними вдруг обозначилась смутная россыпь огней, это выглядело миражем, галлюцинацией большого воображения: никакого жилья на многие версты вокруг никем не предвиделось. Но едва до их сознания дошло, что армия просто сбилась с дороги и впереди снова все тот же, ставший уже их наваждением и проклятием Иркутск, по изломанным рядам прошелестело решительное облегчение: надо брать! Брать, чтобы, одним последним рывком смяв на своем пути любое сопротивление, очутиться наконец в спасительном тепле, под защитой домашнего крова.

Думалось, еще мгновение, и вся эта, окрыленная внезапной надеждой людская масса, не ожидая приказа, ринется сквозь снежную замять навстречу светящимся впереди огням, и уже никакая сила окажется не в состоянии остановить ее, но в этот самый момент, когда неизбежное должно было бы вот-вот произойти, от головного конца колонны, наподобие волны морского отлива, покатила над головами охлаждающая пыл команда:

— Поворачива-а-ай!.. Продолжать на юго-восток!

Дальше не шли, а вьюжная темень несла их без руля и ветрил, вверяя идущих воле судьбы и случая. Прощай, Иркутск!

Еще в Инокентьевской Удальцов отказался от предложенной ему в штабе лошади и шел вместе с Егорычевым в солдатском строю, целиком отдавшись общему потоку. После разговора с Войцеховским он лишь утвердился в убеждении, что дело проиграно. И проиграно окончательно. Никаким,

даже сверхчеловеческим военным искусством невозможно было теперь ни предотвратить, ни остановить инерцию пораженного страну тотального распада, развала, разрушения. Земля, в крови и крике, словно бы сбрасывала с себя отжившую кожу, выпирая из-под коросты и омертвелой шелухи новым обликом и другой статью. Можно было кричать, изводиться от бессильного гнева, выгорать в ненависти, пролить еще много и много крови, но изменить естественного развития событий это уже не могло: происходила неподъемная для нормального человека смена эпох. Поэтому он решил выходить из игры, не ожидая, пока колесница русского лихолетья подомнет его под себя, обратив в пыль или пепел своей очередной смуты.

С отступающей армией ему было только до Мысовска, от туда пути их сразу же расходились: отступавшим войскам предстоял затяжной марш на восток, а Удальцову с Егорычевым — дорога на юг, вдоль по Иркуту до самой монгольской границы и дальше — в Китай.

«Может и прав Войцеховский, не лукавил попусту, светского приличия ради, — думал Удальцов, сгибаясь под секущим ветром, — перебесится русский мужик, войдет в разум, тогда и начать все заново».

Мутный рассвет застал каппелевцев уже верстах в пятнадцати от Иркутска в небольшой деревушке, откуда, едва обсохнув и накормив лошадей, двинулись дальше — к желанному Байкалу.

Марш на Лиственничное длился весь день и всю следующую ночь. Лишь к утру, в начале вторых суток пути, лес раздвинулся, обнажив впереди дымчатую гладь незамерзающего устья Ангары, а следом за этим — курящиеся трубы заснеженных крыш раскидистого села на берегу.

Вдали за рекой, над зубчатой линией скалистых гор, всплывало багровое, в дымном мареве солнце, окрашивая белую пустыню отдаленного озера в чуть розоватые оттенки. Там, на другом берегу этого озера, людей ожидало если не окончательное спасение, то, во всяком случае, первый на их крестном пути долгий отдых, но туда еще надо было пробиться, а хватит ли у них для этого сил, никто не знал, слишком уж много испытали они позади.

Хозяин дома, куда сноровистый Егорычев устроил на постой своего командира, оказался долговязый мужик из бывших канониров, помнивший Адмирала еще по русско-японской кампании.

Принимая гостя, с любопытством пошарил по нему с головы до ног взглядом, обмяк жестким лицом:

— Эхма, ваше благородие, вот оно как дело-то оборачивается, жила-была Расея-матушка, во все концы корабельным носом упиралась, поглядеть — сдвинь ее попробуй с места, живот надорвешь, а как пришлось за себя постоять, так и потекла по всем пазам, собирай ее теперь ложками, — но, видно, проникшись наконец состоянием гостя, спохватился. — Ладно, чего уж там, располагайтесь, ваше благородие, — и уже куда-то в глубину дома: — Мать, где ты там, мечи-ка на стол что есть, по такому случаю спозаранку пополднюем, — и снова к Удальцову, добродушно подмигивая: — А к вечеру и баньку истопим, так-то, ваше благородие!

Подхваченный волной блаженного тепла и жадного насыщения, Удальцов плыл в полусонном тумане, едва различая вокруг себя лица и голоса, а когда, после черного провала в памяти, очнулся, хозяин, в валяных опорках на босу ногу и полушубке, накинутом прямо на исподнее, стоял над ним, беззлобно посмеиваясь:

— Ишь, как тебя уходило, ваше благородие, прямо снопом свалился, будто подкошенный, даже будить жалко, да только банька застынет, еще жальче, попаримся всласть, дурь из костей выгоним, а там закусим и сызнова на боковую.

Потом, в банном пару, изламываясь долговязым телом под хлестом собственного веника, он отечески втолковывал вконец разомлевшему Удальцову:

— Мне ординарец твой баял, ваше благородие, будто вы с им к монголам наладились, так мой тебе совет: одолеешь Байкал, дальше не ходи, зимой вам туда никак не добраться, тут в эту пору и местные-то далеко не ходят, а вы с непривычки и вовсе сгинете, — он вдруг шепотно понизил голос, словно кто-то мог его здесь услышать. — Слышь, ваше благородие, имеется у меня на той стороне в сельце так дворов на двадцать друг-приятель, Иваном Малявиным кличут, зверем-рыбой промышляет, у него зимовья чуть ли не по всему Иркуту заложены, я вас к нему налажу, скажешь — от Силантьича, сразу примет, он вас до весны где хошь скроет, перезимуете, а как подсохнет, можно и к монголам, по суху недалёко, а в Мысовск не советую, мало чего там в Мысовске этом деется, может, уже красные шуруют али близко к тому.

Пар клубится под закопченным потолком, темной бездной льнула к окошку ночь, пахло дымом, застарелой смолой и

прелым мочалом. Хотелось лежать вот так, не двигаясь, сладостно избывая из себя, казалось, ввевшуюся в самое нутро стужу и не думать ни о чем, забыть обо всем на свете, тем более о завтрашнем или вчерашнем дне.

«Не ловушка ли это? — лениво шевельнулось в нем, но тут же отлегло. — Впрочем, едва ли, какая ему корысть, одна морока?»

Тот сверху снисходительно хохотнул:

— Ординарец у тебя орсл, ваше благородие, он в Инокентьевской добра нахапал, на три зимовки хватит, а то и больше, одних пим по две пары на брата да амуниции разной мешок, как только унес. Насчет провианту — Иван от себя подкинет, промышлять можно наостриться, не такая уж мудреная наука, были бы руки-ноги да ружьишко какое-никакое, а уды ставить слепой справится.

— Байкал большой, не заблудиться бы.

— Дорога тут, ваше благородие, проще простого, — он опять перешел на полусшепот. — Как Мысовск покажется, отваливай от своих и бери сразу по правую руку, там ходу вам останется версты две, не больше, берег один, не заблудишься, в любую избу стучи, моим званием всяк откроет, а уж Малявин Иван там первейший человек, не боись, ваше благородие, однова живем...

После бани, распаренные и умиротворенные, они сидели в чистой горнице под озаренными робкой лампадкой образами за холодной бражкой с пельменями, и хозяин изливал перед гостем наболевшую за эти годы душу:

— Четверо их было у меня, ваше благородие, один к одному, без одного изъяну народились, молодцами выросли, за ими хозяйство у меня, как за каменной стеной стояло, а нынче где они — сыны мои, ищи ветра в поле, трое с белыми ушли, один к красным подался, однех со старухой оставили да и сгнули невесть в какой стороне, вот и скажи ты мне, ваше благородие, за что, за какие грехи на нас такая напасть?

Проникаясь его болью, Удальцов вместе с тем изводился той же мукой и тем же недоумением: за что, почему, за какую непростительную вину огромная страна со всем сущим и содержащимся в ней ввергнута теперь в столь непосильное для нее испытание? Изводился, но не находил ответа. Целый мир, в котором он вырос и с которым были связаны все его представления о добре и зле, рассыпался, рушился у него на глазах, отлагая трещины своего распада даже в таких вот, рубленых из вековых кедров и казавшихся еще вчера несокрушимыми

деревенских избах. И опять, снова и снова, подступал горьким комком к горлу все тот же вопрос: за что?

С этим он засыпал, проваливаясь в ночное забытие, с этим и поднялся, чтобы под напутствия хозяев присоединиться к армейской колонне, темной лентой потянувшейся на байкальский лед.

Но путь к желанному сельцу оказался не таким коротким, каким он виделся из Лиственничного. Байкал трещал из конца в конец, артиллерийской канонадой отдаваясь в морозном воздухе. Казалось, некий огромный зверь, пробуждаясь, пытается сбросить с себя ледяной панцирь и высвободиться. Вконец обезножившие на льду лошади храпели и прядали ушами, дергали по сторонам, чувствуя под собой беспокойную бездну. Кованные обычными, без шипов, подковами, они скользили по ледяному зеркалу, спотыкались на каждом шагу, зачастую падали, не выдержав напряжения. И только люди, будто скроенные из бесчувственного материала, продолжали двигаться, пригибая голову против обжигающего ветра и не оборачиваясь.

Верхом, на санях, пешим ходом они тянулись следом за проводниками, наводили из досок и бревен временные мосты над полыньями и трещинами, подбирали падающих и сторонились павших. В этом исступленном порыве пробиться к другому берегу между ними впервые стерлась, сошла на нет разница в чинах и званиях, навсегда уравнив их перед лицом смертельной опасности. На любом месте, от выпряжки обессилевших лошадей до наведения переправ, генерал не уступал в сноровке младшему офицеру или солдату.

Скудное февральское солнце словно бы нехотя перекатывалось над завьюженным пространством, но не грело, не светило, не радовало. И лишь медленно матереющий впереди силуэт горной гряды на том берегу пробуждал надежду и сообщал людям силы, чтоб продолжать путь.

Наконец, на самом исходе дня впереди явственно определились признаки близкого жилья: с той стороны потянуло дровяным дымом, а вскоре в метельных сумерках проклюнулись первые огоньки: Мысовск!

Наказав ординарцу задержаться и ждать его возвращения, Удальцов поспешил в голову колонны, туда, где сквозь густеющий туман маячил над головами штабной значок.

За эти дни Войцеховский заметно сдал, лицо осунулось, плечи ссутулились, подернутый туманцем взгляд уткнулся в Удальцова с виноватой беспомощностью:

— Вот, полковник, и я занемог, — он сидел в розвальнях, зябко кутаясь в просторный тулуп, — глядишь, вот-вот за покойным Владимиром Оскарычем последую. Что у вас?

Удальцову было теперь не до условных соболезнований, вместо этого он одним духом, почти по-уставному выложил:

— Позвольте проститься, Ваше высокопревосходительство, следуя вашему совету, хочу свернуть мимо Мысовска, сократить дорогу.

Тот мгновенно оживился, из-под жаркого туманца в глазах блеснула одобрительная заинтересованность:

— Не смею удерживать, полковник, Бог вам в помощь, — и все же напоследок не удержался от красного словца. — Только помните, полковник, Россия в нас еще верит.

Но, поворачиваясь к ожидавшему его ординарцу, Удальцов больше не слышал Главнокомандующего, а спустя час путники уже стучались в первые попавшиеся ворота обещанного им Силантьичем сельца.

4

Малявин оказался мужиком, на слово и подъем медлительным, с лицом мальчика-перестарка и лопатистого вида руками. Привет от Силантьича принял молча, лишь головой тяжелой кивнул, гостей выслушал так, будто все это ему было не впервой, а укладывая их после скорого ужина по лавкам, только и сказал себе бабьим голоском:

— Утро вечера мудренее.

Но разбудил чуть свет, уже одетый для долгой дороги.

— Попотчуйтесь, господа хорошие, чем Бог послал да и наладимся по морозцу, — подумал, подумал, как бы прикидывая, добавить ли словцо-другое, решил, видно, расщедриться. — Тут до моей заимки рукой подать, верст сорок, даст Бог, перезимуете помаленьку.

Сборы были недолгими, а завтрак и того короче. Хозяйка, полная противоположность мужу, подвижная и моложавая еще бабенка в темном платке, повязанном по самые брови, потчужа гостей на скорую руку, словоохотливо рассыпалась перед ними:

— Ешьте, ешьте, касатики, хучь наспех, зато от пуза, а на дорожку-то я вам разного наложила: и мясца, и рыбки, и шанежек напекла, девятерым хватит, все одно, люди бают, красные придут, добро наше прахом развеется, до смерти за-

мордуют, хучь в тайгу уходи да ить и там углядят, — и вдруг тревожно стрельнула поочередно по тому и другому быстрым глазом. — Там у нас на займище-то девка наша младшая, Дарья, управляетя, дак вы, молодцы, не больно-то раззадоривайтесь, она у нас така, што, осерди только, своего не пожалует, не токмо чужого, а ежели с ей по-хорошему, клад девка, у ей вы, как у Бога за пазухой, отнимуете... Ну, Христос с вами!

Уже во дворе, вставая на лыжи, Малявин снова, будто нехотя, отговорился в сторону путников:

— Лыжным ходом хаживали хоть? Дело нехитрое, вставай крепче да и двигай ногами туда-сюда, в мой след. Ну, с Богом!

И заскользил в распахнутые ворота в синеющий рассвет впереди. Уходил он вроде бы неспешно, с некоторой даже ленцой, ухитряясь при этом тянуть за собой еще и санки с кладью, а успевать за ним с непривычки оказалось непросто: широкие, походившие более на доски с загнутыми торцами лыжи непослушно размазывали лыжню в разные стороны, зарывались на спусках в снег и гирями обвисали на ногах при подъемах, словно и думать забыли о своих незадачливых спутниках.

Но, как водится, лиха беда начало. Постепенно нога свыкалась с лыжным креплением, чутко ощущая снежный покров под собой, дыхание выравнивалось, тело наливалось упругостью и теплотой: видно, опыт предыдущего пути не прошел для них попусту... И вскоре они уже уверенно держались в хвосте у Малявина, почти не уступая ему в сноровистой легкости хода.

Вековой кедрач в снежных шлемах с ледяными подвесками нависал над их головами, и сквозь редкие его просветы под ноги им стекало чадное солнце студеного утра. Стояла такая тишь, что не верилось, будто где-то совсем рядом, может быть, всего в дне пути отсюда, в грое и грохоте испепеляется растерзанная междоусобной войной земля. Господи, неужели этот кошмар теперь позади и не гонится больше по пятам за ними!

Уже вызвездило, когда малявинский силуэт впереди вдруг замер и оттуда, из глубины густеющих сумерек, дотянулось до них тоненькое:

— Притопали...

И, словно отозвавшись на его слово, в хвойной темноте, чуть поодаль от них, перед ними обнажился слегка сплюснутый с боков, тускло освещенный изнутри прямоугольник двери,

и оттуда потянуло обжитым жильем, сухим деревом, печным духом, а из проема скользнула навстречу им ломкая, на излете тень:

— Папаня, вы?

Потом, в неверном озарении светильной площадки, тень обернулась подбористой девахой в россыпи веснушек на скуластом лице и с выбившейся из-под платка темно-рыжей куделью. Собирая на стол и возясь у печки, она временами с любопытством постреливала в сторону гостей быстрым — в мать! — глазом, но, однако, — и это уже в отца! — настороженно помалкивала.

По всему видно было, что зимовье это рубилось умелой рукой и надолго, если не на века: из матерых, в добрых два обхвата лиственниц, с полом из неотесанного кедрача, широкими нарами по торцовым стенам и приземистой с лежанкой печью в углу справа от двери.

«В такой крепости, — одобрительно осмотрелся Удальцов, — до второго пришествия зимовать можно».

Задувая огонь и укладываясь, Малявин скупно просветил гостей насчет их будущей жизни:

— Завтрева лапнику наломаете, мягче перины будет, остатному девка научит, она у нас на всякое дело быстрая, — помолчал, недобро добавил: — На руку особливо.

Пожалуй, впервые за последние годы Удальцов проснулся без угнетающих дум о предстоящем дне. Некуда было спешить, не о чем хлопотать и нечего опасаться. Он словно возвращался в свое естественное состояние после изнурительной и затяжной болезни. Сейчас его даже думать не тянуло о будущем, настолько отдаленным и призрачным оно ему представлялось. Хотелось лежать вот так, неподвижно глядя в прокопченный потолок, с блаженным ощущением вытекающей из всех пор и мускулов усталости. Утоли, Господи, моя печали!

Свет ослепительного утра струился вовнутрь сквозь раструб единственного окошка на лицевой стене зимовейки. В занявшейся новым теплом печи потрескивали горячие сучья. Пахло сухим корьем, паленой овчиной, горелой шелухой картофеля.

«До весны-то срок еще долгий, — мысленно одернул себя он, — не заметишь, как обабишься».

У печного зёва, на корточках, спиной к нему сидела вечерашняя деваха, сноровисто заталкивая в огонь обледенелые с мороза плахи. Торчавшие из-под платка темно-рыжие ку-

дельки покачивались в такт ее движениям у нее над вспотевшими висками, словно огненные спиральки от печного пламени.

И тут же, боковым зрением, Удальцов перехватил жадно устремленный в ее же сторону взгляд своего ординарца, от которого исходил такой заряд тоскливого восхищения, что она, видно, и сама это почувствовала, обернулась, насмешливо озарившись всеми своими веснушками сразу:

— Очухались, мужики? — она вытянулась перед ними невысокой, но ладной фигурой. — Пора и честь знать, картошка стынет!

Февраль на дворе доживал необычно тихим и солнечным, без долгих метелей и хиуса. Белая стынь вокруг держалась еще крепко, вся в метельных наметах, застругах, снеговых гармошках, блистала на взгорьях ледяными залысинами, но что-то под ее промерзшей толщей уже сдвинулось, треснуло, вбирая в себя сонное пока пробуждение стосковавшейся по теплу земли: все чаще осыпались с хвойных подкрылков снежные шапки, все говорливее становились лунки в протоках, все томительнее тянулись закатные вечера.

Днем Удальцов старался пореже показываться в зимовье или около, лишь бы не смущать ординарца своим присутствием: тот усыхал, заострялся на глазах, обгорал, наверное, первым в своей жизни молодым обожанием. Филя тенью повсюду следовал за Дарьей, на лету, по мимолетному взгляду, слабой улыбке, малому движению угадывал ее в нем надобность, чтобы тут же, не мешкая, угодить ей, а по ночам тяжело ворочался у себя на нарах, протяжно вздыхал и даже слегка постанывал.

Время от времени наведывался Малявин, зорко посматривал по сторонам, видно, догадываясь о чем-то, насмешливо хмыкал, многозначительно покачивал лобастой головой и, после недолгих хлопот по хозяйству, не говоря ни слова, отправлялся восвояси.

Удальцов днями кружил по распадкам, борам и протокам, в долгих раздумьях подводил итоги минувшему и строил планы на будущее. Теперь, когда окончательно определился необратимый уже, по его мнению, исход того дела, которому он отдал последние годы своей жизни, его вдруг стали кровно волновать вещи, которые еще вчера представлялись ему если и важными, но не первостепенными: дом, семья, место под солнцем, хлеб насущный, о каком раньше у него даже не было времени думать.

Снова и снова прокручивал он про себя свою последнюю встречу с Элен в Красноярске. Что с ней, где она, смогла ли добраться до Владивостока? В памяти Удальцова всплывало ее, совсем еще детское, лицо и почти отчаянная мольба, долгим эхом звучавшая в нем на всем его последующем пути: «Вы, правда, меня не забудете, Аркадий Никандрч?» Сердце его при этом обморочно падало от сострадания и любви.

«Вот уж воистину сильнее смерти, — пытался посмеиваться он над собой, — перед ней все равны: и я, и Адмирал, и Егорычев!»

Но смех соленым комком застревал у него в горле. Чем дольше он оставался наедине с собой, тем острее и неотступнее преследовала его память о ней. Он найдет ее, найдет даже на краю света. Она должна, она обязана выбраться из этого ада живой и невредимой не только ради себя, но и ради него, вернее, ради них обоих!

Удальцов заранее знал, что найти Элен будет не просто, как не просто встретиться в океане двум каплям дождя, пролитым над противоположными берегами, но он верил в свою звезду, к тому же в мире существовали люди, много людей, которые были должны, обязаны были ему в этом помочь. И в первую очередь — Нокс. Ведь поклялся же тот тогда, после тобольской передраги, протянуть ему руку помощи, когда бы он этой руки ни попросил. Словом английского офицера клялся!

Дни тем временем складывались в недели, а те, в свою очередь, принимались отсчитывать месяцы. Исподволь источался снег, наливались хрупкой синевой озера и протоки, сиротел, наливался корявой чернью окружающий лес, а вскоре на луговых прогалинах выбросил первые стрелки свежий травяной покров. Весна отряхивала землю от праха и тлена зимнего забытья.

Той порой, как-то под вечер, когда зажгли светильную плошку, дверь зимовейки с коротким треском распахнулась, и через порог вовнутрь сплошным потоком хлынула людская лава — смешение малахаев, бород, дубленой овчины и сапог:

— Нишкни на месте!

Но лава тут же лохматым полукольцом растеклась по зимовью, уступая дорогу человеку с изможденным, но еще очень молодым лицом, на котором малярийно поблескивали тревожно-беспокойные глаза. Он был в офицерской папахе и шинели с притороченным к ней меховым воротником:

— Кто хозяин? — не выговорил, а скорее прокашлял он и

мгновенно тревожным взглядом выделил из всех Удальцова. — Ты?

Тот выступил вперед:

— Что вы хотите?

Беспокойные глаза вдруг с пристальным вниманием остановились на Удальцове, гость некоторое время с видимым недоумением вглядывался в него, затем повелительно повернулся к сопровождающим:

— Всем выйти! — и к Дарье с Егорычевым: — И вам тоже, — после того, как дверь за людьми закрылась, он, отступив, устало прислонился к ней спиной. — Кто вы?

Запираться было бессмысленно: его могли прикончить на месте, если не выбить из него признание:

— Я полковник Удальцов, бывший начальник конвоя Адмирала, — в нем почему-то, от слова к слову, нарастала уверенность в том, что с этим рано состарившимся мальчиком ему удастся договориться. — Что вам здесь нужно и с кем имею честь?

— Корнет Савин, честь имею, полковник, — на его изможденном лице обозначилось нечто вроде улыбки. — Честно говоря, я и сам не знаю, что мне нужно, собрал вот с бору по сосенке разный сброд и кружу с ним по здешним лесам без всякого толку, одним словом, вольница, — прикрыл бессильно глаза, откинулся папачкой к притолоке. — У всех теперь свои знамена: у кого красные, у кого белые, у кого зеленые, один я без знамени, просто так кровь лью: и тех, и других, и третьих, — истончившиеся губы его передернулись в нескрываемой муке. — Предлагал ведь я себя Адмиралу, полковник, еще в Японии предлагал, нет, не поверил, не взял, пустяками отговорился, а ведь могли бы мы еще тогда, — последние слова он почти выкрикнул, — могли бы, была сила!

— Нет, не могли бы, корнет, никто не мог бы.

— Почему же, — исходил в своей муке тот, — почему же, полковник?

— Это не бунт, корнет, это обвал, а от обвала, как известно, может спасти только чудо, но чуда, к сожалению, не случилось.

— Что ж, — тот снова заострился и отвердел, — тогда пусть каждый платит за свое сам, лучше уж погибнуть с моим сбродом, чем сдать на милость победителя, да еще такого победителя! — он, хотя явно и без особой надежды, искал сочувствия в собеседнике. — Может, вместе, полковник, а? Я за свое атаманство не держусь, готов подчиняться, скажите

только слово, полковник. Хлопнем на прощанье дверью на всю Сибирь?

— Нет, корнет, у меня другие планы.

Уже полуобернувшись к нему и взявшись за дверную скобу, Савин вдруг спросил его:

— А знаете, как Адмирал закончил? — но не стал ждать ответа. — Хорошо закончил, полковник, нам бы так, да, видно, порода не та, но Анну Васильевну не тронули пока, держат еще, да, — взяв на себя скобу, прощально блеснул в сторону собеседника. — Ладно, живите по своим планам, полковник, Бог вам судья!

И вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

Наутро, оставшись наедине с ординарцем, Удальцов решительно поделился с ним:

— Пора уходить, Филя, засиделись мы тут.

Но по тому, как мгновенно тот отшатнулся от него в виноватой растерянности, он понял, что уходить ему отныне придется одному.

А Егорычев уже спешил, захлебывался жалкими оправданиями:

— Извиняйте, Христа ради, ваше благородие, куда я дальше пойду, от добра добра не ищут, мы уж и сговорились с Дарьей, Малявин опять же не против, мужиков нынче с руками рвут, работников совсем не осталось, все кто по фронтам, кто в сырой земле отсыпается, почну крестьянствовать, своим домом обзаведусь, детишки пойдут, чего ж мне еще искать по свету, да и отыщу ли?

— Замордуют ведь, Филя! — попробовал образумить его Удальцов. — Не простят адмиральскую службу!

— А чего с меня взять, Ваше благородие, Аркадий Никандрыч? Солдат он солдат и есть, солдата куда пошлют, туда и идет, не по своей воле живет солдат, кому неведомо?

Спрашивал он и при этом виновато облучал Удальцова преданными по-собачьи глазами.

— Тебе видней, Филя, у тебя своя жизнь, у меня — своя, — безвольно покорялся Удальцов его иступленному напору. — Не мне тебя неволить. — Тот порывисто потянулся было губами к его руке, но он, не разделив порыва, убрал ее за спину. — Ладно, Филя, собраться только помоги...

Удальцов ушел, едва засинела ночь за окошком. Ушел не прощаясь, жалко было будить их.

Дальше Удальцов уходил в одиночку. И в одиночку же коротал зябкие ночи в стороне от людных мест и обжитых берегов. В этом долгом пути он словно бы начал жить заново: все правила, ограничения, устоявшиеся привычки пришлось забыть, душа и тело его перерождались в совершенно иную сущность, которая не имела ничего общего с ним — в прежней жизни. Нечто звериное, почти первобытное прорастало в нем, властно диктуя ему первозданно новые для него навыки и повадки.

Он выучился высекать огонь, ставить силки, вязать на переправах утлые плоты ивняковой лозой, угадывать путь по солнцу, а в ненастье — по движению листвы, спать бодрствуя и бодрствовать во сне. Только теперь, в этой казавшейся ему нескончаемой дороге, он по-настоящему почувствовал насто-роженную враждебность породившей его земли. Опасность, подвох, угроза таились на каждом шагу: поросшая веселой травой прогалина оборачивалась топкой трясиной, хрупкий подлесок — непроходимой чащей, ласковая речушка — винтовым омутом. Ровная тропа вдруг срывалась под прямым углом в отвесный обрыв, рослая лиственница, перечеркнув небо над ним, внезапно отрезала ему ход, замшелая ветвь под ногой неожиданно оживала шуршащей нечистью. И чем дальше он пробирался, тем настырнее и круче сопротивлялось ему пространство.

На пятнадцатый день пути он вышел к прибрежному тракту. И только тут природа слегка отступила, распахнув перед ним сквозь опушку соснового бора безбрежный обзор затянутых сплошным лесом предгорий с вкрапленными в них слюдяными блюдцами озерных разливов. Даже воздух здесь уже не забивал душным настоем таежной всячины, а растекался в легких с освежающей невесомостью. И через все это хвойное море, от самых ледниковых зубцов на горизонте, голубой, с прозеленью по краям лентой летела, неслась, извивалась навстречу ему раскатисто говорливая река. И Удальцов со вздохом облегчения догадался: Иркут, где-то в самом своем истоке!

По его расчетам, до монгольской границы оставалось не более трех дней ходу. И хотя возможности его были на исходе, одно сознание близости спасительной цели придавало ему силы. Теперь-то он наверняка знал, уверен был, что дойдет, доберется до этой цели, не сгинет в дороге в числе многих, пополнив собой безымянный список российского лихолетья.

Устремляясь к желанной воде, Удальцов полной грудью вдыхал живительный запах соснового бора, охваченный упительным ощущением возвращения к жизни и к самому себе. Резкое солнце, рассекая хвою разлапистых крон, слепяще било ему в глаза, сладостно кружило голову, и все в нем при этом пело от легкости и ликования.

И грезилось ему его августовское детство в их деревенской усадьбе. Он бежит босой по скошенному полю, колкая стерня под ним еще не высохла от росы, сквозь дубовую рощицу впереди поблескивает речка, а небо над головой такое чистое и высокое, что, кажется, припусти побыстрее, взлетишь, подхваченный первым же дуновением ветра.

И позади, захлебываясь в смехе, тянется за ним умоляющий голос отца:

— Аркашка-а-!.. Бесено-о-ок!.. Останови-и-ись!.. Пожа-лей отца-а-а, совсе-е-ем пада-ю-ю!..

Почти в беспамятстве Удальцов приник к воде и пил, пил, втягивал, впитывал в себя ее сводящее зубы и скулы студеное облегчение, но, едва оторвавшись от нее, увидел рядом с собой в речном зеркале чье-то, в полный рост, отражение. Сердце в нем обморочно оборвалось и обомлело, затылок мгновенно одеревенел. Ожидая сзади выстрела или удара, он даже не нашел в себе силы обернуться, только со сдавленным хрипом спросил воду перед собой:

— Кто ты?

— Человек, не леший.

Голос за спиной звучал чуть насмешливо, но миролюбиво. Облегчаясь сердцем, Удальцов осторожно обернулся и, все еще снизу вверх, полюбопытствовал:

— Ты откуда тут?

— Я-то тутошний, ты вот откуда взялся?

Коренастый мужичонка в жиденькой бородке стоял перед ним, опершись на суковатую палку, и с озорным любопытством разглядывал его васильковым взглядом из-под белесых, будто выгоревших бровей.

— Напугал ты меня, брат, — Удальцов окончательно опамятовался и встал, — хоть бы голос подал.

— Лес шуму не любит, — беззлобно осклабился тот полнозубым ртом, — тише ходишь, целей будешь.

— Жилье близко?

— Э, мил-человек, тут жилья на сто верст кругом днем с огнем не сыщешь, я один тут кукую, на подножном корму.

— Не страшно одному-то?

— С людьми страшно, мил-человек, а себя чего же бояться?

— А зверье?

— Зверя не трогай, он тебя не тронет, я сам по себе, зверь сам по себе, живем — не грыземся.

— Где же ты тут обитаешь?

— А вон...

Проследив за приглашающим взмахом его руки, Удальцов вдруг разглядел почти слившийся с береговым кустарником сруб, с плоским, заросшим травой верхом, по самую оконную щель врытый в землю.

— Так и живешь?

— Так и живу, мил-человек, — спокойно утвердил мужичонка и вновь васильково засветился. — Заходи, гостем будешь, чайку попьем.

Не ожидая ответа, он двинулся вверх по береговому откосу, палкой раздвигая впереди себя цепкий кустарник. В пружинистой и бесшумной походке его чувствовалась укорененная привычка к долгой ходьбе и дорожной оглядчивости.

После солнечного ослепления дня темень внутри сруба показалась Удальцову почти чернильной. Немного пообвыкнув к этой темени, он различил наконец в ней громоздкую из неотесанного камня печь, занимавшую здесь большую часть места, с набросанной на ней тряпичной рухлядью, и в косой полоске света, падающего от оконной щели, пол из плотно пригнанных друг к другу жердей.

— Ты, брат, гляжу, как медведь в берлоге устроился.

— Не жалуюсь, — тот стоял снаружи, у него за спиной. —

На мой век хватит.

— Тут и свековать думаешь?

— А куда мне податься — некуда?

— Мир большой.

— Кому как.

— Не по тебе, значит.

— Не по мне, — уверенно согласился тот. — Земля большая, а меня на ней мало.

— А прикорнуть у тебя можно, не прогонишь?

— Отчего прогоню, располагайся, а я пока пойду чайку спворю, — и сразу захлопотал, засуетился у него за спиной. — В одночасье спворю, мы и попьем на воздышке. Тут чем славно, что комара, мошки нету, потому как гнусь эта сырую низину любит, а тут высоко да сухо. Располагайся, мил-человек, опростай ноги от немочи.

Любо было смотреть, как ловко и споро орудовал он вокруг

запылавшего вскоре костерка: ломал сушняк для огня, колдовал с травками над водой в таганке, мешал с лесным лучком вяленую рыбешку.

— Городского не сулю, а своим попотчую, — приговаривал он при этом, улыбочиво посвечивая во все стороны, — без рафинаду, зато с ягодой, сыт не будешь, а для дремоты лучше нету, пей да радуйся...

Потом они пили из одной жестяной кружки по очереди терпкий травяной настой, заедая выпитое рыбным волокном под таежный лучок, а хозяин тем временем не умолкал, растекался словоохотливо:

— Как призвали меня в германскую, так и подался я куда глаза глядят, чего я с тем немцем не поделил, пускай воюют, кому своя голова полушка, а чужая того дешевле, а я и не жил еще вовсе, не токмо девки, бабы живой не пробовал, одних сапог не сносил, дальше околицы носу не высовывал, на хрена, думаю, мне в этом пиру похмелье, я пока жить хочу, ноги в руки и — ходу, ходу, токо бы не забрили...

— Сам-то из каких мест?

— Пермские мы, по-разному кличут, больше водохлебами, что греха таить, мастаки у нас чай гонять из пустого в порожнее, хотя отец мой покойный, Царство ему Небесное, с Дона сам, после каторги в лесах осел, крестьянствовал помаленьку.

— Чем же ты здесь перебиваешься? — уже сквозь дрему любопытствовал Удальцов, — на твоих харчах долго не протянешь.

— Говорю тебе, на подножном, а когда совсем приспичит, на тракт выхожу, Христа ради кланяюсь.

— Кто ж теперь подает?

— Свет не без добрых людей, мил-человек, особливо монголы, иной плетью огреет, а иной и подаст, с миру по нитки да и много ли мне надобно одному-то, зимой, однако, хуже, лесным припасом живу Э, да ты совсем сморился, милоч, — тенью метнулся он перед гостем, — залезай-ка в нору, там сподручнее...

Умиротворенный угощением и незлобливый разговором, Удальцов в сонном полузабытьи перебрался под крышу, свалился на услужливо подстеленное ему тряпье и канул в сон, как во тьму, без памяти и сновидений.

Знать бы Удальцову в эту провальную минуту, что топор уже вознесся над ним и затем с рассекающим присвистом врезался в пол за вершок до его затылка: откуда же было

угадать хозяину, что за мгновение до удара гость схватится в бездумье повернуться на другой бок!

Но звука вошедшего рядом с его головой в древесную мягкость острия Удальцову хватило, чтобы моментально прийти в себя, пружинисто вскинуться на ноги и, по-кошачьему оторвавшись от пола, броситься всем телом на человеческий силуэт перед собой. Цепкие ладони его сомкнулись вокруг теплой пульсирующей шеи, сдавливая хрипящую ему в лицо мольбу:

— Прости, Бога ради... Со страху я... Прости...

Из Удальцова вдруг словно выпустили воздух: ладони разжались сами собой, тело опустошенно обмякло, ноги сделались ватными. Он с трудом поднялся и, переступив через распростертую под ним человеческую плоть, тяжело шагнул к выходу:

— Будь ты проклят, тварь...

А тот полз за ним на карачках и все всхлипывал ему вслед, умоляюще поскуливая:

— Сам ить знаешь, как нынче живется, не люди — волки одни кругом, чуть сплосаешь, враз на распыл изведут... Не я тебя, так ты меня все одно извел бы... Кто ж знает, чего у другова на уме, а я ишшо жить хочу, молодой совсем, за какие грехи погибать мне тут... Прости, Христа ради, лукавый попутал, сам не знаю, как получилось, не оставь без отпущения... Прости-и-и!

Удальцов уходил не оборачиваясь, не мог, не хотел, не нашел в себе воли обернуться.

Он двигался сквозь лес, отныне окончательно уверенный, что на этой земле ему уже нет места. Все, что он любил в ней и к чему был на ней привязан, истекло в вечность, растворилось в воздухе, наподобие фата-морганы, не оставив после себя ничего, кроме терзающих душу воспоминаний. Она осталась такой же большой, как и была, но не для него и таких, как он. От ее мертвой тверди не исходилось теперь зовущего к себе света, и небо над ней выглядело сегодня каменным. Жизнь здесь начиналась с чистого листа, и какой она окажется — эта жизнь, еще никто не знал.

Далеко впереди, над сверкающей в свете убывающего дня горной грядой занимались сумерки, горизонт темнел, проявив на своем густеющем полотнище зыбкие контуры первой звезды. Звезда медленно приближалась, набирала блеска и четкости и наконец, с наступлением полного заката, обозначилась перед ним, поверх соснового частокола, твердо и торжествующе, упрямо воскрешая в путнике неистребимость надежды.

6

Дальше Удальцов уходил в одиночку...

7

Летом двадцать первого, перебиваясь в Лондоне с хлеба на квас, Удальцов с отчаянья поступился гордостью, позвонил Ноксу:

— Здравствуйте, генерал, вас беспокоит полковник Удальцов. Помните Омск, Ставку, Тобольский фронт?

В трубке возникла пауза, которая, как показалось Удальцову, длилась целую вечность, потом оттуда, словно из глубокого колодца, глухо, но отчетливо донеслось:

— Извините, сэр, я вас не припоминаю...

И связь тут же оборвалась.

* * *

Вот и все, господа хорошие, вот и все.

8

Анна Васильевна Тимирева умерла своей смертью в Москве 31 января 1975 года от Рождества Христова.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Из семейной хроники, написанной сыном Адмирала Ростиславом Александровичем:

«Род КОЛЧАК внесен во вторую часть родословной книги дворян Херсонской губернии. Вторая книга, как известно, включает роды, получившие потомственное дворянство чинами военными. При ревизиях 40-х годов Колчаки были утверждены в потомственном дворянстве указом Герольдии Правительствующего Сената от 1 мая 1843 года за N 7054.

По семейным преданиям, семья получила и русское подданство, и русское дворянство, и русский герб в начале царствования Императрицы Елисаветы Петровны, около 1745 года; но это, может быть, не совсем так, как будет видно дальше.

Что, во всяком случае, верно, это то, что семьи и отца и матери адмирала были из казаков, — семья отца из Бугского казачьего войска, а матери — из Донского.

По преданиям, которые проверить исторически я не могу (семейные архивы погибли в России), Колчаки происхождения половецкого. Это возможно. Теснимые татарами, половцы частью слились с ними, частью ушли в Венгрию. Происходил ли адмирал Колчак от хана Кончака «треклятого и окоянного» или нет — не берусь сказать, да и тюркские корни двух кличек не те же. «Кончак» значит «штаны», а «колчак» — «боевая рукавица» (от слова «кол» — рука). Это стальной панцирь, покрывающий правую руку до локтя, кончающийся рукавицей из материи (левая рука прикрывалась щитом). Но на Урале есть вершина, название которой Кончаков или Колчаков камень.

Во всяком случае, первый Колчак, о котором имеются исторические записи в связи с русской историей, появляется в Боснии в XVII столетии и встречается с русской армией Петра Великого во время Прутского злосчастного похода 1711 года.

По хронике Ивана Никулчи, молдавского гетмана, этот Колчак был серб, родом из Боснии, принявший мусульманство. Он при Пруте был «булюбаш», то есть «полковник» катанов — маленький племенной вождь. Возможно, что его семья должна была уйти в годы Боснии от турок и, как это было обычно у

боснийского дворянства, он принужден был перейти в мусульманство для сохранения своего рода, когда турецкое иго ложилось все тяжелее на Боснию в XVII веке.

Я расскажу о нем довольно подробно, потому что его личность связана со сравнительно мало изученной эпохой военной истории России времен Анны Иоанновны и фельдмаршала Миниха.

* * *

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине нал,
Но первый звук хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.
В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла...

Так отразилась в наше время — в стихах В. Ходасевича — ода первая Ломоносова. Эта ода действительно может считаться началом русской поэзии. Она посвящена «Блаженные памяти Государыне Иператрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина — 1739 года».

Мало кто теперь читает оды Ломоносова и мало кто теперь знает, что в первой его оде, в первый раз в русской печати упоминается фамилия Колчак.

Как в клуб змия тебя крутит,
Шипит, под камень жало кроет,
Орел когда шумя летит
И там парит, где ветер не воет;

Пред росской так дрожит орлицей,
Стеняет внутрь Хотин своих.
Но что? В стенах ли может сих
Пред сильной устоять царицей?
Кто скоро толь тебя, Колчак,
Учит российской вдаться власти,
Ключи вручить в подданства знак
И большей избежать напасти?..
(Ломоносов. Ода первая)

Это переносит нас в царствование Императрицы Анны Иоанновны и именно в 1739 год.

Ни это время, ни сама Государыня не пользуются доброй славой. Владычество верховников из «немцев», Бирон, Миних, «слово и дело», тайная канцелярия, придворные шуты, «Ледяной дом»... Положительные стороны этого царствования забыты. Так повелось с переворота Елисаветы Петровны. Оно и

естественно, надо было всячески оправдать переворот и очернить, как можно больше, предыдущее царствование и предыдущий режим. Так всегда полагается. Но если Анна Иоанновна и мало доверяла русским, то она сама уж русской была несомненно.

Дочь царя Иоанна Алексеевича, выросла она в Москве при маленьком дворе ее отца и матери, где сохранились старые уклады. Царевны росли в девичьей и в тереме. Духовенства вокруг было много, а учили их мало чему. Когда Анна Иоанновна стала герцогиней Курляндской, она научилась говорить по-немецки, но и то плохо. По природе своей она была грубовата, но если и малообразованна, то обладала большим здравым смыслом и дело своего дяди, Петра Великого, она продолжала. Если почитать бумаги ее кабинет-министров, то видно, что государственными делами она занималась здраво и довольно милостиво. Худо ли, хорошо, но она продолжала дело Петра Великого — расширение границ России для свободных морей и подготовила то, что было завершено при Екатерине Второй.

При начале царствования Петра Великого Россия граничила с тремя мощными государствами — Швецией, Польшей и Турцией, отделявшими ее от морей и вообще от Европы. Через сто лет, к началу XIX века, все три препятствия были уничтожены. Три линии сил, направленных Петром против трех соседей, были поддержаны очень последовательно его преемниками. Военная сила Швеции была уничтожена еще самим Петром. Анна Иоанновна разрушила Польшу (война за польское наследство 1734 г. — взятие Данцига Минихом) и нанесла через того же Миниха первый удар тогда еще грозной Турции (война 1735-1739 гг. — взятие Очакова, Ставучанская победа, взятие Хотина). В то время Черное море было еще «турецким озером». Степи будущей Херсонской губернии были только кочевьем Едисанской орды, будущая Таврическая губерния была мало населена запорожцами и татарами Крымского ханства. Подольская была частью Речи Посполитой, как и почти вся правобережная Украина. Только Киев был уже снова русским.

Ханы Крымские были вассалами Порты и, при неповиновении, сменялись из Константинополя. Турция начала XVIII столетия, конечно, была уже не та, что при великих военных султанах Солимане и Боязиде. Если Евгений Савойский и Ян Собесский заставили турок несколько отступить из своих владений в Европе, все же силы Турции были еще велики.

Прутский поход Петра I в 1711 году закончился неудачно: вся русская армия, с Государем во главе, чуть не попала в плен к туркам в Молдавии, и пришлось поступиться первыми достижениями Петра на Азовском море, чтобы выбраться из этого положения.

Первая треть XVIII столетия называется турками «лале деврэ», что значит «эпоха тюльпанов». Царствование султана Ахмета III (1702-1730) и начало царствования Махмуда I — время очень блестящей и утонченной культуры. В Турции тогда в моде Персия, персидский язык, искусство, литература, а во Франции в моде Турция, несколько выдуманная, конечно, но все же Турция:

турецкие мотивы на фарфоре, в живописи, в музыке. Султан Ахмет строит киоски и фонтаны, разводит тюльпаны. Султан Махмуд коллекционирует фарфор и любит заниматься ювелирной работой. Весь их двор в красочных одеяниях, да вообще типы оттоманской империи эпохи «тюльпанов» можно видеть на великолепных гравюрах, изданных в Париже в 1715 году, по зарисовкам, сделанным по заказу французского посла Боннака, и в собрании миниатюр, поднесенных турецким послом Людовика XIV, которые хранятся Cabinet des estampes в Париже.

Все это очень красиво, очень элегантно, очень остроумно и полно той утонченности и забавности, которые обыкновенно в моде перед большими катастрофами...

Дунайские княжества — Молдавия и Валахия под турецким протекторатом, Порта назначает их господарей из Константинополя, выбирая их из греков-фанаристов, которые вообще поставляют драгоманов Порты и фактически которым поручены иностранные дела, дипломатические сношения и внешняя торговля. Кантемиры, Муруми — православные подданные султана — становятся или скоро станут русскими волею и часто не совсем по доброй воле. Но турецкая армия все еще грозная сила, и по Черному морю ходят только турецкие корабли.

Кто знает Пушкина, знает и его перевод из воспоминаний бригадира Моро-де-Бразе, который участвовал в Прутском походе Петра I. Вот как Пушкин перевел на русский язык заметки очевидца о турецких войсках 1711 года.

«Признаюсь, из всех армий, которые мне удалось только видеть, никогда не видывал я ни одной прекраснее, величественнее и великолепнее армии турецкой. Эти разноцветные одежды, ярко освещенные солнцем, блеск оружия, сверкающего наподобие бесчисленных алмазов, величавое однообразие головного убора, эти легкие, но завидные кони — все это на гладкой степи, окружая нас полумесяцем, составляло картину невыразимую, о которой, несмотря на все мое желание, я могу вам дать только слабое понятие».

Вообще, то, что пишет Моро о турках, довольно занимательно. Дальше он рассказывает о своем разговоре с тремя пашами, говорящими по-немецки и по-латыни, приехавшими в русский лагерь после заключения перемирия.

«Я всегда воображал себе турков людьми необыкновенными; но мое доброе о них мнение усилилось с тех пор, как я на них насмотрелся. Они большею частью красивы, носят бороду, не столь длинную, как у капуцинов, но снизу четырехугольную, и холят ее, как мы холим лошадей (sic!). (Пушкин плохо прочел: во французском тексте «cheveux» — волосы, а не «chevaux» — лошади. — Р.К.) Эти паши, хотя все разного цвета, имели красивейшие лица. Тот, с которым я разговаривал, признался мне, что ему было шестьдесят три года, а на взгляд нельзя было ему дать и сорока пяти».

В армии, описанной Моро-де-Бразе, был и Илиас паша Колчак — он был еще молодым офицером. Родился он около 1675 года, а при Прутском походе ему было лет тридцать пять.

Моро-де-Бразе не называет тех трех пашей, которых он описывает, но вот что он еще о них говорит:

«Только что мы кончили наш обед. Фельдмаршал (Шереметев) на нас наехал и попросил нас угостить трех пашей, приглашенных от Великого Визиря к Его Царскому Величеству, покаместь Государь не даст ответа (на условия перемирия). Мы к ним отправились. Один из них говорил хорошо по-немецки и еще лучше по-латыни. Он достался на мою долю: друзья мои довольствовались оба одним из остальных, говорившим только по-немецки. В минуты первых приветствий слуги фельдмаршальские разбили шатер, постлали наземь ковер турецкий, на который усадили мы наших трех пашей. Они сели, сложив ноги крестом, и велели принести себе трубки, коих чубуки столь длинные, что головки их лежали на земле.

Сначала разговор наш был общий.

Наконец, паша, говоривший по-латыни, коль скоро узнал, что я француз, подозвал меня к себе и громко объявил, что французы были приятели туркам. Тогда, вступив в частные рассуждения, я спросил у него, по какой причине и на каких условиях заключили они мир. Он отвечал, что твердость наша их изумила, что они не думали найти в нас столь ужасных противников: что, судя по положению, в котором мы находились, и по отступлению, нами совершенному, они видели, что жизнь наша дорого будет им стоить, и решились, не упуская времени, принять наше предложение о перемирии, дабы нас удалить. Он объявил, что в первые три дня артиллерия наша истребила и изувечила множество из их единоплеменцев, что у них было 8000 убитых и 8000 раненых и что они поступили благоразумно, заключив мир на условиях, почетных для султана и выгодных для его народа».

Я привожу эту обширную цитату, потому что она объясняет Прутский трактат и почему вся русская армия, с Государем во главе, не попала в плен туркам, а смогла, правда, потерявши половину людей, уйти беспрепятственно обратно за Днестр в Подолию. Кроме того, она дает понятие о турецких генералах того времени.

После заключения перемирия эти три паши с отрядом провожали до Ясс уходящую русскую армию.

«Здесь расстались мы с тремя пашами и с их отрядом, — продолжает Моро-де-Бразе. — Дорогой имел я честь несколько раз с ними разговаривать, а однажды и обедать вместе у генерал-лейтенанта барона Остена. Они попросили рису вареного на молоке и наелись его, насыпав кучу сахара. Мы никак не могли заставить их пить венгерского вина, как ни просили; они предпочитали кофе, сваренного по их обычаю и который пили они целый день».

Почти наверное можно сказать, что паша помоложе, говоривший по-немецки, был Колчак.

Как известно, он был из Боснии, прилегающий к австрийским провинциям, и мог знать немецкий язык. Кроме того, он был при штабе Великого Визиря, как видно из хроники Ивана Никулчи. В этой хронике Колчак, насколько мне известно, упомянут в первый раз. В ночь 7 июля 1711 года турки переправились на правый берег Прута и услышали шум русских повозок и лошадей. Это была кавалерийская дивизия генерала Януса, бывшая в авангарде и отходящая обратно к армии Шереметева по приказу Петра.

Вот что пишет Никулча:

«Враг, услышав шум повозок, сначала испугался и даже начал переправляться обратно через реку, но один паша заметил Великому Визирию, что шум удаляется, а не приближается. Колчак булюбаш, ренегат, серб родом из Боснии, был послан на рекогносцировку. Он доложил, что русский корпус обратился в бегство. Лишь удостоверившись в этом, турки успокоились и продолжали переправу на правый берег Прута в течение всей ночи. Колчак, за это хорошее известие, стал впоследствии пашой трехбунчужным и губернатором Хотина».

Конечно, Никулча, молдаванин, стоящий на стороне русских, отзывается недоброжелательно о противнике из христианского рода, перешедшего в мусульманство, и слово ренегат нас шокирует. Но явление это было очень распространено в Боснии.

Турки не обращали христиан в мусульманство насильно, но старались опираться на то местное дворянство, которое принимало ислам, давая ему за это известные привилегии, нежелающих обкладывали непосильными даяниями, лишая их, таким образом, и имущества, и власти.

Реакции христианских народов, подвластных туркам, были различны. Албанцы сравнительно быстро все перешли в ислам и потому пользовались особым расположением турок. Сербь сопротивлялись дольше; часть сербского дворянства эмигрировала в королевскую Венгрию и в Боснию, но, хотя сербское население и осталось в массе православным, все же переходы в мусульманство были нередки.

В Боснии же наблюдалось очень любопытное явление. Масса населения оставалась христианской, но отдельные члены владетельных семей принимали мусульманство, часто возвращаясь в православие перед смертью. Таким образом происходило известное разделение прав. Например, один из братьев, переходя в мусульманство, сохранял своей семье и местную власть, и имущество и, сделавшись турецким беєм или булюбашем, позволял своему племени жить по его обычаям и вере.

Из заметки Никулчи видно, что так и было с Колчаком.

В 1711 году он со званием булюбаша приходит в Молдавию в числе лиц штаба Великого Визиря Мохамед Бостанджи-паши. Отличается при переправе через Прут и, вероятно, присутствует при переговорах о перемирии с Петром Великим, как упомянуто у Моро-де-Бразе.

Остается в Молдавии при Абды-паше, который вскоре назначается сера-

скиром азиатским и румелийским. Затем Абды-паше, человеку, пользующемуся большим почетом (возможно, что Абды-паша и был тот паша 63-х лет, говоривший по-латыни и по-немецки, о котором рассказывает Моро), поручается укрепление Хотинской крепости. Крепость эта по своему положению приобретает в это время большое значение. Расширение ее и постройка новых укреплений по системе Вобана и по планам французских военных инженеров закончены в 1713 году, а в 1717 году начальник ее, Абды-паша, умирает, и Илиас-паша Колчак назначается на его место.

Колчак будет пашой хотинским двадцать два года, сначала в должности «сол кол агассы», что значит начальник левой руки, т.е. левого крыла бессарабской армии, а затем начальником Хотинской крепости и генерал-губернатором хотинской рапы.

За свое более чем двадцатилетнее пребывание в Хотине Колчак занят военно-дипломатической работой, весьма любопытной и дающей живые примеры того, как переживалась и проводилась в жизнь турецкая политика по отношению к России в первой половине XVIII столетия и также политика Франции в отношении той же России через ее союзников Швецию, Польшу и Турцию.

В период времени, идущий от смерти Петра Великого (1725 г.) до воцарения Елисаветы Петровны (1741 г.), т.е. за шестнадцать лет, на российском престоле сменяются две Государыни и два Государя-мальчика. Сменяются также, часто в драматической обстановке, приближенные и доверенные люди монархов — верховники и министры. Меньшиков умирает в ссылке в Березове, гибнет семья Долгоруких. Миних проживет 20 лет в Пелыме, заменив Бирона, которого он же в Пелым сослал...

Но внезапные и трагические перемены внутренней истории России как будто не отражаются на ее иностранной политике. Последователи Петра Великого идут по путям, указанным великим Императором, к свободным морям и на Запад. Цели Петра Великого, отвечающие геополитическим потребностям России, будут достигнуты при Екатерине Великой. Первое препятствие — Швеция — фактически разрушено еще Петром после Полтавы; шведская военная мощь настолько сломлена, что ни Карл XII, завязавший в Бендерах, ни его сестра Ульрика Элеонора и ее правительство восстановить силы государства не могут и Швеция погружается в свои внутренние затруднения. Второе препятствие — Польша — ослабляется своими внутренними противоречиями, вытекающими из ее своеобразного и анархического правительственного строя. Влияние России в Польше совершается через королей саксонцев, Августа II и Августа III.

Петр Великий пытается устранить и третье препятствие — Турцию, но ему приходится отступить после неудачного Прутского похода.

Анна Иоанновна (1730-1740) снова вернется к вопросам, которые Петр Великий не успел разрешить окончательно. Это вызовет войну с Турцией, начавшуюся в 1735 году и закончившуюся в 1739-м.

Последовательные действия России, ведущие к ослаблению Швеции, Польши и Турции, вызывают большую тревогу во Франции, так как все эти три государства входят в систему союзов Франции против Австрийского дома; естественно, что в этот период Россия, со своей стороны, действует в союзе с Австрией и вступает в войну с Турцией в союзе с имперцами, вековыми врагами турок.

Польша в это время принуждена остаться нейтральной. В Варшаве царствует Август III, поддерживаемый Австрией и Россией, и русские войска или стоят в Польше, или свободно проходят через нее.

Попытка Франции в пользу Станислава Лещинского не удалась и кончилась занятием Данцига Минихом еще в 1734 году и бегством Станислава Лещинского из Польши. Турция, как и Франция, поддерживала Станислава Лещинского и его сторонников.

Находясь в Хотине с 1713 года, Колчак-паша является исполнителем на месте польской политики Стамбула и поддерживает постоянные сношения с великокоронным гетманом Иосифом Потоцким, который, в частности, владеет пограничными с Бессарабией областями Подолией и Галицией. Сохранилась и часть переписки между ними.

Вот пример стиля Колчак-паши из его письма к Потоцкому от 2 декабря 1736 года из Хотина. В этом письме характеризуется кратко и турецкая политика того времени по отношению к Польше и России. Письмо написано, когда война уже началась.

«Посылаю чрезвычайного моего посланника Мустафу-агу, дабы сперва узнать о вашем добром здравии, а затем передать пожелания вам впредь всякого благополучия. Также объявляю вашему сиятельству, как то ведомо всему свету и всей самой Речи Посполитой нам доброжелательной, что Пресветлая Порта Оттоманская от давних времен всегда и весьма в мыслях своих сохраняла и сохраняет, дабы вольность польская в целости быть могла. И если Пресветлая Порта Оттоманская с Государством Российским когда-то вначале договор заключили, то это, дабы доброжелательная нам Речь Посполитая в своей вольности пребывала и от войск (чужих. — *Р.К.*) в границах своих дабы всегда свободна была, пакты бы заключала и утверждала, а наипаче, в нынешних конъюнктурах Пресветлая Порта Оттоманская (желала бы) иметь (по отношению к себе. — *Р.К.*) постоянную и доброжелательную Речь Посполитую Польскую...»

Дальше Колчак пишет, что ему известно, что, вопреки «пактам»; русские войска зимуют в Польше и что, если ему придется атаковать русских на польской территории, он надеется, что Польша не увидит в этом враждебного акта.



В 1713 году по приказу султана Ахмета III турки сконцентрировали все свои силы в Бессарабии. Все ждали, что Лещинский, Карл XII и Орлик войдут

в Польшу с 300-тысячной турецкой армией. Воевода киевский Иосиф Потоцкий, впоследствии Гетман Великокоронный, выступил бы тогда со всей южной Польшей, Подолией и Галицией за Станислава Лещинского. Но Петр Великий приступил уже к исполнению условий Прутского договора — уничтожить укрепления Азова и флот Черного моря — и мир был подтвержден.

Все же турки окончательно захватили Хотинскую крепость и окружили ее области между Днестром и Прутом и начали строить, как было указано выше, обширное укрепление в Хотине.

Таким образом, граница по Днестру держалась уже двумя крепостями — Хотином и Бендерами, а Буковина и Бессарабия были превращены в турецкую пограничную военную окраину, которую турки начали заселять татарами из Литвы — липканами.

Молдавский хронист Авксентий пишет об этом следующее:

«Каждый день мы видим многих людей, рожденных от знатных родителей, воспитанных в роскоши и неге, которые ныне попадают в рабство, заставляющее их переносить все горести и страдания нищеты. Та же участь постигла и многие свободные города страны, попавшие во власть чужих; подавленные неволею, они испытали все горести и все тяжести, какие захотели на них возложить их новые господа». Из рассказа хрониста видно, что Молдавия «более, чем какая-либо другая страна, была подвержена этим страданиям и этим несчастьям». «Самая страшная рана, — продолжает хронист, — отнятие Хотина — должна была завершить все бедствия, жертвой которых она была за последнее время. Как рана, которую не лечат, ослабляет все тело и приносит в конце смерть, так потеря Хотина для Молдавии — незарубцованная рана, ведущая к большой слабости и к печальному упадку, как покажет будущее».

Все же сам Хотин и округа его при турках как будто не бедствовали. Сохранилось описание Хотина, написанное неким турецким чиновником и поэтом того времени, которого цитирует Кочубинский и сочинение которого было переведено на немецкий язык и опубликовано в сборниках Венского университета.

Богатый и изящный Хотин стал даже центром турецкой культуры на границе Польши. Турецкий автор восторженно описывает сады, бани, казармы янычар, дворец командующего, мечети и ворота с надписями в стихах, которые он же сочинял, «сарай» Колчака-паши, кладбища, «где спит много храбрых мужей». Он говорит и о ценной библиотеке, и о дешевизне яблок, и о малине, которую вывозили в Константинополь... Все это, конечно, особенно было дорого турецкому поэту, когда он писал о Хотине уже после того, как Хотин был взят Минихом, разграблен и разорен русскими в 1739 году.

Хотя русские источники об этом не упоминают, но турки говорят, что после сдачи города в нем была резня. Когда в 1714 году русские, воюя со Швецией, взяли Вильманstrand, то резня, вероятно, была, и турецкий посол в Петербурге заметил своему французскому коллеге, что «резать жителей, по взятии города — «русский обычай» и что так они поступили и в Хотине два

года раньше. Но ни у Манштейна, ни у Марковича, свидетелей сдачи Хотина, об этом нигде не говорится.

* * *

В 1730 году дворцовый переворот низложил султана Ахмета III и возвел на престол Махмуда I. В 1732 году Колчак получает чин мир-и-мирана и назначается санджак-бсем Янины в Албании, но остается губернатором хотинским.

В 1735 году началась война Турции с Австрией и Россией. Ее прямая причина — усиливающееся влияние России в Персии, на Кавказе и, в частности, в Кабарде. Турки ведут наступательную войну в Сербии и Венгрии, а русские силы под начальством Миниха и Ласси входят в Крым и разоряют Бахчисарай. В октябре 1736 года Колчак и господарь Молдавский вызываются в Константинополь для разработки планов следующей кампании, и Колчак получает звание визиря. Кроме посылки незначительных отрядов татар и арнаутов в экспедиции на левый берег Днестра, турки держатся только оборонительно на русской границе, нанося главные удары австрийцам.

В 1737 году Миних идет на Очаков и берет его приступом. Сераскир Очакова Ягия-паша взят в плен с остатком гарнизона. Великий Визирь впадает в немилость. Колчак назначается временно главнокомандующим сераскиром турецкой армии на русском фронте до прибытия Вели-паши, назначенного на эту должность.

В декабре 1737 года Колчак принимает в Хотине Нащокина, посланного для переговоров, но Нащокина он держал и не пустил в Константинополь.

Только в 1739 году Миних идет на Хотин. Он переходит Днестр выше Хотина, занимает Черновцы, проходит со стычками с неприятелем Перекопские узины и встречает турецкую армию у деревни Ставучаны.

* * *

Ставучанское сражение произошло 17 августа 1739 года. Оно интересно тем, что предоставляет нам данные для оценки того уровня, на котором находилась русская армия и военное искусство ее командующих в период времени после смерти Петра Великого и до елизаветинских и екатерининских полководцев. Уроки и опыт петровских войск не были забыты, и русские войска времени Императрицы Анны Иоанновны были уже настоящими европейскими войсками, владеющими современной военной техникой, в частности, артиллерийской.

В известной степени Ставучанское сражение представляет из себя очень хорошоскомпонованную и элегантно начерченную батальную картину XVIII века.

Манштейн с некоторым европейским презрением относящийся к «азиатчине», пишет, что этот бой был победой военной науки и дисциплины над варварством. Но это не совсем так. Ставучаны — это, конечно, победа военной

техники своего времени, которую имела одна сторона — в данном случае русская — и которой еще не достигла другая сторона — турецкая армия, хотя обе стороны проявили примеры личного мужества и жертвенности. Короче говоря, это была победа артиллерии, и именно полевой артиллерии, над пехотой и конницей, слабо поддержанными и прикрытыми артиллерийским огнем.

Турецкая конница совсем не была беспорядочным сбродом. В Венгрии, Сербии и Трансильвании, действуя в ту же пору против австрийских войск, она одержала ряд блестящих побед: Ниш, Оршова, Берград и, наконец, при Гродске в июле 1739 года. Потери австрийцев были так велики и казна так истощена войной, что Вена принуждена была подписать мир с Турцией на условиях настоящей капитуляции, и это несмотря на то, что имперские генералы были учениками и сотрудниками знаменитого принца Евгения.

Русская армия под командованием Миниха направилась, как было сказано выше, к Хотину из Черновца 6 августа и прошла через так называемые Перекопские узины между Днестром и Прутом в три дня. Турки намеренно не препятствовали проходу русских войск через легко обороняемое ущелье, т.к. по плану главнокомандующего, Вели-паши, турки намеревались вовлечь русскую армию в западню и, окружив ее и отрезав от путей снабжения, повторить то, что ими было так удачно проведено в 1711 году с армией Петра Великого при Пруте.

15 августа русские войска подошли к речке Шуланец и развернулись на небольших высотах по ее правому берегу. Современные гравюры дают очень ясное представление об окружающей местности. У подножия невысокого плоскогорья, на котором выстроились русские, течет речка с прудами и болотцами. Эта речка составляла как бы первый ров, прикрывающий турецкие позиции на противоположном берегу. На левом фланге находились последние отроги Хотинских высот, покрытые густым лесом, и деревня Недобаевцы. Справа глубокие овраги и крутой холм. В отдалении, на северо-восток, деревня Ставучаны. Непосредственно на восток, справа, деревня Долины.

Турецкий лагерь и полевые укрепления были на возвышении и преграждали долину, по которой шла дорога на Хотин. Этот лагерь был расположен так, что с правого берега Шуланца русская артиллерия его не достигала. Турки поставили свою пехоту и артиллерию в центре, а по флангам конницу, чтобы взять в клещи русских в случае их переправы через реку.

На опушке леса, прикрывающего Хотинские высоты, на турецком правом фланге стояли катаны (тяжелая конница) Колчак-паши, у подножия холма, на левом фланге, сипаги (легкая конница) молодого Генж-али-паши. В тыл русским стягивалась полурегулярная татарская конница (ногайцы) под командованием аккерманского султана Ислам-Гирея; она должна была отрезать русским отступление. Ружейный огонь русских арьергардов держал ее на некотором расстоянии.

Окруженная таким образом, тревожимая и днем и ночью противником,

русская армия простояла так двое суток и начала уже чувствовать недостаток в сене и дворах.

17 августа утром Миних приказал атаковать. Русское командование, давая время войскам отдохнуть два дня до боя, имело одновременно возможность изучить расположение неприятеля и заметить, что слабое место его позиции было на левом фланге, между главным лагерем главнокомандующего Вели-паши и легкой кавалерией Генж-Али-паши. По-видимому, турки не сочли нужным особенно укреплять это пространство, считая, что оно достаточно заграждено болотистыми берегами Шуланца. К тому же Вели-паша растянул свой фронт почти что на 18 верст.

Соотношение же войск было следующее: на позиции Недобаевцы — Ставучаны Вели-паша стянул 70-80 тысяч человек, включая хотинский гарнизон почти целиком. С русской стороны приняло участие в сражении 33823 человека регулярных войск и 8 тысяч нерегулярных. Турки располагали 70-ю орудиями, русские же имели 250 полковых и полевых орудий.

Миних, решивши атаковать неприятельский лагерь через его левый фланг, употребил сначала «воинскую стратагему» и сделал вид, что русские войска «якобы неприятельский ретрашамент атаковать хотели». Чтобы скрыть от неприятеля направление главного удара, Миних двинул со своего центра, через Шуланец, отряд подполковника Густава Бирона — 9 тысяч человек при 2-х полковых орудиях и бригаду полевой артиллерии. Турки, приняв это движение за фронтовое наступление всей русской армии, начали стягивать свои силы перед своим лагерем и укреплять его новыми окопами. Отряд Густава Бирона медленно продвигался по направлению к турецкому лагерю под прикрытием полевой артиллерии, перешедшей с ним Шуланец. Тот же Шуланец, изгибающийся слева от него к северо-западу, прикрывал его от возможной атаки конницы Колчак-паши.

В час дня Густав Бирон начал отступать и переправляться обратно за реку. Вели-паша решил, что Миних убедился в невозможности атаки и что победа уже намечается для турок. Колчак-паша дал об этом знать в Хотин. Но, как пишет Галем в своей книге «Жизнь графа Миниха», после этой радостной вести Колчаку самому скоро пришлось принести в Хотин другую — «весьма фатальную».

Одновременно с отступлением Густава Бирона правое крыло русской армии под командою Карла Бирона двинулось на восток по направлению к деревне Долины. Артиллерия развернулась на высоте ближе к Долинам для поддержки наступавших. Одновременно саперные части исполнили блестящее действие: фашинами, шанц-коробами, досками, ветками они смогли укрепить переход через болотца у реки и навести 27 мостов через реку. Вся армия начала быстро переправляться и развертываться на левом берегу Шуланца: авангард Карла Бирона, гвардия Густава Бирона, «кордебаталия» А.И. Румянцева, левое крыло Левендаля.

Быстро перетаскив артиллерию, русские начали покрывать своим огнем

турецкую пехоту и самый лагерь главнокомандующего, сбивая одновременно батареи, которые турки пытались поставить для защиты своего левого фланга. Несмотря на непрерывные нападения турок, русская пехота прорвалась к лагерю Вели-паши. В 5 часов дня 13 тысяч пеших янычаров двумя колоннами пошли в контратаку.

В записках Семена Порошина, губернатора Павла I, упомянуто, что 17 декабря 1764 года у Павла Петровича, тогда еще Наследника, обедал дежурный майор Любим Артемьевич Челищев, участник Ставучанского боя, случившегося 25 лет до того. Порошин пишет: «Еще сказывал тут Любим Артемьевич о порядке, каким образом они маршировали во время турецких оных походов и как атакуют турки. Янычары их, как известно, во время боя весьма легко одеты: туфли на босу ногу и в одних камзольцах, наступают бегом колонною, которая спереди фруту малова, а что далее взад, то шире, имеет фигуру трапеции».

Все современники пишут, что выдержать первый натиск турок очень трудно, и что их атаки холодным оружием были страшны: янычары бросались на противника с дикими криками и в состоянии исступления, доходящего до безумия. Но если такую атаку удавалось остановить, нанося атакующим сильные потери, то деморализация наступала очень быстро и уцелевших было очень трудно и даже невозможно снова собрать и повести в новую атаку.

Так оно и случилось при Ставучанах с пешими янычарами: русский артиллерийский огонь очень быстро выдвинутых на новые позиции батарей косил их ряды. Замешательство начало превращаться в отступление.

Тогда Колчак-паша двинул свою тяжелую конницу в атаку на арьергард Левендаля и на левый фланг «кордебаталии» А. И. Румянцева. Манштейн и граф Эрнст Миних (сын фельдмаршала) описали и эту последнюю фазу боя. Колчак повел сам 10000 отборных всадников «серденгечетов». Барон Тотт говорит, что так называли турки волонтеров, намеренных или победить, или умереть. (Скептический барон, однако, добавляет, что ни того, ни другого никогда с ними не случается...)

Победить турецкой коннице под Ставучанами не пришлось, но погибло людей довольно много. Скача широким фронтом на русских, янычары наткнулись на особые рогатки против конной атаки, которыми успели оборониться русские. Надо было шесть солдат, чтобы переносить каждую рогатку. Они требовали колоссального обоза, чтобы следовать за армией во время похода, и Миних вез с собой множество этих рогаток на многочисленных подводах. Но именно эти рогатки и оказали губительное препятствие для турецкой конницы. Натыкаясь на них, лошади падали, всадники, которым удалось сдержать коня, вносили расстройство в ряды идущих за ними товарищей. Под ружейным огнем, под ядрами русских пушек, теряя людей, турки не смогли врезаться в русские ряды, и уже было видно, что на высотах, защищающих Хотин, отступление главных пехотных сил превращалось в бегство.

Вели-паша, бросив свой лагерь, отступал тоже, но не на Хотин, а влево к

Днестру и Бендерам. За ним последовали и оставшиеся янычары, а также и те войска, которые были выделены из хотинского гарнизона и участвовали в сражении.

Колчак не смог собрать своих янычар и с маленьким числом всадников, его не бросивших, поскакал в Хотин. Было семь часов вечера, когда он оставил поле битвы, и была уже ночь, когда он доскакал до крепости, в которой командовал в его отсутствие его сын Мехмет-бей и где оставалось только 700 человек гарнизона, вместо 10000, которыми он располагал до сражения.

Извещая о победе, Миних писал Государыне: «Всемогущий Господь, который милостию Своею нам предводителем был, всевышнейшею Своею десницею защитил, что мы чрез неприятельский непрерывный огонь и в такой сильной баталии убитых и раненых менее 100 человек имеем: все рядовые полученной виктории до полуночи радовались и кричали: «Виват Великая Государыня!», и означенная виктория дает нам надежду к великому успеху, понеже армия совсем в добром состоянии и имеет чрезвычайный кураж».

Дорога на Хотин была открыта для русских.

Миних обложил крепость войсками и потребовал немедленной сдачи. Для переговоров были посланы князь Дмитрий Кантемир и В. П. Капнист, полковник Миргородский (впоследствии бригадир, погибший геройски при Гросс-Егерсдорфе в Семилетнюю войну, командуя Слободскими полками).

«В два часа ночи паша и гарнизон сдались. Командир крепости и ага янычаров передал маршалу ключи города. Часовые заняли выходы, и тогда паша, с большой свитой, пришел навстречу маршалу, находившемуся в одном из домов пригорода, и передал ему свою саблю. 31-го турецкий гарнизон, состоящий из 763 человек, вышел из крепости и сдал оружие и знамена» («Мемуары» Манштейна).

«На другой день, — пишет Эрнст Миних, — по завоевании города, утром рано армия, выступая из лагеря, расположилась в строй, и по отпетии благодарственного молебствия выпалено из 101 пушки с Хотинской крепости, при троекратном беглом огне от всей армии. Потом отец мой в провожании паши, янычарского аги и других знатнейших турецких чиновников, поехал, все верхами, от одного крыла на другое. При сем случае означенный паша отозвался, что хотя турецкая армия обще с татарами и составляла с лишком сто человек, однако признаться ему надобно, что невозможно было противустоять такому войску, какое он сейчас видит, где столь хорошая дисциплина и послушание введены, присовокупя к тому, что «огонь российской армии несравненно превосходнее турецкого».

В оный же день сей паша, Колчак, обще с некоторыми другими турецкими пленниками, уощены от отца моего обеденным столом...»

Манштейн же пишет следующее: «Колчак-паша говорил, что все несчастья, которые они испытали за эту компанию, произошли из-за плохих мер, принятых их начальником сераскиром Вели-пашой. Он ему ставил в вину то, что он остался слишком долго под Бендерами с большой частью армии и что

он не захотел последовать его совету препятствовать русским переход через Перекопские узины. Вели-паша захотел дать им пройти, в убеждении, что он уничтожит их армию без боя, отнявши у них возможность снабжения провиантом и только постоянно их беспокоя. Этот план был бы не плох, если бы у него под начальством были другие войска — не турки и не татары, — и противником не такой генерал, как граф Миних. Паша еще прибавил, что он был удивлен скоростью русского огня, особенно артиллерийского, который всюду наносил очень большие потери их войскам».

Эти детали любопытны. Они объясняют преимущества русской армии того времени над турецкой: артиллерия, дисциплина, правильная концепция Миниха.

Несколько пренебрежительные слова Колчака по отношению к «туркам и татарам» выдают в нем босняка (хотя Вели-паша был тоже балканец из Албании). Балканцы в XVII и XVIII столетиях считали себя лучшими турками: они считали турок из Малой Азии ниже себя и называли их «туркачами».

Комплимент по адресу Миниха — очень в стиле XVIII века, как и обед, данный Минихом пленным турецким офицерам, на котором «подносили им за здравие Императрицы, которое запивали они, в противность заповедания от Магомета, венгерским вином из больших бокалов». Вероятно, Миних вспомнил Петра Великого после Полтавы и его «засдравный кубок» с пленными шведскими офицерами...

* * *

Большинство жителей Хотина успело убежать с имуществом в соседнюю Польшу, в воеводство старого приятеля Колчака гетмана Потоцкого.

Семья Колчака, его жены и наложницы и малолетний сын Селим-бей, которому было 11 лет, получила разрешение уехать в Турцию, по настоянию самого Колчака. Он объяснял это тем, что отъезд его семьи в Турцию послужит ему в защите перед султаном, когда ему придется дать отчет за сдачу крепости, которую защищать он не мог, не имея в ней гарнизона.

Старший сын Колчака, Мехмет-бей, был увезен в Россию. Ему было 35, и он был в чине не ниже майора. В конце реляции Миниха о взятии Хотина имеется «Реестр тем знатным персонам, которые при взятии Хотина военными пленными сдались:

1. Командующий Колчак, паша трехбунчужный.
2. Его сын, который в отсутствие отца каймаканом служил.
3. Эмир мулла или духовный.
4. Янычарский ага Солиман.
5. Комендант Ахмат ага ерлы Азаза...»

Потом топши баша — командующий артиллерией, тефтердар ефенди или обер-криг-комассар, янычарский судья, обер-вагенмейстер, городской судья, плац-майор, 6 янычарских майоров, 5 адъютантов, 7 офицеров из арсенала и

2 инженерных офицера. Привожу этот список, потому что он дает некоторое представление об организации командного состава турецкой крепости того времени.



После сдачи комендантом города Миних назначил генерал-майора Хрущева, а генералу Густаву Бирону было приказано возвращаться на Украину с тремя батальонами гвардии и несколькими полками. С ними было уведено 2121 человек мужчин, женщин и детей, захваченных в Хотине. Младший сын Колчака-паши Селим-бей, увезенный в Турцию, был впоследствии офицером у султана. Он умер в 1808 году в чине «хасса силахсар» и похоронен на кладбище в Хайдар-паша в Стамбуле.

Колчак-паша ехал в карете Бирона через Каменец-Подольск, Киев и Петербург. Маркович, «подкарбий малороссийский», отметил это в своих записках так: «26 августа 1739 года. Скоро свет дивизия наша рушила в путь. Пленники посередине, паша ехал в генеральской карете: а при генерале и мы». По странному совпадению, через 180 лет, в 1919 году, из Каменец-Подольска, через Хотин, Ставучаны, Черновцы был вывезен из России его прямой потомок, 9-летний мальчик, сын Верховного Правителя, пишущий эти строки.

Отец был тогда в Сибири, мать моя смогла выйти из Севастополя на английском военном корабле и поселилась в Бухаресте. Во времена большевиков и немецкой оккупации она скрывалась с фальшивым паспортом у разных знакомых и в семьях нескольких матросов, которые помогли жене своего бывшего Командующего флотом. Моя мать отправила меня в 1918 году к своим друзьям детства, польским дамам, в Каменец-Подольск.

Из Бухареста и при содействии начальника английской военной миссии была организована маленькая экспедиция в Хотин. Молодой человек, сын адмирала Федосьева, переправился через Днестр до Каменца, который был в это время во власти «зеленых», и вывез меня на извозчике до Днестра — это было верст двадцать...

Я очень помню переправу через Днестр на маленькой лодке. Солнце только что зашло. Днестр был стального цвета, и его быстрое течение относило лодку влево, где чернели остатки взорванного моста железной дороги. На другом берегу, справа на скале, стояли развалины замка, генуэзская башня и турецкие стены Хотина, те самые, что мой далекий пращур сдал Миниху в 1739 году...



После взятия Хотина Миних с армией пошел на Яссы и перешел тот самый Прут, который не принес удачи войскам Петра Великого. Эрнст Миних по этому поводу замечает следующее: «Когда отец мой через сию проклятую реку без всяких затруднений переправился, то сие подало ему повод на пи-

сать в посланной ко Двору реляции, что он поносный Прут сделал опять честным...»

Победа Миниха пришла все же слишком поздно. В это же самое время разгромленные турками австрийцы подписали прелиминарии к Белградскому миру. Миниха в Яссах встретил митрополит и местные оставшиеся власти. Митрополит произнес проповедь — было замечено, что она была на странный текст из Св. Писания: «Господь да благословит вхождение и исхождение свое...»

Приказ из Петербурга, где решили прекратить войну, повелевал войскам возвращаться в Россию. Это привело Миниха в бешенство, и он послал резкое письмо австрийскому канцлеру кн. Лобковичу. С Минихом должен был покинуть Молдавию и каймакан кн. Кантакузин; так же, как за Петром, в Россию ушел кн. Дмитрий Кантемир.

Через два года будет переворот царевны Елисаветы Петровны, свергнувший Правительницу Анну Леопольдовну и ее сына — маленького Императора Иоанна Антоновича. Погибнет в Шлиссельбурге и в Холмогорах вся Брауншвейгская династия. Фельдмаршал Миних будет приговорен к четвертованию, но по милости Императрицы сослан в Пелым, где проживет все ее царствование — 20 лет! Генералы Бироны пострадают вместе со своим братом — Регентом. «Мемуары» гр. Эрнста Миниха, сына, из которых я привел несколько цитат, написаны им в Вологде, за время его ссылки, в «назидание детям»...

По странному стечению обстоятельств, полтора года после Хотина, в XX столетии, Колчаки и Минихи породнились: одна из прапрабабушек жены адмирала и моей матери была Елеонора Доротея Миних, племянница фельдмаршала.

* * *

К взятым в плен турецким офицерам русские отнеслись очень благородно. Колчак-паша, как было сказано выше, ехал в Петербург в общей карете с генералом Бираном.

В бумагах кабинет-министров Императрицы Анны Иоанновны (в то время кабинет-министрами были Остерман, кн. Черкасский и Вольтер), опубликованных в Сборниках Императорского Русского Исторического Общества, и в архивах Сената имеются два указа, касающихся Колчака. Вот выдержка из одного из них, датированного 25 декабря 1739 года.

«Из кабинета Ее Императорского Величества в главную полицейскую канцелярию. По Ее Императорского Величества указу велено взятых в Хотине в плен турецкого сераскира Колчак-пашу и с ним несколько турок офицеров привезти сюда, которые уже в пути и будут сюда вскоре, и оным для житья потребно отвести от полиции квартиру на С.Петербургском острове, подле той, где прежние турки поставлены. Очаковский сераскир Ягья-паша с прочими, а именно двор лейб-гвардии Измайловского полка майора Шипова, а буде б одного того двора было мало, то после его и другой двор или несколько

покоев для них отвести; а при том сераскире турок офицеров, да служителей будет до 70 человек...»

Прочие распоряжения даются С.Петербургскому оберкоменданту Игнатьеву.

«Начало 1740 года было примечательно великолепнейшим торжеством, какого никогда в России не бывало, по поводу заключенного между империей и турками мира», — пишет гр. Эрнст Миних.

Императрица Анна Иоанновна любила пышность и приказала отпраздновать заключение Белградского мира большими торжествами. Миних и все участники войны были щедро вознаграждены.

«На другой день (15 февраля. — Р.К.) пополудни, — продолжает гр. Эрнст Миних, — было опять собрание при дворе. Как скоро Императрица из своих внутренних покоев вытти изволила, жаловала она собственноручно золотые медали, на случай заключенного мира чеканенные; самые большие медали содержали весом 50, а меньшие 30 червонных. Все, как присутствующие, так и отсутствующие знатные особы, считая от генерал-фельдмаршала до генерал-майора и чужестранные министры получили по одной из упомянутых медалей.

После сего Императрица, подошедши к окну, обращенному к площади перед дворцом, приказала бросить собравшемуся многочисленному народу золотые и серебряные жетоны; а потом изволила смотреть на предивное и необычное в России зрелище, а именно: что народ по данному сигналу бросился на выставленного на площади жареного быка и другие съестные припасы, равно как и на вино и водку, которые фонтаном били в нарочно сделанные большие бассейны.

К вечеру был бал, на котором содержащийся по днесь в плену сераскир Ягя-паша, купно с пашой Хотинским имели честь быть представлены Императрице; причем первый приносил монархине за все отпущенные высокие милости, с текущими из глаз слезами, благодарение краткою на турецком языке, но преисправно сложенною речью.

Императрица явила к сим двум мужам знаки своих щедрот; а именно — сераскиру пожаловала соболью шубу ценою в несколько тысяч рублей, а паше Хотинскому драгоценную шубу из куниц в подарок».

Волошский хронист Дапонитес приводит и эту речь «преисправно сложенную». Он пишет, что турецкие генералы благодарили Императрицу за то, что со дня плена они пользовались императорским благоволением. Они свободно были допущены ко двору, и солдаты, которые их охраняли, всегда относились к ним с почетом. Они заверяли перед Богом, что никогда не перестанут восхвалять имя Императрицы и молиться за счастье и благополучие Ее Величества. Они кончили краткой молитвой, в которой призывали Небесное Благословение на обе империи и на Ее Величество Царицу.

На аудиенции Императрица даровала свободу обоим. Это произошло в феврале 1740 года; но в августе паши все еще были в Петербурге.

Что же случилось? Очень любопытные детали дают депеши французского поверенного в делах маркиза Ла Шетарди своему министру Амелоту в Париж и маркизу Вилленеву, послу Франции в Константинополе.

27 августа 1740 г. Шетарди пишет в Париж: «Здесьшний Двор все еще глубоко огорчен тем, что Порта использовала русских гребцами на галерах и, думая принудить турок к лучшему исполнению условий мира, хочет применить репрессии: очаковский сераскир, паша Хотинский и другие важные военнопленные, которые еще здесь, не скоро получают свободу уехать».

Обмен военнопленными происходил медленно. Анна Иоанновна справедливо возмущалась, что турки не торопились возвращать русских, взятых ими в плен, и велела приостановить отправку пленных турок.

Вилленев же пишет, что султан в большом затруднении, так как часть пленных была продана в рабство во время войны, и он не может их освободить иначе, как выкупая их от частных лиц из собственной казны.

Из этого видно, что частная собственность в Турции уважалась и сам султан был бессилён в подобных случаях, а цены на невольников, конечно, возросли после заключения мира.

Все же паши уехали в Киев. Сопровождал их генерал Н. И. Румянцев, брат посла, который несколько раньше выехал в Константинополь с огромной свитой и обозом. Навстречу же ехал, тоже с грандиозным обозом, турецкий посол Эмин Мехмет-паша. Эмин-паша встретил Н. И. Румянцева и сераскира в Мценске в ноябре 1740 г.

В Русском Биографическом словаре (статья Румянцев Н. И.) сказано следующее: «Кабинет еще раньше удивлялся, что Румянцев ничего не пишет о поведении и склонности посла, об изъяснениях его о делах и состояниях здешних, о том, какие он получает указы из Порты, о чем он пишет от себя, о чем говорил с встретившимися в Мценске сераскиром и Колчак-пашою, ехавшими из Петербурга».

Как это ни покажется странным, но можно восстановить то, о чем посол говорил с Колчаком. В эти времена издавался в Амстердаме, по-французски, ежемесячник «Исторический Меркурий». Редакция получала каждый месяц сообщения своих корреспондентов из всех столиц Европы, а также из Константинополя. Приходится признать, что журнализм был уже хорошо поставлен в первой половине XVIII века. Сводки событий издавались лишь с двухмесячным опозданием! Но тогда и никто не торопился...

Так, в мае 1740 г. из Константинополя пишут: «Здесь ходит слух, что Али-паша, который командовал частью войск в Ставучанском бою около Хотина и который был взят в плен, умерщвлен по дороге при возвращении его сюда из России, но что он дорого продал свою жизнь, убивши своей рукой восемь человек из тех, которые должны были его умертвить».

В июне 1740 года дано другое сообщение:

«Бывший Хотинский паша, взятый в плен русскими и увезенный в Петербург, был обезглавлен по приказу султана по возвращении паши из Петербурга

в Константинополь и его голова послана в эту Оттоманскую столицу, где она выставлена на пике».

Но известие о смерти Колчака было ложно, так как в июне он был еще в России, как видно это из депеш Шетарди; турецкий посол переправился через Буг лишь 28 октября и встретился с Колчаком в Мценске лишь в ноябре.

Товарищ же Колчака по плену, Ягя-паша, сераскир Очаковский, вернулся в Константинополь с Румянцевым-послом лишь в марте 1741 года. Гаммер в своей истории Оттоманской империи упоминает о возвращении сераскира Очаковского и ничего не пишет о Колчаке, потому что тот не вернулся, а решил он не возвращаться, потому что турецкий посол при встрече рассказал ему, что случилось с Али-пашой и что его ожидает, если он вступит на территорию Оттоманской империи.

Султан Махмуд, относившийся к Элиасу-паше очень благосклонно, не простил бы ему сдачу Хотина: друзья при дворе у него были, и среди них, по-видимому, и Эмин-паша, которого он встретил в Мценске. О дальнейшем можно узнать и догадываться из «Хроники Дакийской» упомянутого выше Константина Дапонтеса.

Этот Дапонтес был при дворе господаря Константина Маврикордато в Бухаресте. Ему было поручено господарем вести записи с начала русско-турецкой войны 1734 года.

Дапонтес, фанариот, лояльный по отношению к султану, много раз упоминает о Колчак-паше: в частности, он рассказывает о похвальном письме, полученном Колчаком за несколько дней до Ставучанского боя из Константинополя от Каймакана-паши, заместителя великого визиря, который тогда командовал в Сербии против имперцев. Это письмо, выражающее благоволение султана, интересно тем, что оно передает заботу султана о гражданском населении Молдавии и, в частности, его строгий приказ смотреть за тем, чтобы население как можно меньше страдало от военных действий...

Но сдача Хотина имела слишком большое значение для Турции, и, по-видимому, султан и Великий Визирь были в великом гневе, хотя очевидно, что защищать Хотин против всей русской армии, имея всего лишь 700 человек гарнизона, было невозможно. Предупрежденный, несомненно, турецким послом, что, вернувшись в Турцию, ему своей головы не спасти, Колчак-паша не вступил больше на турецкую территорию и, по-видимому, из Киева отправился в Галицию, в Станиславов, владения и крепость гетмана Иосифа Потоцкого. Хотя документальных данных я еще для этого пока не нашел, но вот как я восстанавливаю историческую вероятность дальнейшего.

Константин Дапонтес рассказывает, что еще до своего плена Колчак успел вывезти и государственную, и личную казну в Станиславов, которого Потоцкий был воеводою. Князь Дмитрий Кантемир, который ушел из Молдавии с Петром Великим, снарядил целую экспедицию, чтобы захватить Станиславов и казну. Для Дапонтеса Кантемир, которого он величает «Дмитрашкою», разбойник и изменник. А его набег на Станиславов — город нейтральный —

просто попытка грабежа. Но гарнизон Станиславова не сдался, и Кантемир удалился с угрозами и проклятиями, разграбив Городенку.

Совершенно естественно, что из Киева освобожденный Колчак-паша отправился за помощью к старому другу и союзнику Потоцкому, тем более, что его казна охранялась людьми Потоцкого. Потоцкий же, будучи гетманом при короле Августе III, все же оставался верен Станиславу Лещинскому. Его постоянной мыслью было поднять конфедерацию для восстановления Лещинского при помощи Турции и Франции. Ставучанская победа Миниха разбила окончательно эти планы, но старого своего союзника-турка, по-видимому, Потоцкий не оставил, ибо, по отзыву современников, Потоцкий был человек благородный и для «рыцарских дел рожденный».

По-видимому, Колчак-паше не очень долго осталось жить во владениях Потоцкого, так как около 1743 года некий Бенуа, поверенный в делах Лещинского, Потоцкого и Тарло, главы Дзиковской конференции, в Константинополе просит султана, чтобы тот назначил в Хотин (возвращенный русскими Турцией) и в Бендеры таких же «честных пашей, как покойный Колчак».

Потомки Колчак-паши получили в Галиции польский «индигенат» и были причислены к гербу «Боньча» (белый единорог на лазурном поле).

При Екатерине Великой и после третьего раздела Польши правнук паши окажется в Бугском казацьем войске, при атаманах, князе Радукане Кантакузене и Краснове.

Это уже эпоха основания Одессы и колонизации Новороссии.



В моем предыдущем очерке я довольно много рассказывал о далеком пращуре адмирала, Александра Васильевича, турецком военачальнике, взятом в плен Минихом в 1739 году. Это дало мне возможность вспомнить пятилетнюю войну с Турцией при Императрице Анне Иоанновне — эпоху забытую и сравнительно мало разработанную военными историками. Труды же Масловского, Мышлаевского, Байова и Кочубинского, которые ею занимались, труднодоступны за границей.

Люди XIX столетия, о котором я теперь пишу, не оставили, конечно, громкого имени в истории. Таких, как они, были тысячи, десятки тысяч, но они характерны для своей эпохи, и рассказывать о них, мне кажется, стоит.

История любой семьи имеет свой социологический и исторический интерес. То, что я буду рассказывать, — это, в сущности, история служилого дворянства в XIX веке. Я хотел бы показать на примере моей семьи, из каких людей это служилое, мелкопоместное дворянство составилось, как достигалось дворянское сословие, как подымались и опускались отдельные семьи на ступенях социальной пирамиды Русского государства и как это сословие участвовало в жизни и развитии России.

О периоде жизни семьи Колчак в Галиции и Подолии во второй половине XVIII века у меня нет точных данных. Будучи православными, военными по

традиции и семейному укладу, происходя от бывшего подданного Османской империи, они, естественно, служили в частях, сформированных из христиан — бывших турецких подданных: молдаван, волохов, арнаутов, как на территории Речи Посполитой, так и на окраинах, завоеванных Россией.

Во всяком случае, прадед адмирала Александра Васильевича — Лукьян Колчак, был сотником Бугского казачьего войска во времена Императора Павла и Александра I. Этот сотник Лукьян получил землю в надел в Ананьевском уезде Херсонской губернии, недалеко от Балты, Жеребкова и Кантакузинки.

Бугское казачье войско многочисленным не было. В 1803 году оно насчитывало 6383 души мужского пола, но бугские военные способствовали колонизации и развитию Новороссийского края. Отошедшие к России, после Ясского мира (1791 г.), степи Едисана, где до русских были лишь кочевья ногайских татар, заселились переселенцами из соседних губерний, старообрядцами, болгарам и другими задунайскими народами. В это же время была основана Одесса, которая быстро развивалась, сперва при герцоге Ришелье, а затем при гр. Ланжероне (ему были подчинены Бугское и Черноморское казачьи войска) и при гр. Воронцове (впоследствии князе).

Собственно говоря, история Бугских казачьих полков и военных поселений по Бугу, а потом по Днестру восходит к войне с Турцией 1769 года, когда кн. Радукан Кантакузен, русской службы полковник, присоединился вместе с гусарским Волошским полком, сформированным им в Валахии, к армии Румянцева для участия в войне против турок.

Румянцев и потом Потемкин образовали казачьи поселения и полки, носившие разные названия. Эти казаки участвовали во всех войнах с Турцией, а в мирное время держали кордоны по Бугу, Дрестру и по берегу Черного моря

Кн. Николай Радуканович Кантакузен (1763-1841) поступил на русскую службу в 1790 году подполковником Екатеринославского казачьего войска, участвовал во взятии Измаила и во время Турецкой войны 1806-1807 гг. был атаманом Бугского казачьего войска.

Служба Лукьяна Колчака, современника кн. Н.Р.Кантакузена, шла под его начальством, а потом под начальством атамана Ивана Кузьмича Краснова, убитого в 1812 году при Бородино.

Впоследствии, в 1818 году, из Бугского казачьего войска сформированы были четыре Бугских уланских полка. О Бугском казачьем войске детально рассказывается в «Хронике Российской Императорской Армии», изданной в 1852 году. Вот краткая выписка из нее:

«В 1769 г. при начале войны между Россией и Османской Портою, многие из молдаван, валахов, арнаутов и других живущих за Дунаем христианских народов, отложась от Турции, прибыли в русскую армию и в виде волонтеров служили при ней во все продолжение военных действий; по окончании же оных в 1774 г. перешли в пределы России и поселились на земле,

отведенной им на левом берегу реки Буга, между нынешними городами Николаевым и Ольвиополем. В это время в соседстве с ними был поселен полк, составленный в продолжение упомянутой войны при армии генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского, также из задунайских народов, и называвшийся Нововербованным казачьим. Поселенцы сии в 1783 г. фельдмаршалом князем Потемкиным-Таврическим были опять употреблены на службу для содержания против турок кордонов по реке Бугу. В 1788 г. из них сформирован был полк, в 1560 человек, названный Бугским казачьим и участвовавший во все время войны, бывшей тогда между Россией и Турцией» (Т.V, стр. 88).

В 1792 г. присоединен был к тому же войску и польской королевской службы полк «Бугских верных казаков», после утраты Польшей ее юго-восточных окраин. Об этих польских Бугских казаках упоминает гр. Бем де Косбан, служивший в 9-м уланском Бугском полку, в интересной статье, напечатанной в журнале «Часовой» (№ 261, апрель, 1911).

* * *

У сотника Лукьяна Колчака было два сына: старший — Иван Лукьянович, унаследовал часть имения, но, продав ее, купил дом в Одессе и поступил на гражданскую службу. У Ивана Лукьяновича было много дочерей и три сына, из которых старший, Василий Иванович, и был отцом адмирала.

Василий Иванович Колчак родился в Одессе в 1837 году. Вот выписка из статьи о нем, напечатанной в «Военной Энциклопедии»:

«В 1854 г. поступил на службу юнкером в морскую артиллерию. Во время Севастопольской кампании был отправлен конвоировать транспорт пороха в 1 тыс. пудов из Николаева в Севастополь. По сдаче пороха в Севастополе получил назначение на Малахов Курган, где состоял помощником командира батареи на гласиле около башни. 4 августа того же года, за сожжение фашин и туров, приготовленных французами для заложения ложементов перед главной батареей, на Малаховом Кургане, награжден знаком отличия Военного ордена. При последовавшем штурме Малахова Кургана 26 августа был ранен, взят в плен французами и отправлен на Прицевы острова в Мраморном море. По возвращении из плена Колчак окончил курс в институте военных инженеров и был командирован на Уральские горные заводы для практических занятий металлургией».

С 1863 года он служил на Обуховском сталелитейном заводе. Там родился в 1874 году его сын — Александр Васильевич.

Василий Иванович был воспитан в Одессе в Ришельевской гимназии, где в те годы еще были живы манеры, традиции и методы преподавания и воспитания французских эмигрантов, основавших эту гимназию. Василий Иванович был большой франкофил. По характеру он был человек сдержанный, с манерами — по словам моей матери — французов-эмигрантов. Его склад ума был довольно иронический, и его сын, будущий Верховный Правитель,

характером на своего отца походил мало. Гораздо больше влияния на него имела, по-видимому, его мать, о которой несколько слов будет сказано дальше.

Василий Иванович оставил ряд научных статей и «Историю Обуховского сталелитейного завода, в связи с прогрессом артиллерийской техники» (1894). Он также написал очерк «На Малаховом Кургане», переведенный и изданный на французском языке. Эти воспоминания его — живы и забавны. К французам, взявшим его в плен на Малаховом Кургане, он относился с большой симпатией и очень хватил и их армию, и их офицеров того времени. Довольно приятно, что французское военное издательство охотно издало его труд. Василий Иванович издал еще в 1904 году, к 50-летию севастопольской обороны, книгу «Война и плен».

Брат его, Петр Иванович, капитан 1-го ранга (1838-1903) был моряком-артиллеристом. Младший же брат Александр Иванович (1839-1911) — «красавец Колчак» — был тоже морской артиллерии генерал-майор. От него пошла средняя линия Колчаков — три поколения Александров Александровичей, помещиков Тамбовской губернии.

Мать адмирала Александра Васильевича, Ольга Ильинична, была урожденная Посохова («видный одесский гражданин» — по выражению де Рибаса, в его книге «Старая Одесса»). Посоховы из донских казаков. Старшая линия оставалась до революции в Ростове-на-Дону, а другая основалась в Одессе. Андрей Иванович Посохов был последним одесским головой; он был расстрелян большевиками в 1920 году.

Ольга Ильинична, мать адмирала, была гораздо моложе своего мужа и умерла, когда ее сыну было 20 лет (1855-1894). Она, по словам моей матери, была «красивая казачка», спокойная, тихая, добрая и строгая. Воспитывалась она в Одесском институте и была очень набожна. В доме ее отца жили как будто «по старинке». Александр Васильевич ее очень любил и на всю жизнь сохранил память о долгих вечерах, на которые он ходил мальчиком со своей матерью в церковь где-то недалеко от мрачного Обуховского завода, вблизи которого они жили по службе отца.

Александр Васильевич был очень верующий, православный человек; его характер был живой и веселый (во всяком случае, до революции в Сибири), но с довольно строгим, даже аскетически-монашеским мировоззрением. У него были духовники монахи, и я слышал, как он, будучи Командующим Черноморским флотом, навещал одного старца в Георгиевском монастыре в Крыму. Вероятно, эти черты были в нем заложены его матерью.

Из семьи матери адмирала, его ближайшими родственниками и товарищами были два брата Посоховы: контр-адмирал Сергей Андреевич (1866-1935) и генерал-майор Андрей Андреевич (1872-1930). Как и адмирал, оба были участниками японской войны — первый был старшим офицером на крейсере «Олег», второй — в 1904 году начальником штаба Сибирской казачьей дивизии (был награжден «золотым» оружием). В войну 1914 года

Сергей Андреевич, контр-адмирал, был начальником штаба командующего флотилией Северного Ледовитого океана (1916 г.), а Андрей Андреевич, в ту же войну, сперва командовал 92-м пехотным Печерским полком, потом был генерал-квартирмейстером 2-й армии и начальником штаба 12-й армии. Оба брата скончались в эмиграции в Париже.

Александр Васильевич Колчак возвратился из полярной экспедиции на Землю Беннета в Иркутск 6 декабря 1903 г. и с разрешения Главного Морского штаба отправился в Порт-Артур в распоряжение командующего флотом Тихого океана вице-адмирала Макарова. Он был сначала назначен вахтенным начальником на крейсер «Аскольд», потом артиллерийским офицером на минный транспорт «Амур», потом командиром эскадронного миноносца «Сердитый». Во время осады Порт-Артура он командовал 120 мм и 47 мм батареями вооруженного сектора Скалистых Гор, был награжден орденом Св. Анны 1-й степени с надписью «За храбрость», а впоследствии, уже вернувшись из японского плена, в 1905 году пожалован за отличие под Порт-Артуром золотой саблей с надписью «За храбрость» и орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами. Он тогда был в чине лейтенанта, в капитаны 2-го ранга произведен он был в 1908 году.

В Порт-Артуре был и его двоюродный дядя, тогда капитан 1-го ранга Александр Федорович Колчак, сын полковника Федора Лукьяновича, младшего брата деда адмирала. Эта младшая линия Колчаков особенно много понесла потерь. Александр Федорович, будучи контр-адмиралом в отставке, был арестован большевиками в Петербурге и, хотя потом отпущен, умер в глубокой нужде. Его сын, Александр, мичманом отличившийся в японскую войну на «Лейтенанте Буракове», погиб на «Енисее» в 1915 году в Балтийском море. Брат Александра Федоровича, подполковник Петербургской полиции, Аркадий Федорович Колчак, был убит революционером в 1907 году, а сын его, Петр Аркадьевич, штабс-капитан, в гражданскую войну погиб в Киеве в 1918 году при взрыве пороховых складов.

Выше было упомянуто, что отец адмирала, Василий Иванович Колчак, издал в 1904 году книгу «Война и плен». Так вот эти «война» и «плен» повторялись в его семье из поколения в поколение. Какой-то рок приводит старших сыновей его ветви быть вовлеченными в большие военные катастрофы. Как турецкий генерал, его пращур, был при разгроме турок под Ставучанами захвачен в плен в Хотине, Василий Иванович был ранен и взят в плен при штурме Малахова Кургана французами. Его сын, Александр Васильевич, контужен и взят в плен в Порт-Артуре японцами, а сын адмирала, Ростислав, мобилизованный во французскую армию в 1939 году, был взят в плен германцами с остатками 103-го пехотного полка 16 июня 1940 года, после боев, начавшихся на бельгийской границе и закончившихся на Луаре, при разгроме французских военных сил и взятии Парижа.

Так из рода в род повторяются и нашествия иноплеменников, из рода в род жены должны спасать детей из горящих городов, от бомбардировок, голода,

грабежей, расстрелов.... По-видимому, разорение, бегство в чужие страны, изгнание, перемены подданства, языка и даже веры — явления нормальные...

* * *

В 1914 году, когда началась война, Александр Васильевич был флаг-капитаном по оперативной части штаба и был в море с первых же часов войны. Его жена и дети были в Либаве (сыну Ростиславу было тогда 4 года, а дочери Маргарите год). Порт был обстрелян германцами в первые дни войны, и эвакуация семейств морских офицеров прошла в довольно тяжелых условиях. Так Софье Федоровне пришлось спасать детей в первый раз. Маленькая дочка умерла в Гатчине в 1915 году, а сына пришлось вывозить за границу в 1919 году, после очень тяжелых переживаний в Крыму, где и самой ей приходилось скрываться от ареста.

О жене адмирала и моей матери стоит рассказать хотя бы коротко. Она была человек очень незаурядный и «сложной крови». Софья Федоровна родилась в Каменец-Подольске в 1876 году, где ее отец, действительный статский советник Федор Васильевич Омиров, был начальником Каменной Палаты. Он был сыном подмосковного священника: учился в бурсе, потом на юридическом факультете Московского университета. Это был очень порядочный человек, хороший юрист, «маленький Сперанский», ученик и друг Каткова и академика Грота. Он был несомненно положительной фигурой эпохи реформ Александра II и царствования Императора Александра III. Будучи очень скромного происхождения и из духовного звания, он своими моральными достоинствами достиг больших чинов и умер человеком нестарым, ожидая назначения на пост губернатора Подольской губернии, которой фактически управлял последние годы своей жизни.

Мать же Софьи Федоровны была Дарья Федоровна Каменская — дочь генерал-майора Ф.А.Каменского, директора Лесного института, и сестра известного скульптора Федора Федоровича Каменского. Среди своих предков Дарья Федоровна считала и барона Миниха, брата фельдмаршала, елисаветинского вельможу, и генерал-аншефа Максима Васильевича Берга, разбившего Фридриха Великого в Семилетнюю войну, учителя Суворова. Ее же собственный отец был воспитан своим дядей, генералом Григорием Максимовичем Бергом (между прочим, контуженным и взятым в плен при Аустерлице). Все эти старые истории Дарья Федоровна не забывала, и ее рассказы дочери дошли и до меня через записки моей матери.

Софья Федоровна Колчак была очень похожа на свою мать и, по-видимому, унаследовала ее волевой и независимый характер. Воспитанная в Смольном институте, она была очень образованна, знала семь языков, из которых французский, английский и немецкий превосходно. Проявила себя она несколько раз в жизни необыкновенно.

Будучи невестой в 1903 году, когда адмирал Александр Васильевич был в полярной экспедиции, она решила к нему поехать, и одна, девушкой 26 лет,

проехала с Капри в Усть-Янск на Ледовитом океане. Для того времени это было довольно удивительно. Возвращаясь на собаках и на оленях из Верхоянска, Якутска и Иркутска вместе со своим женихом, она в Иркутске узнала о начавшейся войне с Японией. Так как Александр Васильевич, вместо отдыха после экспедиции, подал рапорт о назначении его в действующую армию, то их свадьба была в Иркутске. Из семьи мог приехать один Василий Иванович Колчак, и через несколько дней после свадьбы Александр Васильевич уехал в Порт-Артур, а его жена со своим свекром вернулись в Петербург.

Софья Федоровна выехала из России с сыном в апреле 1919 года во Францию. Уехать в Сибирь к мужу она уже не могла и осталась во Франции до своей смерти; она скончалась в госпитале Лонжюмо около Парижа в 1956 году. Ей было немного меньше 80-ти лет».

КАК В САДУ ПРИ ДОЛИНЕ

Маленькая повесть

1

Сегодня мне шестьдесят пять лет. Пора, можно сказать, подбивать бабки. Распечатываю седьмой десяток, а вроде бы и не жил, лишь приглядываться начал к ней — этой самой жизни, хотя позади чего только не было: нужда сиротская, фронт от звонка до звонка, сума и тюрьма, крым и рым и медные трубы, но все, как во сне или в кино, в один моток спрессовалось, потому и кажется теперь, что не успел пожить. Да, видно, не у одного меня так, век людской, если подумать, воробыниного носа короче: не успел рот открыть, а уж пора челюсть подвязывать. Помню, отбила моя рота высоту под Дрогобычем, ее штрафники до нас трое суток держали, пока не полегли все.

Скатился я тогда стгоряча в первую же в ней траншейку, прямо головой, будто в резиновую подушку, в чей-то живот. В память пришел, смотрю — лежит вдоль траншейки нездешним лицом вверх гллый по пояс и стриженный «под Котовского», лет за двадцать носатый парень с линиялой татуировкой поперек опавшего живота: «Жизнь коротка и обосрана, как детская рубашка». Само по себе и не запомнилось бы, мало ли мне за войну мертвой плоти перевидать довелось, а это вот, видно, из-за наколки той, не забылось, осело в памяти, чтобы нет-нет да и подкатить к сердцу прохватливым сквознячком: «Не гони лошадей, Ваня, за всем не угонишься!» Только ведь не я — жизнь, она меня гнала да так, что передохнуть, оглянуться минуты не складывалось, взашей толкала, рад бы остановиться, а не волен, хочешь не хочешь, иди, да что там иди — беги походной рысью и с полной выкладкой. Еще мать-

покойница не раз, бывало, диву давалась, каким чудом обошла меня — сосунка — косая, когда в первую голодуху после гражданской из пятерых один я в люльке лежа выжил.

Не выжил даже — выкричал до нового хлеба. А потом пошло-поехало: под самую коллективизацию отец слег лихomanкой, да и не встал уже, а настрогать до того успел еще четверых мал мала меньше, оставил нас опять же пятерых на шею у матери, оттого и ученью моему четыре года и пятый коридор, вот и все мои институты, пошел матери помогать, одной бы ей такую ораву не вытянуть. Сначала в колхозной конюшне при конюхах на подхвате, а потом в подпасах, к войне уже сам пастухом был, крутил буренкам хвосты да девок портил. Может, та моя луговая поря и осталась в моей жизни единой отдушиной, когда трава не вяла и солнце не закатывалось, а небо над головой, как снятое молоко — синим отсвечивало.

Война переломила мой век надвое, одна половина осталась там — в деревне, а другая подхватилась и понеслась по свету, куда попутный ветер гнал. Я тогда действительную в Западном округе отслуживал, до демобилизации мне не больше месяца оставалось, меня дома деваха ждала, осенью свадьбу сыграть намечалось, у меня, как у трехлетнего жеребца, от игривой дури промеж ног трещало, я не то что дни — часы по минутам считал, а тут на тебе: «враг будет разбит» услышал во Львове, а «дорогие братья и сестры» дослушивал уже в окружении под Киевом. Такие дни за годы считать можно: земля горела, и воздух плавился, и небо слепо от смоляного дыма.

Фронта не было, тыла — тоже, текла во все стороны горластая людская каша. Текла, растекалась неизвестно куда и неведомо зачем, лишь бы течь да растекаться. Народу тьма, а никого не разглядеть, все на одно лицо, страхом будто золой припорошенные. И разило от каждого зверьем и тленьем, как при зачати и смерти. Я и сам шел, себя не помнил, плыл, как в тифозном жару, ног под собою не чуя. Перегорала во мне душа чадным пламенем, прелой корою опадала с меня прежняя плоть, а в обугленном костяке моем зарождался другой человек с тем же именем и фамилией, но с иными глазами и другим слухом. В общей мешанине вокруг я сразу увидел отдельные лица и в сплошном крике услышал разные голоса.

Они оседали во мне, как горячий раствор в полом каркасе, я словно заново складывался из них в другое, незнакомое еще мне самому существо. Тащились мы тогда на восток слепым табунком, почти без оружия, без знаков различия, со споро-

тыми петлицами, ели, когда было что, и пили, где доставалось, больше по ночам, днем «мессера» секли на бредущем все живое под собой, за одиночками охотой не брезговали, не жалели свинца и секли, будто баловались в беззащитном небе от нечего делать. Помню, проснулся я как-то в куцем подлеске ни свет ни заря, а они уже елозят над головой, высматривают добычу, стервятники. И такая меня вдруг злость взяла, такая ярость, что не выдержал я, распечатался трехэтажным матом. «Ребята, — кричу, — так дальше дело не пойдет, мы что же, как кроли, на своей земле свету белого боимся, мы военное подразделение или бродяжья ватага?»

Знал я наверняка, были среди нас старшие по званию, но никто не заартачился, что солдат командует, видно, мало кому светило в эдакую пору такой груз на себя брать. Под вечер выстроил я свое воинство и выкладываю: «Рота, слушай мою команду. Привести себя по возможности в божеский вид, вооружиться подсобным порядком, кому не по нраву, может мотать на все четыре стороны, но кто по дороге дрогнет, пристрелю, как собаку». Нет, что там говорить, нужен человеку поводырь, нужен, без поводыря человек, как нитка без иглки — ни туда, ни сюда, в собственных ногах запутается. Оттого, когда почует он в ком силу, за тем и тащится, так ему — человеку — спокойнее. Потому и за мной тогда потянулись, что только и ждали, на кого свои заботы свалить и ни о чем больше не думать.

Окажись на моем месте кто погорластей, и за ним пошли бы. Тут главное вовремя объявиться и верные слова отыскать, остальное само приложится. Много у меня за войну передряг случилось, не раз с косой, можно сказать, в обнимку лежал, но того адского броска через приднепровские перелески мне до гробовой доски не забыть. Одних хоронил, других на себе вытаскивал, ремни на баланду резал и воду пополам с кровью хлебал, стрелять нечем было, штыком пробивался, а вывел-таки роту из кольца. Рота, правда, громко сказано, в живых осталось — полтора взвода не наскрести, но уж с теми, кого Бог миловал, можно было после этого в огонь и в воду с закрытыми глазами. Вышли, будто прицеливались, прямо на охранение командного пункта армии.

Не успели мы со своим словом перекинуться, как из ближней землянки высыпал нам навстречу комсоставский го-монок: видно, успели уже доложить. Смотрю, впереди рослый, в «полтора Ивана», цыганистый мужик в расстегнутом у ворота генсральском кителе, идет, словно землю раскачивает, с

эдакой упористой перевалочкой. Я на полусогнутых к нему, начальство первым делом опередить важно, потом не отбрешешься. Докладываю по уставу, вытягиваюсь как положено, в собачьей готовности, а он глядит на меня красными, с большого недосыпа глазами, и чую, в масть попал, оттаивает мужик, одобряет, значит. «Рядовой, говоришь, — гляжу, совсем повеселел, — вывел, говоришь, роту в половинном составе, а раз вывел, значит, ротным и останешься, определяйся с людьми в мое охранение. — И себе за плечо, наугад. — Заготовьте приказ!» Так вот, по случаю, и завязалась моя армейская судьба.

Только повоевать мне с этим командующим так и не пришлось, той же ночью новый немецкий прорыв разметал нас в разные стороны, и лишь после войны узнал я из офицерских разговоров, что, оказывается, после нашей встречи на днепровском берегу не прожил он и трех дней, не стал трибунала дожидаться, пустил себе пулю в лоб. Война меня по таким кочкам протащила, что ни в сказке сказать, ни пером описать, две осколочные, одна пулевая, четыре контузии, и за каждой история почище кино будет. По дороге ничем не брезговал: валил впереди себя все, что шевелилось, — от живота веером, баб шерстил, ни имени, ни нации не спрашивал, чужого добра не жалел, пей не хочу, и трещала подо мной человечья арматура, как яичная скорлупа. Трезвым себя в ту пору не помню, пьяной чумой катился я по Европе, ты меня видишь, я тебя — нет, с утра до вечера море по колено, пускал, как Змей Горыныч, сивушные пары во все стороны, и расступались у меня впереди народы и государства от одного моего запаха.

Домой не ехал — тек винным паводком от Эльбы до родной деревни, да еще и там с месяц куролесил, гуляй, братва, одна живем, трофейного барахла не жалко, а когда очухался, оглянулся, мать моя матушка, нищета вокруг допотопная, голь на голи и нуждой погоняет! Дома с отрубей на крапиву перебиваются, из худой рванины годами не вылезают, зимой одни валяные опорки на всех, и те прелые. «Ну, нет, — думаю, — так дело не пойдет, не за то я четыре года кровь проливал, чтобы моя родня тут с голоду околевала!» Облачаюсь как-то чинчином, форма с иголочки, на дорогу по заказу у дивизионного портного шил, на груди иконостас в двенадцать блях, пять нашивок за увечья, четыре капитанские звездочки на погонах, и — к председателю. Колхозное правление у нас, правда, тоже не дворец, изба как изба, одна слава, что под железом.

Захожу я туда, а там мебели всей — две табуретки да стол канцелярский, хоть сейчас на дрова, и сидит за этим столом

самый захудалый мужичонка на деревне — Спирия Полынков, я у него до войны в подпасах ходил, от призыва он по колченовости отвертелся, а на бесптичье и сам станешь раком, вот председателем и заделался, пока мужики европам мозги вправляли, со всеми бабами переспал, Настасью, невесту мою бывшую, тоже не обошел, загнал ей шершавого. Сидит он это за тем столом вполпьяна, увидел меня, ухмыляется: «Здорово живешь, — говорит, — герой, зачем пожаловал?» — «Пожаловал, — говорю, — спросить у тебя, долго ли еще деревня бедовать будет?» — «А это, — говорит, — не твоего ума дело, парень, — говорит, — об этом партия и правительство без тебя думают». — «А сам-то ты, — говорю, — зачем тут поставлен?» — «А это, — говорит, — тожеть не твое дело, не тобой поставлен, не тебе и спрашивать». — «Ты разуй глаза, — говорю, — с кем разговариваешь, с офицером Советской Армии разговариваешь!» — «А таких охвицеров, — говорит, — нынче как собак нерезанных, крутил хвосты у меня в подпасах, туда же и сызнава пойдешь».

Вот тут-то и не взвидел я света белого: «Ах ты, — кричу, — сучье вымя, я четыре года вшей в окопах кормил и кровью умывался, а ты меня, падаль тыловая, за горло?» Кричу, в глазах цветные шарики плавают и пол, как живой, а морда председательская под моей рукой в кровавую кашу растекается. Потом уж до меня стороной дошло, что отдирало меня от него бабье чуть не всей деревней, еле отодрали. Опамятовался я только в своей избе, пораскинул мозгами и высчитал, что не дадут мне тут жизни, замордуют до полной убогости, затопчут в мелкую крошку. Побросал я в вещмешок последнее барахлишко и в Тулу — другой доли искать. Завернул к военкому, а тот мне: «Куда мне тебя девать, капитан, — говорит, — ума не приложу, у меня, — говорит, — фронтовых офицеров на учете тысячи, и больше половины без профессии, хоть караул кричи».

Вижу, тут горлом брать бесполезно, у него у самого три красных нашивки и нога на протезе. «Чего же мне теперь, — говорю, — грабить, что ли?» — «Вербуйся, — говорит, а сам глаза прячет, — на Крайний Север, туда сейчас без разбора берут, лишь бы руки-ноги целы были, могу направление дать». — «Ладно, — говорю, — спасибо и на этом, как-нибудь устроюсь». Выхожу от него на улицу, жарница — земля трещит, тоска на душе зеленая, что мне теперь, думаю, делать, куда податься? Ну и махнул я с этой тоски на станцию — остатки пропивать. Спустил на толчке кой-чего из тряпья, засел на вокзале в ресторане и, завейся горе веревочкой, пошел с самим собой наперегонки одну за другой.

На большом уже градусе слышу: «Разрешите с вами за компанию, товарищ капитан?» Гляжу, маячит напротив молодой совсем лейтенантик, ржаной чуб из-под пилотки, на конопатом лице глаза васильковые и нос запятой. Если бы не этот чуб, можно бы и за девку принять. С первого виду — по тылам не ошивался: две «Славы», «Красная Звездочка» и медалей порядком. «Садись, — говорю, — гостем будешь». Слово за слово, хером по столу, оказалось, из одной дивизии, он у меня по соседству полвойны «сыном полка» провертелся, а под самый шабаш закончил, с чего я начинал — ротным. Теперь вроде меня, ни кола ни двора, рад бы где окопаться, да негде, специальности нет, а без нее только на подсобные, при офицерском-то звании, вот и думай, как жить.

Загудели мы с ним тогда почем зря, пили ночь напролет без удержу, пока потолок с полом впритык не сошлись и тьма не накрыла меня с головой. Прочухался на другой день, головы повернуть не могу, не голова — гиря пудовая, звенит, как церковный колокол, во рту — колхозная конюшня, и не то что рукой-ногой, языком шевельнуть не вмоготу. Только слышу: «На-ка, служивый, глотни, легче станет». Выруливает к моим губам чья-то рука со стаканом, меня уже от одного вида его наизнанку выворачивает. «Пей, пей, капитан, — кто-то голову мне поднимает, — без этого не сгруппируешься».

Огненной лавой обвалилась в меня эта похмелка, помоталась внутри тошнотворной зыбью, потом улеглась теплой заводию, и белый свет вокруг понемногу стал подыматься на четыре копыта, а когда явь вконец прорезалась, увидел я перед собой пучеглазого мужика лет за сорок, с бритым черепом, в исподнем белье и в стоптанных калошах на босу ногу. Сколько лет прошло, а до сих пор не забыл: висит у него на соплях ржавая пуговица на вороте рубахи. Мне эта пуговица его частенько по ночам мерещится. От него-то я и узнал в то утро, где очутился, как сюда попал и с кем по пьянке связался. Оказывается, отсыпался я после ночного загула на нарах в жилом вагоне железнодорожного стройотряда, подобрали нас с давешним лейтенантиком и затащили сюда здешние ребята, и занят тут народ не столько путевыми работами, сколько ночным промыслом по груженным составам.

Подобралась братва из одних фронтовиков, мужики как на подбор, таким не только в темном углу — среди белого дня света не засть, сметут, бритый у них и за бригадира, и за пахана, сам же он бывший замкомполка с Третьего Украинского. «Такие пироги, служивый, — потчевал меня майор

чайком на закуску, — встретила нас мать-родина — своих спасителей, прямо скажем, мордой об стол, куда ни кинь — всюду клин, так что терять нам нечего, если сами себе не поможем — никто не поможет, больше — сотрут, я тебе, капитан, все сказал, теперь сам решаю: не подходит, вот тебе порог, подходит — оставайся, не обидим, помирать, так с музыкой».

По правде говоря, взяла меня поначалу оторопь, шуточное ли дело при четырех звездочках на погонах в ночной разбой подаваться! Однако, думай не думай, деваться некуда, кругом по нулям, а тут еще мама надвое сказала, глядишь, перебежусь, обойдет меня тюрьма стороной. «Ладно, — говорю, — майор, двум смертям не бывать, где наша не пропадала, зачисляй на довольствие». И завертелась карусель моей жизни без остановок и тормозов на предельной скорости, только успевай шестеренки менять. Все кругом в такой клубок смоталось, что не разобрать, где день, где ночь. Озоровали посменно: полбригады на участке, другая половина отсыпается, и по ночам то же самое. Совесть меня тогда особо не угрызала, если и подпирало часом, утешался: авось не чужое добро — казенное, задарма что ли кровь проливали, но если уж совсем не вмоготу делалось, горькою заливал, благо деньги не переводились, было на что.

Одно только поедом ело: чем это все кончится и кончится ли когда? Майор наш — мужик глазастый, чуял, видно, во мне эту слабинку, вызывал мимоходом на разговор: «Не журысь, служивый, — обнадеживал он при случае, — доверяй командиру, командир выведет, припрут к стенке, собой заслоню». И заслонил ведь. Башковитый был майор этот, ему бы, по его голове, армией командовать, а он вон до чего докатился. Вернее сказать, докатили, те, кому по чину за нашего брата думать полагалось. Только, видно, они не за нас, за свою шкуру больше думали, вот и осталось нашему брату на большую дорогу идти. Что ж, как говорят, сколько веревочке ни виться, и захлестнулась эта самая веревочка вокруг нашей малины милицейской облавой.

Захлестнулась ночью, среди сна, но врасплох не застала, майор наш по военной привычке всегда на ночь боевое охранение выставлял. Заняли круговую оборону и отстреливались вслепую, пока половина не легла и мой лейтенантик с ними. Тогда повернулся майор к ребятам марлевым лицом и скомандовал: «Приказываю, выскакивай по одному и — врассыпную, беру огонь на себя». Дошла до меня очередь, выбросился я в

ть, как в прорубь, даже не обернулся напоследок, до сих пор из-за этого, как вспомню, стыд берет. И дернул по путям под вагонами, куда глаза глядят. Несусь и Бога молю: «Спаси и пронеси, Господи!» Вот ведь человек скотина какая, как ему плохо, так сразу Господа вспоминает, а как хорошо, так сам себе голова. Но не услышал, видно, Бог молитвы моей, захомутили меня по дороге, навалились кучей, повязали и понесли по кочкам до самой тюрьмы; били, когда вели, били, когда допрашивали, потом в камере доколачивали.

Как я тогда жив остался, и сейчас в толк не возьму. У меня с той поры все ребра наперекосяк срослись и пробоина на темени. Я после этого еще с месяц кровью харкал и сукровицей на двор ходил. Очухался я только в тюрьге на нарах, в ожидании трибунала. Лежал и век свой короткий по часам перебирал: чего у меня там было-то, на этом веку? Выходило, что ничего там не было, кроме синяков и шишек с сиротским бесхлебьем впридачу. Война вроде вынесла меня на простор, но и тут беда поперек встала. Война кончилась, штрафной не отделаешься, и маячила у меня впереди одна мера — вышка. Когда выкликнули меня наконец, обвалилась во мне душа ледяной сосулькой в ватные пятки, пришел, думаю, твой час, парень, молись напоследок.

В тюремный двор вывели, с непривычки от полного света в глазах резь, обвыкаю, гляжу, около ворот не «воронок» — простая полуторка с газогенератором стоит, а в нее народ грузят, если по обмундировке судить, сплошь фронтовая братва. Ведут и меня туда же. «Залезай, — говорят, — в кузов, теплее будет». Конвой шутки шутит, а я прикидываю: на трибунал вроде не похоже. И вспорхнула моя душа майским жаворонком в обратную сторону: неужели амнистия? По пути разговоры об одном: куда, да зачем, да что стряслось?

Чего только не нагадано было: может, на вербовку, может, амнистия, а может, война с Америкой и опять на передовую? А привезли, вот и угадай попробуй, в облвоенкомат, сгрузили во дворе, выстроили, ждите, говорят. Не успели разобраться, хромает к нам с крыльца знакомый мне облвоенком, встает перед строем и говорит: «Что ж вы, сукины дети, думали, что товарищ Сталин о вас забыл? Не такой человек товарищ Сталин, чтобы забыть о людях, которые Россию спасли. Пока вы, обормоты, уголовный кодекс попирали, наш любимый вождь думал о вашей судьбе. — И затвердел обликом, как на параде. — Приказ Верховного главнокомандующего отправить вас на переподготовку в военные учебные заведения, ура, мерзав-

цы!» Доводилось мне в рукопашную ходить не раз, кричал я это самое «ура» да так, что уши от натуги лопались, а «за Сталина» кричал еще громче, но вот так — всем нутром, кишками всеми, жилами — никогда еще. Что бы теперь ни толковали, а скажи мне тогда: умри за него, парень, за счастье бы почел. Эх, да что там говорить! В общем, очутился я снова в армии, женился вскорости, семья пошла, и пустился, как все, карьеру делать, не знаю, сделал бы, но пофартило, свел случай с бывшим командиром нашей дивизии, к тому времени он уже полным генералом был, замминистра по сухопутной части.

В конце я на большую орбиту вышел, в перспективе маршальская звезда светила, но человек полагает, а Бог располагает. Рухнуло однажды все разом и оказался я в отставке при своих пенсионных интересах. Спроси меня нынче, жалею ли я о том. Сначала жалел, сейчас — не жалею. Ни о чем теперь не жалеет генерал в отставке Иван Никанорыч Воробьев, уроженец деревни Торбеево, Узловского уезда Тульской области.

2

Седьмой десяток переломил. Говоря по чести, полная старость, пролилась жизнь, как вода сквозь пальцы, а в той воде чистых капель с наперсток наберется ли, все остальное прочее — одна муть с дерьмом и кровью вперемешку, вспоминать тошно. И только пора моя деревенская, хоть и была она у меня голодной, сиротской, светится издалека луговым пятном, словно зеленый островок посреди обгорелой пустоши. Бывает, помаячит во сне, и душа вдруг взлетит в таком сладком томлении, что и, проснувшись, все еще долго вибрируешь от нечаянной радости, страшаешься опамятоваться и остыть. Сколько лет я жил с этим, сколько раз наведать собирался, сколько раз чемодан укладывал, а собрался в конце концов лишь на материны похороны, когда уже самому следом за ней скоро. В каких ее на веку ступах ни толкло, какими стужами ни продувало, какой нуждой ни горбатило, но умерла она в своем дому не от тяжелой болезни — от старости. Даже, говорят, не умерла, а как бы затихла без мук и видений. Пятерых схоронила, столько же на ноги поставила, и все одна, двумя своими задубевшими в черной работе руками. Скрестили ей их напоследок, и, казалось, вовсе не руки это, а две прокопченные насквозь клешни переплелись у нее на груди, чтобы уже никогда больше не расцепиться. Бывало, звал: «Хватит, мать, наkostenялась, пора охолонуть. Или у нас у пятерых для

куска и угла не найдется? Перебирайся и живи себе не тужи около детей и внуков». Не дозвался, не взошла старая на такую перемену, не снялась с места, дожила в своей избе и на подсобном иждивении. Получил телеграмму, я тогда на маневрах был, сразу сорвался, но только уже в самолете наедине с собой вдруг сквознячком подкатило к сердцу: стоп, Иван, не гони лошадей, спешить и впрямь дальше некуда. Вот тогда-то, в том пути на родину и сложилось во мне, что то, что называется жизнью, прожито, что главное — дальняя дорога, казенный дом, крым, рым и прочее — все позади, а впереди, отныне и до гробовой доски, одни медные трубы, да и те — на излете. И дошло до меня окончательно: не было в моей судьбе дороже и ближе человека, чем мать, вместе с которой слиняла с лица земли моя последняя кровная привязь и остался на этой земле сам по себе, будто сомкнулось за спиной смертельное окружение, оставляя меня лицом к лицу с собственным одиночеством до конца моих дней. Помнится, случилось это в самую распутицу, от военной базы, где мы приземлялись, до нашей деревни чуть не сто верст, штабной вездеход навозным жуком барахтался в грязевых хлябях, отдышливо надрывался в колдобинах, выписывал вензеля на взгорках, пока не сорвал голоса и не затих намертво где-то уже в километрах пятнадцати от цели. Чего было делать, не куковать же среди этого потопа до первой погоды, плащ-палатки на головы, ноги в руки и пошли месить пешим порядком по дорожной обочине. С долгой отвычки нелегко дался мне этот марш, тяжелил меня генеральский жирок, забивал горло одышкой, пригнетал к земле, и не знаю, в одиночку осилил бы я, да чуя сзади адъютантский напор, на одном самолюбии марку держал, пока, на мое счастье, не подобрала нас выплывшая нам наперерез с проселка шальная подвода. Возницей на ней — беззубая, но крепкая еще старуха — поначалу только молча постреливала сторожким глазом в нашу сторону, потом не выдержала, просыпалась куцей скороговоркой: «Вы чего же, с району будете?» — «Да нет, — говорю, — из Москвы». — «И чего же к нам, в Торбеево?» — «Да вот мать хоронить еду». И тут, из-под мешковины, надвинутой у нее на самые глаза, будто крапивой меня по лицу смазала: «Вы чего же, Воробьихин сын будете?» — «Он самый». Старуха повернулась мешочным кулем в мою сторону и больше уже до самой деревни не возникала, а меня от этого ее колкого любопытства вдруг обожгло всего: «Не Настасья ли?!» Хотя, прикинул, старовата вроде, да тут же спохватился: «Седой черт, на себя в зеркало посмотри, сам

шестой десяток пошабашил, а все еще в молодые норовишь, тебе бы ее жизнь, каторжную, давно бы в кисель расквасился!» У околицы она придержала лошадь, ссадила нас, но не обернулась, так и осталась торчать мешочным кулем на передке, пока не слилась с дождевой завесой. «Она, не она ли, — думал я тогда, вслед ей глядя, — только если она, чего ж ей на меня зло держать, о душе пора позаботиться, нас теперь лета сквитали. Может, разговорить бы мне ее по дороге, да какой у нас с ней разговор мог получиться при постороннем, канитель одна, а то, глядишь, и пересечемся еще, поговорим». К тому времени деревни своей не видал я уже лет тридцать с лишком, и, хотя запомнил я ее в бесхлебице, оказалась она и того бедней и заброшенной. Поневоле душа в тоске съежилась: как же это может человек в полной силе и разуме жить здесь, в этой убогости! С этим и переступил я отчий порог, а там тоже — одни бабьи платки по избе кружатся, шушукуются по углам, божатся исподтишка. Вошел я, едва в притолоку не уперся, не изба — блиндаж бревенчатый. «Здравствуйте», — говорю. Замолкли, опасно выставились на меня, а потом, как по команде — в голос. Пошли причитать, будто прорвало их всех до единой, а я уже и не слушал, смотрел туда, где в дощатом пенале светилось белым пятном лицо матери, и все приговаривал про себя: «Вот и свиделись, мать, вот и свиделись». Только слышу, адъютант за плечом шепотом: «Товарищ генерал, вас просят». Бросил я на ходу «распорядитесь тут» и мимо него в сени, а там, гляжу, толчется в ожидании очкастый малый в брезентовом дождевике. «Здравствуйте, — говорит, — товарищ Воробьев, я тут в Торбеево председателем, Виктор Евсеич Горышев моя фамилия. А вы будьте так любезны, лишних денег не давайте, не балуйте народ». — «А это уж, — говорю, — моя забота». — «Нет, — говорит, — товарищ Воробьев, войдите и в мое положение, перепьются на дармовщину, мне их потом на работу ложками не вычерпать». — «Кому тут пить-то, — спрашиваю, — одни старухи?» — «К сожалению, — вздыхает, — старость им не помеха, гудят не хуже молодых, помоложе тоже найдутся, как узнают про вас, табуном набегут». — «Так и живете?» — говорю. «Так и живем», — отвечает. Лет ему от силы сорок на вид, но лицо, словно после больницы, отечное, с просинью, а под очками не глаза — тоска зеленая. «Надо бы вам, товарищ Воробьев, — говорит, — отдохнуть с дороги, обсушиться, чайку попить, жена моя быстро оборудует, хоронить все равно до завтрашнего утра не дадут, обычай такой — сутки дома пролежать дол-

жна, адъютант тут ваш сам похлопочет». Дом у председателя оказался не краше прочих, разве что под хорошим железом, хоромы тоже не Бог весть что, правда, в обоях и с городской мебелью, опять же книжки в шкафу, вот и вся разница. Сели мы с ним полдничать, на столе — молоко, огурцы соленые, картошка на постном масле, такие председательские разносолы и то, видно, из последнего. Глядит он на меня виноватым глазом, шуруется близоруко, оправдывается: «Думаете, наверное, прибудняюсь при большом начальстве, а у самого от съедобного погреба ломаются?» — «Да нет, — говорю, — чего уж там, сам вижу». — «Видите, да не все, — говорит, — у моих людей, бывает, и этого нет, одним днем живут: есть — едят, нету — спать ложатся». — «Что же так, — говорю, — колхозникам нынче большие правданы: и аванс, и зарплата, и пенсия, и в смысле подсобного хозяйства, руки бы только приложить». А он мне: «Аванс еще отработать надо, зарплата, как у нас говорят, ноль целых и столько же десятых, на колхозную пенсию кошку не прокормишь, а от собственного хозяйства отучились давно, хлопотно больно. Я как-то соседке своей бабке Шуре попенял, что, мол, коровку-то не заведешь, теперь, мол, с сеном легче, коси по прогалинам, сколько осилишь, с молочком была бы, а она мне: «Мне, — говорит, — мил-человек, в моей вдовьей сирости лишний вес ни к чему, я чего не допью, то досплю». Вот и вся философия. Отвадили крестьянина от земли, мачехой для него земля эта стала, не хочет он с ней больше дела иметь, попробуй заставь». — «А чего же они у тебя целыми днями делают-то, — интересуюсь, — клопов, что ли, давят?» — «В хорошую погоду в сельпо сидят, подловыгодным накачиваются, это у нас так плодоягодное вино прозвали, а в непогодь по избам, самогон наладились гнать». — «Кто же работает-то?» — «Минимум, конечно, всем приходится отрабатывать, иначе совсем по миру пойдешь, а что сверх, то, проси не проси, не заставишь». — «На чем же хозяйство твое держится?» — «Сам удивляюсь, по всем законам экономики давно должны были бы в трубу вылететь, ан нет, выплываем, даже, смешно сказать, план даем, прямо чудеса в решете». — «Рыба с головы гниет, — говорю, — у тебя должность, тебе права дадены». И хоть бы обиделся. «А какой из меня председатель, — морщится, — смех один. Я ведь сюда директором школы по распределению назначен был после института, приехал, а ее — школу-то эту закрывать надо, учить некого, не нарожали, да и кому здесь рожать и от кого, спрашивается, от рукопожатия с начальством, что ли? Вот и навя-

зали мне это ярмо в порядке партийной дисциплины, а я толком бороны от лемеха не отличу и спросить с людей не умею, не тот характер. Вон к животноводческой ферме нашей не подойти, не подъехать, в навозной жиже, как в море, плавает, недавно две телки среди бела дня захлебнулись, но спросить совестно, ведь ее, жижу эту, вывозить надо, а на чем, транспорта нету, бригадир на горбу не вывезет?» — «Распустился народ, — говорю, — забыл хозяина!» Смотрю, заскучал председатель, скучился: «Может, вы и правы, — говорит, — только сколько же можно все с народа и с народа, а народу-то когда? Народ наш уж сколько лет, считай, хлеба досыта не ел, мясо по большим праздникам и то не всегда, об остальном и говорить нечего. Вон ушла у нас вода подпочвенная, высохли колодцы все до единого, так, думаете, кто-нибудь наверху озаботился, куда там! Уж я куда ни писал, к кому ни ездил, только когда чуть не до самого верха добрался, откликнулось: пригнали саперов, разворочали динамитом в лощинах четыре ямы, подровняли бульдозерами и оставили до первых дождей. С тех пор у нас по отчетам четыре водоема числятся: в одном технику моем, в другом скот поим, в третьем белье стираем и сами купаемся, а из четвертого воду пьем, прямо так, с головастиками, если вскипятить, вместо ухи употреблять можно, только сольцы да укропу добавь. Оттого и бабы болеют, и дети в младенчестве мрут, а те, что растут, все с придурью. — Здесь он как бы даже задыхаться стал от переполнявших его слов. — Я почему вам все это говорю, мне ведь все равно терять нечего, семь бед — один ответ, а вы там в Москве в больших кабинетах бываете, на вас погоны генеральские, вас послушают, не то что меня, передайте вы им, нельзя так больше, нельзя, совсем ведь загибаемся. — И тут же спохватился. — Да вы ешьте, ешьте, чем богаты, говорят, тем и рады. Извините меня, спиртного не держу, даже для гостей, с нашим народом с утра пообщаешься, потом целый день только закусывай, да. Заправитесь, а потом можно и на боковую, жена вам уже постелила. Утро вечера мудренее». Долго я в ту ночь не спал, ворочался, все никак в толк не мог взять: «Как же это так, — думал, — до Москвы рукой подать, километров двести каких-нибудь, по хорошей дороге два часа езды на машине, а тут еще как при царе Горохе, хуже того, как в каменном веке люди живут на седьмом десятке советской власти». По правде говоря, я и раньше кое-что замечал, когда мотался с инспекциями по округам, деревня наша даже на проезжий глаз особым довольством не отличается, о дорогах я уж и не говорю, да и по шефской линии кое о

чем наслышан был, но все по казенной привычке считал, что это так, болезни роста, издержки большого разгона, а в общем и целом, как это в одной песне поется, мы впереди планеты всей. Сам тоже не без греха, случалось доклады делать, про сельское хозяйство соловьем пел в смысле небывалых урожаев, роста поголовья и всякого благосостояния. Вернее, не пел — повторял, как попугай, что мне наши шелкоперы из политуправления сочиняли, считал, им виднее, у них выкладки на руках. Только тут, в Торбеево, уткнул меня случай носом в самую плесень нашу, в самое ее нутро. Легко председателю советовать, куда мне ходить и к кому стучаться. А к кому? Там ведь, на верхах, тоже не лыком шиты, сами не лаптем щи хлебают, в чем — в чем, а в политике разбираются. Скажут: не суйся-ка ты, Воробьев, в чужой огород, разберись-ка ты лучше со своим хозяйством, у себя дерьмо разгребви. И в полном праве будут. В армии у нас тоже не Артек: пьют что ни попадя, дедовщина вконец озверела, липа на всех уровнях от генштаба до взвода, гребви — не разгребешь.

Столкнула меня как-то судьба с одним из этих шишек, выше которых уже и нету в стране. Было это в чехословацкую кампанию, а я, положила руку на сердце, кампанию эту сам разрабатывал, за что вторую звезду на погоны спроворил, поэтому и въехал туда на головном танке вместе с деятелем, который тогда за эту операцию отвечал по поручению Политбюро. По дороге куда ни помотришь, глаз радуется: поля ухожены, скотный двор стоит, сам бы в нем пожил, жилье в деревнях — мне бы такое. В любую лавочку, в любую забегаловку заглянешь — птичьего молока только нету, для меня, без привычки — молочные реки, кисельные берега!

Не выдержал, поделился с начальством: «Нам бы так, Кирилл Трофимыч!» Срезал он меня искоса ленивой усмешечкой и только вздохнул: «Нам до этого, Иван Никанорыч, лет сто еще, не меньше». Мужик он, надо сказать, неглупый был, знал что почем, недавно сняли, погорел на чем-то, может, на уме своем и погорел. Вот после этого и стучись к такому деятелю, ему и без твоих подсказок тошно. Пошлет такой тебя куда подальше, а то еще и прихлопнет за критиканство. Однако и смолчать больше терпения нсту, не съел же я свою совесть с генеральским пайком.

От одной торбеевской беды хоть криком кричи, а сколько их, этих торбеевых, по всей России? А в них люди живут, те же самые люди, какие называются народом и откуда появились на свет и этот председатель, и баба, которая подвозила

нас до деревни, и старухи в доме, и я, и моя жена, и мой адъютант, и тот деятель, и те, кто над ним. Чем же мы хуже других? На Луну летаем, к Марсу собираемся, базы на всех материках стоят, а дома голь перекатная, сивушный сучок пьем, рваниной закусываем, за хлебом по заморским закромам ходим. Какая черная порча нашла на нас, что возгордились мы белый свет осчастливить с пустым брюхом и голой задницей? Кто наслал на нас порчу эту? Может, она в нас самих гнездилась, только таилась до поры? Забылся я лишь под утро, когда петухи уже в раж вошли, спал прерывисто, проснулся с головной тяжестью. За ночь распогодилось, но под распахнутым настежь небом деревня выглядела еще приземистей и плоше.

Председатель как в воду глядел: к выносу на кладбище больше половины провожающих оказалось на сильном взводе, видно, адъютант мой не поспешил. Бестолково толклись вокруг гроба, галдели наперебой, невпопад голосили, поглядывали исподтишка в мою сторону, как бы сверяли со мной, складно ли у них все получается? Заговаривать решались только из тех, кто попьанеет, всякий при этом норовил выказать, что с начальством ему знаться не привыкать, что с генералами он, в общем-то, на короткой ноге и что нас с ним политесам обучать нечего.

«Держись, Никанорыч, — совал руку один, — все под Богом ходим». «Все там будем, — покачивался другой, — что в лаптях, что в калошах». А третий еле вязал: «Наше вам, со всем уважением». В свете погожего дня мать показалась мне совсем усохшей и маленькой, похожей на морщинистую девочку, заснувшую невзначай после долгих хлопот и трудной работы. Подняли ее мужики в четыре плеча, и поплыла она над вчерашними хлябями в тесовом ящике, будто в лодке, чуть кружа и покачиваясь. Прощай, мать, бдительница моя, вечная моя печальница!

Из родни, кроме меня, никто не добрался, как потом узналось, застряли в распутице, пришлось мне одному ее провожать. Пил я на поминках наравне со всеми, да так, что себя позабыл: с кем-то спорил, с кем-то целовался, кого-то по пьяной лавочке даже за уши таскал, но смертной своей тоски унять так и не смог. «Все, Иван, конец, — выжигала она меня, — отцвела твоя пора, осыпалась, теперь не жить — доживать осталось!» К утру пробился-таки вездеход ко мне на выручку, подхватился я на скорую руку, снял со стенки рамку с фотками, избу даже закрывать не стал, пускай берут, кому что

годится, по правде говоря, рухлядь одна, и — «прощай, моя деревня, прощай, мой дом родной», ни свет ни заря в путь-дорогу.

К околице подъезжали, увидел я, стоит при дороге женщина, будто ждет кого-то, вроде бы даже принаряженная. «А ведь это она, — жарко окатило меня, — баба давешняя, Настасья моя, ясное дело Настасья!» На похоронах я выглядывал, ее не было, а сюда пришла. Пришла, видно, молодости своей в глаза поглядеть. Потянуло было меня остановиться, хотя напоследок словом перекинуться, но осадил себя, удержался: зачем, только душу травить. И за околицей даже не оглянулся, чего оглядываться, ничего уже не воротишь. Да, может, все-таки не она это вовсе, кто знает?

3

Из коридора пробивается голос жены. С утра пораньше на телефоне. Снова, в который уже раз, обзванивает приглашенных. Звучит опасно: прошли те времена, когда в гости к нам напрашивались, теперь сами кланяемся. Генерал в отставке, да еще с таким привеском в анкете, уже не генерал, а старпер на пенсии, одна слава, что в чинах. Я еще и дела не приступал сдавать, как вокруг меня как шрапнелью выкосило, будто и не было у меня никогда друзей-приятелей, по-газетному, славных боевых товарищей.

Я и не судил их сильно, сам бы, наверное, тоже не высунулся, будь я на их месте, так уже все кругом устроено: ты умри сегодня, я — завтра. Да и то сказать, какие уж там друзья-приятели, славные боевые товарищи, так — временные попутчики, сослуживцы, одним словом. Начни сейчас перебирать, за всю свою военную лямку двух памятью не выделю, а то, говоря по совести, и одним обойдусь, но и того вот уж лет пять, как на погост снесли.

Был он много старше, и свела меня с ним судьба уже в академии, он там оперативное искусство вел. Занятный старикан оказался, балагур, все побаски-прибауточки, выпить не дурак, правда, пил аккуратно, по столу не размазывался, любил поговорить под сурдинку, но больше байками обходился, в душу не пускал, словом огораживался. Бывало, напросишься с ним посидеть, засядешь в поплавке в хорошей компании и, только ушами хлопай, такого понарасскажет, хоть в книжку вставляй: и про первую империалистическую, куда он гвардейским поручиком ушел, и про гражданскую, где ему уже

штабами довелось ворочать, и про отечественную, которую возле Сталина отслужил. Хотя, говорю, все больше вокруг да около, одна бывальщина, а чтобы с упором копнуть, того ни-ни, видно, для себя берег или людского подвоха опасался. Меня, правда, он от других сразу отличил, сам к себе зазывал, о жизни моей любопытствовал.

Квартира у него была барская, с окнами на Москву-реку, но куковал он в ней бобылем, жена его еще в войну померла, детей у них не случилось, ухаживала за ним приходящая старушка — Божий одуванчик, вроде дальняя родственница, седьмая вода на киселе. Как-то завернули мы к нему после лекции, сели за стол с глазу на глаз, под добрый обмен уговорили бутылочку, и прорвало старика. «Я, — говорит, — Иван Никанорыч, тебя давно на примете держу, хватка у тебя есть, штабник из тебя получится великолепный. Но не в этом, — говорит, — дело, а в том, что земляки мы с тобой и не только земляки, но близкие соседи. Торбеево твое когда-то в наши земли родовые входило, а усадьба фамильная в десяти верстах от вас располагалась, в Батурино, там теперь областной дом инвалидов или, лучше сказать, богадельня. Так вот, — говорит, — когда я это выяснил, любопытно мне стало, что за потомство выросло на наших бывших землях, чего оно добивается и чего оно стоит?» Я было завелся с полоборота: «Ну и можно узнать, — говорю, — какая мне цена?» — «Отчего же нельзя, — отвечает, — очень даже можно, за сколько тебя ни взять, — говорит, — прямо скажу, Иван Никанорыч, не переплатишь, ты своего хлсба стоишь, а судьбе угодно, то и далеко пойдешь». — «Советская власть, — остываю, — мужику тоже дорогу открыла». — «Не спорю, — говорит, — советская власть для мужика много сделала, но у кого голова на плечах была, тот и раньше мог немалых высот достичь. Деникин, Корнилов, Алексеев тоже из мужицкой среды вышли, да не одни они, к революции больше половины командного состава русской армии черная кость дала, не в этом суть». — «А в чем, — подступил я к нему, — в чем же?» — «А в том, — отвечает, — что для вас есть Россия?» — «Как это, — перебираю я по привычке, — наша партия, социалистическая родина, советский народ». — «Э, — морщится, — слишком общо, Иван Никанорыч, слишком абстрактно и ни к чему не обязывает». — «А для вас что?» — спрашиваю. «В целом, может быть, то же самое, но без прилагательных, это гораздо конкретнее». — «Оно, конечно, для вас эта власть чужая». — «Власть, — усмехается, — как известно, дается от Бога, Иван Никанорыч, не нам о ней

судить, меня в ней волнует только одно: служит она интересам русского государства или нет, все остальное второстепенно». — «Отчего же вы за ней пошли, — я уже в крик, — если она вам до лампочки!» — «А от того и пошли, — охлаждает он меня, — что, какая она ни есть, только с ее помощью удалось русское государство в его имперских границах сохранить и даже несколько преумножить. Эх, Иван Никанорыч, молод ты, — понесло его вокруг стола, — не знаешь, во что превратилась Россия после Февраля! В распутную, пьяную бабу, которую кто хотел, тот и насиловал, в лоскутья ее растаскивали, и каждый норовил отхватить кусок побольше и пожирнее, сердце кровью обливалось, глядя, как растекается в разные стороны то, что веками потом и кровью собиралось, и как глумится над нашими святынями безродная чернь со всего света, земля стоном стонала. После всего этого Ленин нам, как дар Божий, с неба свалился, мы за ним готовы были в огонь и в воду, лишь бы не дал России пропасть, не предал на позор и поругание, а какая у него там философия, для нас это было безразлично. Лучшие из лучших с ним пошли — Брусилов, Клембовский, Сулейман, Снесарев, Зайончковский, Свечин, Верховский, всех не перечислишь, цвет русской военной мысли. Не ради же сребреников переметнулись. Сребреников этих у того же последнего военного министра Верховского полно было, вся министерская казна, ради чести России своей честью поступились, а какой нам, кроме этого, был резон душу-то свою закладывать, ведь могли бы и бежать, возможностей выпадало множество, нет, остались и служили не за страх, а за совесть, хотя многим потом пришлось сложить понапрасну голову и отнюдь не на поле брани. — И вдруг спохватился. — Да ты не смотри на меня так, Иван Никанорыч, я это и Сталину как на духу говорил». Тут уж я поперхнулся: «А Сталин что?» — «Да ничего, усмехнулся только и рукой махнул, будто табачный дым отогнал». Много у нас с ним было после вечерних застолий, немало он мне всякого порассказывал, на многое глаза разул, но тот первый наш откровенный разговор затвердился у меня в памяти резче всего.

Годами он ровесник матери моей был, но сгинул не от болезни и не от старости, свалился на самолете в инспекционной поездке, одни пуговицы собрали, хотя это потом, а до того еще стряслось немало всякого. Без него скучно сделалось у меня на душе, не с кем стало весомым словом перекинуться, а от досужих разговоров я уже отвык, не тянуло меня обсуждать

очередные производства и новые назначения, а кости сослуживцам перемывать — тем более. Поэтому знакомства, в основном, жена подогревала, ей видней, с кем мне знаться для пользы дела.

Главное знакомство детьми повязалось, сын опекуна моего главного с моей дочерью в один класс ходил, сам даже при встречах пошучивал, что, глядишь, до свадьбы вместе дотянут. Остальные не в счет, еще бабушка надвое сказала, кто кому честь оказывает. Тут как раз по армии ропоток зашелестел: чехи балуют, контрреволюция голову подняла, Варшавский пакт под угрозой. Шорох шорохом, а на верхах тоже насторожились, как бы к самим не перекинулось, а тогда только держись, это тебе не европейская делянка, сунься, уйми такую громадину, костей не соберешь. Наверху, видно, решили не ждать у такого моря погоды, упредить события.

Вскорости получаю приказной звонок от министра: прибыть такого-то, в десять ноль-ноль в цека партии, седьмой этаж, комната четыре. Соображаю, седьмой этаж — это самый верх, выше некуда, значит, разговор будет окончательный. Прикинул разные варианты, куда ни кинь, все сходилось на чехах. В нашем деле угадать ситуацию, что жар-птицу за хвост прищемить, лови момент, другого долго ждать придется, если опять же дождешься. В общем, прибываю в назначенный час, как говорится, во всеоружии, а там в приемной уже весь наш министерский синклит во главе с начальником Генштаба сидят, тоже пальца в рот не клади, своего случая упускать не собираются, каждый не одну собаку съел на наших тайнах мадридского двора. Приняли нас минута в минуту, на этом этаже время считать умсют. Встретил нас, на пару с нашим министром, тот самый деятель, можно сказать, третий человек в государстве, долго не размазывал, бросил вскользь насчет «угрозы социализму» и «происков реакции» и к делу. «Центральный Комитет, Политбюро и лично Генеральный секретарь партии поручают вам в течение месяца, — говорит, — ни днем больше, разработать план операции по оказанию дружеской помощи Чехословакии. Все смежные ведомства и организации с сегодняшнего дня в вашем распоряжении. Ровно через месяц, в это же время, прошу сюда с готовыми вариантами, секретность, как вы понимаете, полная. Все, можете идти».

Министр наш при этом только вытянулся, хотя сам в Политбюро состоял. С этим мы и вернулись к себе на Кирова. В темпе обменялись мнениями, поделили епархии и — по каби-

нетам. Мне досталась вся оперативная часть. И началась такая гонка, какой я в своей штабной жизни не упомяну: дома сутками не показывался, со смежников семь шкур снял, пристяжные мои с утра до ночи в мыле бегали, сам носом землю рыл, но в срок уложился. Ровно через месяц в том же самом кабинете докладывал об исполнении. Еще через неделю получил державное «добро», а по выполнении задания и вторую генеральскую звезду вместе с назначением начальником штаба того же округа, который задействовал операцию.

Округ в смысле продвижения считался в армии особенно надежным, отсюда уходили в отставку или по вертикали, перемещений обычно не было. Опекун мой так и сказал на прощанье: «Наверху указано к тебе присмотреться, на большую орбиту выходишь, Иван, маршальской звездой засветило, хотя далеко еще, но не забывай, чем выше взлет, тем больней падать, у тебя теперь, как у сапера: по сторонам земли нет, шаг вправо, шаг влево — и ложками не соберешь». По всем приметам, не миновать бы тому, так все поначалу складывалось, лови, Иван, свою удачу, сама в руки плывет!

Сама-то сама, только если ей не подействовать, она тоже особа капризная, может и в сторону своротить. Я по мере возможности и содействовал, работал за троих, глаз с прицела не спускал, ухо держал остро, в моем положении, хочешь не хочешь, вовремя не сгруппируешься, сметут. С хозяином тамошним накоротке сошелся, он в Политбюро вхож был. Чему-чему, а видам руководства старался соответствовать без дураков, на всю катушку. Но, сказано, человек полагает, а кто-то там выше нас располагает. Сорвалась моя судьба в одночасье с заданной орбиты и пошла по совсем другой траектории, а где я теперь причалю, один Бог знает. Уж больно крутенок вираж, да.

4

Жена все еще хлопчет у телефона. Да, матушка, побоговала в свой час, теперь, на старости лет, твой черед выгибаться. Жалко дурочку, при ее-то гордости да так вибрировать, пропади они пропадом, гости эти! Так и подмывает криком осадить: «Да пошли ты их, дармоедов, ко всем псам, одни посидим, вдвоем!»

Чуть не сорок лет у нас с ней позади, а все не притремся, все примериваемся: кто кого. Пора бы опамятоваться, укро-

тить норов, в наши годы каждый день, как подарок, сейчас не сталкиваемся, потом поздно будет. Чего нам нынче спешить, куда рваться, перед кем заискивать? Крыша над головой есть, по миру не ходим, никому не должны, чего еще надо. Сесть бы нам и впрямь сегодня повечеру вдвоем и посидеть между собой без постороннего гвалта. Вот именно, как в старину говаривали: рядом да ладком.

Сорок лет — срок достаточный, есть что вспомнить. Молодость хотя бы. Ведь была, мать, она у нас с тобой — молодость, была. Может, не краше, но и не плоше, чем у других, да. Помню, закруглял я тогда свою военную подготовку на курсах под Москвой. Курсы курсами, муштра муштрой, а природа брала свое, молодая дурь голову кружила, первая забота — в увольнительную сорваться, гульнуть по буфету, побаловать своего шершавого, благо раздолье в этом смысле было для нашего брата полное: ребят моего призыва война через одного повыбила, любой колченогий за танцора шел, а уж о здоровых не говорю, какой там бабы, малолетки табунами бегали.

Городишко сам громоздился деревянной рухлядью вокруг ремзавода и швейной фабрики, от них и жил с хлеба на квас при нашей команде вместо мужского подспорья. На все население две отдушины — расхристанный Дом культуры да городской парк — тоже не райские кущи, там мы и петушились, грудь колесом, посреди городского курятника. Углядел я ее в людской толчее сразу, уж больно она отличалась от местных крадь походкой и обликом: видно было — пришлая и скорее всего из Москвы, так потом и оказалось, но поначалу я даже подойти остерегался, не по плечу мне, решил, это деревце, не по чину, где мне — посконному рылу в калашный ряд, только издалека окусывался да сон потерял, такая порою тоска брала, что хоть давись или стреляйся.

Попробовал было вином залить, не вышло, только пуще разбередило. Не знаю, чем бы это все для меня кончилось, но, видно, по этой части женский пол куда умнее нас — мужиков, как-то на танцах она сама ко мне подошла: «Слышите, — говорит, — объявляли, девушки приглашают, дамский танец». И понеслась, как говорится, душа в рай, только пятки сверкают: «Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок». После танцев я провожал ее домой. По дороге само по себе объяснилось, что попала она сюда после пединститута по распределению, что в Москве у нее отец, в газете работает, а матери нет, еще до войны от них ушла, и что долго ей

тут не задержаться, за нее в министерстве по отцовской линии хлопочут.

Я же на радостях только хвост распускал, травил ей бывальщины-небылицы про дом, про фронт, про свои армейские успехи. О пастушестве своем, о своих коридорах-институтах смолчал, отпугнуть боялся. Провожались мы с ней тогда чуть не до утра, а после, дальше-больше, пошло-поехало, одним тем и жил, от встречи до встречи, выпивку по боку, разные письма-фотки «люби меня, как я тебя» в печку, планида моя крутым заходом на женитьбу поворачивала. Друзья-приятели посмеивались, мол, добер хомут, легко ли носить будет, а я, знай, отмахивался: не вам носить, не вам печалиться.

Когда дошло до дела, повезла она меня в Москву — к отцу на смотрины. И хоть звался мой будущий тестек, громко сказано, прессой, жил на семнадцати метрах в коммунальном клоповнике на шесть семей, одна невидаль — книжек много. Правда, и прессой он оказался без фамилии, и газетка его доброго слова не стоила, простынка ведомственная, но форсу ему было не занимать, гонором на писателя вытягивал. Встретил он молодых не шибко по-родственному, посмотрел на меня тяжелым глазом и спрашивает: «И где же вы, товарищ капитан, с молодой женой жить собираетесь?» — «Да вот, — отвечаю, — закончу переподготовку — получу назначение, наше дело солдатское, куда прикажут, туда и поеду». — «Ушлют вас, — говорит, — к черту на кулички, что там делать молодой женщине с высшим образованием?» — «Дальше границы, — говорю, — никуда не ушлют, а учителя у нас в стране везде требуются». Он к ней: «Ты хорошо подумала?» В ответ она только острыми плечиками пожалала, какой, мол, разговор. «Что ж, — вздыхает, — вам жить». На том и расстались, а за воротами она ко мне с утешением: «Ты его по внешнему виду не суди, это у него поза, защитный покров, а на самом деле он человек очень добрый, у него только после истории с мамой к русским предубеждение». — «Как это к русским, — захлебнулся я, — а он кто, а ты?» — «По отцу, — смеется, — еврейка, по матери — русская, что — не ожидал?» — «Это мне без разницы, — говорю, — сама знаешь, только чем же русские ему не угодили?» — «Он считает, что у вас нет семейных традиций». — «Хорошенькое дело, — думаю, — не знаешь, где врага наживешь».

Но врагом моим тесть не стал, мужиком оказался по всем статьям правильным и потом, когда, хоть и коротко, пришлось ему хлебнуть тюремного лиха, всякое выдержал, не сломался,

вернулся домой век доживать с чистой совестью. Свадьбу мы сыграли наскоро, в вокзальном ресторане, я к тому времени уже назначение в Среднюю Азию получил. Собрались все, кто в загсе был: отец жены, ее подруга с мужем, тоже военным, из слушателей академии, и мой приятель по курсам с подругой. С ними и посидели до второго звонка без особой гульбы, по-семейному, я уж потом в вагоне с попутчиками добирал, благо до места почти пять суток езды оставалось.

Только когда я по приезде прочухался, взяла меня черная оторопь: мать моя мамочка, куда ж тебя нелегкая занесла, Иван Никанорыч! Полсотни жилых ящичков, будто спичечные коробки плашмя по квадратам расставлены в петле из колючей проволоки, а кругом пески, сколько хватает глаз, и ни деревца, ни травинки. Вода привозная, все прочее — тоже. Ветра держались неделями, отчего песок забивался везде: в еду, в белье, в волосы, даже, казалось, в самую кожу. Жарища летом вызванивала такая, что не то чтобы двигаться — лежать пластом не вмоготу делалось, а от бесснежных холодов тоскливо щемило сердце.

Народ дичал от всего этого, вызверялся друг на дружку по делу и без дела, пил что под руку попадет, одеколон за марочный напиток шел, и не было видно тому ни дня, ни просвета. Затянуло меня в этот мутный омут вместе со всеми, допивался я, бывало, до зеленых чертей, лютовал с подчиненными, но все равно не облегчало, только пуше наливалась душа чугунной тяжестью. Моя принялась было с местным женсоставом культу-работу наладить, да скоро отступилась: бабам здешним не до песен оказалось, семью обиходить бы, мужики на глазах от рук отбивались. День за днем, гляжу, жена места себе не находит, изводится молчком с утра до вечера, а ночью не подступись, стынет ледышкой, сна ни в одном глазу, о чем думает, спроси попробуй.

Но, видно, самой нестерпелее стало, просыпалась как-то за ужином: «Не могу больше, Иван, какие мои годы, долго я здесь не выдержу, повешусь, отпусти домой, дай оглядеться, время лечит». Чувал я и раньше, что этим кончится, однако слова ее мне, как удар под дых, прихлись, пригнула она меня к земле мимоходом, но вида не подаю, держу характер. «Я не пастух, ты не скотина, — говорю, — вольному воля, я тебя силком под венец не тасил». На том и порешили. Проводил я ее на поезд, а сам в первую забегаловку, откуда меня потом комендатура на руках выносила, отделался, правда, легким испугом, нагоняем в приказе и строгачом по партийной линии, кто в этой

дыре у них не куролесил, привыкли, но тоски так и не унял, грызла она меня лютым поедом, не отступалась от меня ни днем, ни ночью. «Вот и вся любовь, — думал я, — не твоего, видно, поля ягода, Настасья бы не сбежала!»

Но катилось время ленивой катушкой, день-ночь, сутки прочь и все, как близнята — на одно лицо: казарма, столовая, койка, а с утра по новой. Жил, будто во сне: ты меня видишь, я тебя нет, тянул строевую лямку, кружил, как заведенный, на одном месте, за часами не следил, суток не подсчитывал, что завтра случится, не гадал. Тащил я себя по земле, словно ящерица или змея с опавшей кожей голым мясом сквозь саксаульные заросли. Не знаю, чем бы все это у меня кончилось, может, спился бы или с ума сошел, только пригребаю я как-то с учений к себе, открываю дверь, сидит моя законная на своем месте за столом, а стол от московской закуски ломится. «Извини, — смсется, — без телеграммы, сюрприз тебе сделать хотела». Я от такого оборота поперхнуться не успеваю, а она мне: «Собирайся, — говорит, — Воробьев, в столицу, на днях вызовут». — «Кто, — спрашиваю, — вызовет, кто обо мне соскучился?» — «Министерство, — не унимается, — в распоряжение отдела кадров поедешь?» — «Не тяни, — подступаю, — рассказывай, чьими молитвами?» — «А моими, — обнимает она меня, — моими, Ваня, да еще мужа моей подруги, помнишь, она у нас на свадьбе угощались, он теперь в папаше ходит, кадрами в министерстве занимается. Встретила я, — рассказывает, — подругу в Москве, спасай, прошу, тоном, она меня и свела с мужем, а тот обещал».

Хоть и сомневался я, обещанного, слышно, три года ждут, мало ли чего наобещать можно, лишь бы от бабьих слез отвязаться, рад-радехонек, что вернулась, остальное приложится, но вышло по ее: недели через две и впрямь вызвали в округ, а оттуда в распоряжение министерства. Месяца не прошло, как справили мы новоселье в комнате ведомственного общежития почти в том же составе, что и на свадьбе, одного моего приятеля по курсам с подругой не было, На Дальний Восток услали. Судьбу мою гость наш, уже полковник, определил заранее: «Будешь в отделе у меня пока бумажки с места на место переключивать, а там посмотрим». Работенка мне досталась действительно не бей лежачего: телефонные звонки да входящие с исходящими, отсиживал свои восемь с перерывом на обед и — сам себе хозяин, редко когда чепе баламутило, но и тогда ко мне это шло по касательной.

Так и прокантовался я дуриком до того застолья, где с

комдивом моим фронтовым лицом к лицу сошелся, а уже на другой день полковник мой с утра меня огорошил: «Есть указание, — говорит, — двигать тебя в академию, садись-ка, — говорит, — Иван Никанорыч, за учебники, долби гранит науки, на тебя у начальства виды, видно, в рубашке родился, не забывай нас, малых сих, когда чины раздавать начнешь». Дорого мне эта наука далась, не один пот с меня сошел, не одна шкура слезла, пока добрался до выпуска. По чести сказать, если бы не жена, не одолеть бы мне этой каторги с моим сиротским образованием.

Закончилось бы как у Чапаева: кровь сдал, кал сдал, мочу тоже, а математику не приняли. Жена меня в те годы будто из ничего вылепила заново, и пошел я с ее легкой руки по земле уже не слугой — хозяином. Открылся мне в том пути винтовой подъем под медные трубы, а что не состоялось, не ее вина, так судьба распорядилась. Много у нас с ней было за общий век всякого и вместе, и по отдельности, пускай попеняют, а у кого не было, но сделались мы с ней за эти годы одной-единой сутью, какую уже не развести и не разделить... Голос жены в коридоре вдруг глухо срывается, я слышу торопливые шаги, все ближе, ближе, а затем отрывистый стук в дверь: «Ваня, тебя... Наталья». Сердце опадает во мне ватной слабостью: «Наконец-то».

5

Трубка, будто живая, пытается выскользнуть у меня из рук. «Да, да, — почти кричу я, — слушаю!» — «Папа, это ты? — сквозь шум и треск тысячеверстной дали тоненько пробивается ко мне. — Здравствуй, пап!.. Поздравляю тебя с днем рождения! Как живешь?» С утра я ждал этого звонка, а вот сейчас, когда наконец его дождался, слова у меня не склеиваются по порядку, налипают одно на другое, забивают глотку. «Спасибо... Здравствуй... Здравствуй, говорю... Думал, забудешь! Спасибо... Как ты там?»

Слова перекрещиваются в пути, торопятся, как бильiardные шары, сталкиваются друг с другом, чтобы затем разлететься в разные стороны. Сбивчиво спешим поговорить о разных разностях, больше о житейском: здоровье, погоде, семье. О другом — главном, заветном, выношенном — не хочется. Знаю, что к нашему разговору уже прикипели чужие уши, ждут, стерегут, вылавливают желанную им крамолу для своих сыскных нужд. Нет, господа хорошие, не дождетесь.

Иван Воробьев тоже не лаптем щи уминает, вашим премудростям давно обучен, не будет вам тут поживы! У меня, по совести, и нужды не было вызывать ее на особые откровенности, мне доставало и того, что я говорю с ней, просто так, без всякого умысла. Я слышал ее, знал, что жива-здоровая, чего мне еще хотеть оставалось?

После смерти матери она сделалась единственным побегом моего кровного дерева, способным удержать на земле память о корневище, которое его породило. Наверное, поэтому и тряса я над ней с ее первого дня, как квочка над последним цыпленком. Росла она трудно, с детскими хворями, с долгим плачем, особенно по ночам, мать свою выматывала вконец, до точки. Тогда-то и приспособился я возле нее вместо няньки: укачивал ее среди ночи, стишков всяких, песенок по такому случаю тьму выучил, с ложечки поил-кормил, часом постирушкой не брезговал, хотя уже щеголял в полковничьей папаше. Жили мы к тому времени просторно, в безбедном достатке, отказа она ни в чем не знала, видно, от того характером не приведи Бог, чуть что не по ней — в слезы. Все на лету схватывала, когда хотела, любого могла приручить, а уж взглянет, о таких сказано, рублем подарит, гулять с ней ходили — пол-улицы оборачивалось.

По правде говоря, ею одной и жил те годы, большего света у меня не было. Если случались по службе какие неурядицы, стоило мне вспомнить про нее, как рукой снимало: гори оно все синим пламенем, не так страшен черт! Не заметил, куда годы осыпались, гляжу, а девка моя уже невеста на выданье, охотники вокруг косяками крейсируют, норовят на буксир зацепить.

Я и сам чуял: вот-вот приведет. Так в свой час и случилось: привела. Лоб объявился чуть не двух метров росту, волос светлый со ржавчинкой, глаз веселой наглечей поблескивает. «Разрешите представиться, — тянет он мне просторную лапу. — Островский, Игорь Александрович, учусь на волшебника, специализируюсь по части зубных протезов, хобби — шахматы, второй разряд». За столом он держался гоголем, словно всю жизнь у одних генералов гащивал, пил наравне со мной, но ни в одном глазу, сидел, пошучивал, похохатывал, а она — единокровная моя — глаз с него не спускала, ловила каждое его слово, будто манну небесную, и лишь тут окончательно до меня дошло: отзвенел мой отцовский праздник, и дочь моя уже отрезанный ломоть!

И такая меня при этом тоска одолела, что не выдержал я,

отпустил вожжи, а наутро жена ко мне с подначкой: «Везет тебе, Иван, на пятый пункт, сначала я осчастливила, теперь жених с прожидью». — «А мне что? — отвечаю. — Ей жить». — «Смотри, — говорит, — Иван, сейчас это не модно». — «Модно — не модно, — отмахиваюсь, — ей бы хорошо было, а нам с тобой о душе пора думать». В общем-то, шелестело вокруг на этот счет, дружно шелестело, только меня от роду не допекало, кто какой нации, людей по делам судил — хорош или плох, оттого и в войну про Ташкент не принимал, в том Ташкенте русских сачков куда больше слонялось. Конечно, от разговоров не укроешься, охотников поязвить много найдется, да на мне где сядешь, там и слезешь, язви себе на здоровье, пока рога не обломаю, а возможности к тому у меня всегда отыщутся, власть мне дадена, и немалая, сам не сумею, пособят, завязок мне наверху не занимать, как говорят, не первый год замужем.

Свадьбу мы им сыграли барскую, я тогда уже на округе сидел, мог себе много чего позволить. Недельку гуляли, местный иконостас в полном составе отметился, полгорода перебивало. Жизнь молодым я оборудовал по первому классу: квартиру двухкомнатную, хоть и в новостройке, но схлопотал сразу, телефона в районе не было, саперную роту пригнал, спецлинию провели, по стране на военных самолетах курсировали, а тут еще они мне и внука спроворили, чего еще желать, живи — не хочу! На службе у меня тоже разгон шел на скоростях, возврат в Москву на глазах вытанцовывался, с номенклатурным повышением, можно сказать, судьба в самый зенит поднялась. Только судьба — она, известно, индейка, сегодня в князи, завтра в грязи, пересеклась моя дорога крутым обрывом на ровном месте.

Является как-то ко мне зятек мой без обычных своих шуточек-прибауточек, озорной хохоток в сторону, тише воды, ниже травы. «У меня к вам мужской разговор, Иван Никанорович, — он меня отцом так и не назвал ни разу, — разрешите?» — «Поцапались, — думаю, — ну да милые ругаются — только тешатся, перемелется». — «Выкладывай, говорю, — что стряслось». Тут он меня и пригнул к полу: «Подаю документы на выезд, всей семьей». — «Куда это ты собрался, — складываю первое, что приходит в голову, лишь бы из себя жаркий воздух вытолкнуть, — чего ты там позабыл?» — «На историческую родину, — отвечает, — а чего забыл, хочу вспомнить». Ей-Богу, не о себе я в тот час жалел, в конце концов, черт с ней — с карьерой, всех звезд не соберешь и в могилу с собой не захватишь, дочь жалко было, внука, к кото-

рому по-стариковски успел привадиться, как я без них буду, к чему мне тогда и звезды те! «Скажи, чего тебе не хватает? — взвиваюсь я, себя не помня. — Работа не по нраву, другую найдем, лучшую, машину новую хочешь, завтра на дом доставят, мир посмотреть, поезжай в любое время, зачем тебе совсем-то туда, а?»

А он мне еще тише: «Не хочу по особой милости, Иван Никанорыч, хочу по праву, на равных». Я нутром почуял, с таким упором человека не переупрямишь, отступился. «Ладно, — говорю, — ты сам себе хозяин, но дочери я отпускной не дам, так и знай». — «Это дело вашей совести, Иван Никанорыч, — подался он за дверь. — Но мы, уверяю вас, и это преодолеем». Не успел я его спровадить, ко мне жена с тем же.

Видно, загодя сговорились. «Дочь у нас с тобой одна, Иван, перегнем — совсем сломается». — «Так что же ты хочешь, — ору, — чтобы я на ней и на себе крест поставил?» — «Не знаю, Иван, не знаю, давай подумаем, сам говоришь, нам доживать осталось, а ей — жить». Смотрю на нее и как бы заново узнаю, хоть и держит она себя в порядке, а годы свое берут: время по ней будто легкой паутиной мазнуло, одни глаза те же остались — зеленые, с дремотцей внутри. «Э, матушка, — резануло меня по живому, — похоже, и впрямь укатили нас с тобой наши горки, все прошло, как с белых яблонь дым, нам бы на покой теперь».

Но решения своего не переменял: пускай в одиночку сматывается, перебьемся. Первого знака долго ждать не пришлось.

Недели через две, сижу у себя в штабе, заглядывает в кабинет начпур, идеолог наш, из тех, кто мягко стелет, да жестко спит и на тихих лапках ко мне: «Ну, как жизнь молодая, Иван Никанорыч, все ли выходит?»

Но я тоже не пальцем сделанный. «Выходит, — срезаю, — хорошо, входит плохо, говори прямо, комиссар, с чем пожаловал?» У того даже очки от обиды вспотели. «К тебе по-товарищески, а ты в бутылку, я в отпуску был, всякое могло стрястись, вот и захожу ко всем по очереди потолковать, если не в настроении, в следующий раз зайду». И пушистым колобком на выход.

Знал я его лисьи повадки, без крайней надобности никогда не зайдет, а уж если зашел, держи ухо востро, жди какой-нибудь каверзы. Потом, спустя время, местный хозяин позволил, тоже без особой нужды, опять про здоровье, про семью, про службу, про то да се, ничего определенного, только в конце приоткрылся: «Бывай, казак, не журысь, в случае чего, обра-

щайся, поможем». Легко сказать, поможем, а чем они могли мне помочь, засадить, что ли, его, сукина сына, или ее из института выгнать, а зачем мне, спроси их, зять-уголовник и дочь-тунеядка?

Дома хоть не появляйся — на погосте веселей. Дочь глаз не кажет, даже по телефону, когда сам звоню, молчит, плачет в трубку по-ребячьи, меня от этого, словно голой шкурой по наждаку, так больно. И хотя про себя полагал еще, что пройдет у нсе, молодость свое возьмет, бабьи слезы коротки, на душе у меня кошки скребли: что-то с ней будет?

Потом слышу, свалил за бугор зятек мой, тут, надо полагать, мои чиновные приятели расстарались, чтобы шуму лишнего не вызывать. Вздохнул я было от облегчения, но, оказалось, рано расслабился, катавасия моя только главный разбег взяла. В одночасье вызывает меня командующий, крутой был дядек. Царствие, как говорят, ему Небесное, ростом с Петра Великого и поперек себя ширше, протягивает мне пачку радиоперехвата, а глаза в сторону отводит: «На вот, изучи на досуге, после обсудим, какой оборот делу дать».

Сел я у себя, полистал сообщения и поперхнулся: Господи, мать моя Троеручица, от фамилии моей в глазах пестрит, это зятем по всем «голосам» о нашей семье распространяется. Все в подробностях: и биография моя, и чин, и должность, и виды на будущее, а в заключение, по обыкновению, призыв ко всем, будь они не ладны, людям доброй воли, помочь ему воссоединиться с женой и сыном. Положение складывалось хуже губернаторского, куда ни кинь — всюду клин: опровергать — себе дороже, сдать — засмеют и на покой выставят, смолчать, как руководство посмотрит. Я опять к командующему, теперь без вызова: «Что делать?» — «Пока молчи, — приказывает, — а там видно будет».

Молчать-то я молчал, но вокруг меня, как началось, так и не утихало, видно, вражьем пропагандой никто не брезговал: шепотки, разговоры, ухмылочки искоса, занялась подо мной земля, когда остынет? Раньше я в этих «голосах» даром не нуждался, не слушал их никогда и ни в каком разе, загодя знал — брехня одна, голая антисоветчина, все не переслушаешь, а тут поневоле пристрастился: домой со службы приеду и сразу за «грюндиг», накручиваю волны на все стороны. Чуть не каждый вечер зятка своего вылавливал, заливался он соловьем по разным станциям, чистил нашу власть советскую во все корки, требовал отпустить к нему семью.

Хоть и клял я его на чем свет стоит, а в душе за дочь

радовался: значит, не стрекозел какой-нибудь ей в мужья подвернулся, любит, выходит, не забыл на чужой стороне, на мамзелей тамошних не польстился. Дальше — больше, в разговорах вокруг почти при мне не стесняются, на людях в мою сторону чуть не пальцем показывают, в берегах еле держусь, но, говорят же, пришла беда — отворяй ворота, обвалилась на меня по тем же «голосам» новая ноша: слышу, объявила моя дочь сухую голодовку, тоже добивается выезда.

Ясно стало: заодно действуют, а что мне по такому случаю делать, ума не приложу, не хватало нам только в семье диссидентов. День жена молча выходила, второй, на третий, за ужином, прорвало: «Если с Натальей что случится, мне с тобой под одной крышей не выжить, Иван». Я и сам чую, край наступил, долго не выдержу, сорвусь, костей тогда не соберем, решать нужно: или — или. Утром, едва у себя на службе порог переступил, звонок: ласково эдак просят срочно явиться в высшие инстанции. Одна нога здесь, другая — там, хозяин на меня даже глаз не поднял. «Дочь, — отрубил, — уедет, подавай в отставку, выстоишь — за партией не останется. Все, не задерживаю».

С тем и объявился я затем у дочери, вошел, окликнул было тихонько, но тут же осекся. Лежала она на тахте, свернувшись калачиком, лицом к стене, видна была только часть щеки с налипшей на ней каштановой прядью. На голос мой не откликнулась, лишь вяло острым, в мать, плечом повела: не надо, мол, устала. Стоял я над ней и не видел в ту минуту ничего, кроме этой вот мокрой пряди на меловой щеке, и душа моя медленно выворачивалась наизнанку: да провались она, служба эта, вместе с генеральскими звездами и маршальским кителем в преисподнюю, видел я канитель эту в гробу, в белых тапочках, вот она, рядом со мной — награда моя единственная, и нет такого соблазна на земле, чтобы мог заставить меня от нее отказаться!

Вернулся домой, вызвонил командующего и сложил, как отрезал: «Подаю на пенсию». И так мне вдруг полегчало на сердце, так осветило кругом, что не усидел я на месте, переоделся в штатское и вдарил по городу вольной птицей, куда глаза глядят, без казенной узды, на своих двоих. Долго кружил по улицам, удивлялся, не один год жил здесь, а города толком так и не видел: все походя, все мимоездом, пока уже под вечер не услышал у себя за спиной чью-то короткую скороговорку: «Чтой-то стало холодать, отец, может, скинемся по лысенькому на мерзавчика?»

Оборачиваюсь, пристроился за мной парень не парень, мужик не мужик, так, серединка на половинку, тощее лицо гармошкой, вроде жеваной рублевки, щерится щербатым ртом, заискивает: «Может, обознался, тогда извиняюсь, а то вижу, солидный человек один скучает, дай, думаю, предложу компанию». Хотел было я отмахнуться, да вдруг спохватился: да что в самом деле всю жизнь в узде ходить, почему не расслабиться по-человечески? «Давай, — достаю деньги, — ноги в руки, мерзавчиком не мелочись, бери полбанки и загрызть не забудь, я тебя здесь подожду». Обернулся он, словно на ковре-самолете, провалью осклабился, подмигнул: «У меня тут налажено, по депутатскому разряду обслуживают». — «Где пить-то будем, прямо здесь, что ли?» — «Можно и здесь, вон на лавочке во дворе, никому не заказано, а можно и ко мне нырнуть, я тут при доме и за истопника, и за дворника, в котельной и живу, тепло, светло и мухи не кусают, если не побрезгуешь, конечно».

В котельной у него оказалось и впрямь опрятно и сухо. К гостям хозяину, заметно, было не привыкать, закуску из купленных сырков и подручной луковицы он оборудовал в два счета, разлил по-снайперски, после первой полюбопытствовал: «Ты, видать, отец, не здешний, я тебя в наших краях раньше не видал?» — «Да так, случайно завернул». — «По одежде судить — начальник?» — «Какой там! На пенсии». — «Значит, пенсия не бедная». — «Хватает». — «Я и гляжу». — «А ты, видно, насчет выпить на промах?» — «По мне, с утра выпьешь — цельный день свободный. И богат, и лохмат». О себе, слово за слово, выложил, что сам из деревни, остался в городе после армии, устроился по лимиту, благо на черную работу нынче местного днем с огнем не сыщешь. Сообразили еще одну, потом еще, дальше не считали, а когда закружилась явь цветной каруселью, само собой у нас с ним сложилось: «Как в саду при долине громко пел соловей, а я, мальчик, на чужбине позабыт среди людей...»

Не было тогда, в той домово́й котельной на городской окраине, ни генерала, ни истопника-дворника, тянули там на два голоса свою нутряную тоску два деревенских мужика, затерянных в огромном и чужом для них мире. «Вот умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могила моя. И никто не узнает, и никто не придет, только раннею весною соловей пропоет...» Много певал я и до этого, и потом, но вот так, в таком полном согласии, больше не доводилось. С того вечера все в моей жизни завязалось как бы заново, и живу я теперь от

одного письма до другого, от одного телефонного звонка до следующего, на завтра не загадываю, всякое может быть. «Алло, папа, ты слышишь меня? — прорывается ко мне сквозь версты и версты. — Слышишь?» — «Слышу, слышу, — заворуженно откликаюсь я, — говори». — «Я люблю тебя, папа, береги себя».

В трубке раздается короткий щелчок, и пространство в ней умолкает. Я кладу ее на рычаг: «Накрывай, мать, ужинать».

6

После ее звонков и писем я подолгу не могу успокоиться. Не так уж и далеко он — этот Израиль, по прямой не дальше нашего Свердловска, а кажется, за тридевять земель или вовсе на другой планете.

Если смотреть по карте — тощенькая полоска земли, прижатая к морю, но не этим она живет во мне, а тем, что дышат там и ходят по ней моя дочь и мой внук нашего воробьевского роду. Скажи мне еще недавно, что у меня родственники в Иерусалиме окажутся, в толк бы не взял, а теперь вот только успеваю писать и отзванивать. По бывшей моей должности я знал об этой земле немало: климат, рельеф местности, стратегические объекты, людские ресурсы и военные возможности могу изложить на память. По боевым качествам им среди нынешних армий давно равных нет.

Я себе в своей чехословацкой операции их Шестидневную войну за образец положил, только мне пришлось играть в одни ворота, а они на равных, даже с минусом в численности. Понятное дело, дрались и за страх, и за совесть: своя земля и собственная жизнь на кону стояла. Как у нас в сорок первом было, знали: или Гитлер нас, или мы его, добром не разойтись, вот и шли на пулеметы с голыми штыками: «За Родину! За Сталина!», не к ночи будет помянуто! Разобраться бы нашему брату, за что, за какие-такие волшебные коврижки мы теперь животы надрываем?

Все белый свет уму-разуму учим, все помогаем в борьбе, все братскую руку дружбы протягиваем. А спросить бы сначала себя, а нужна ли она кому, эта рука наша братская? Может, от этой руки кой у кого уже кости трещат и ноги подламываются? Помню, в шестьдесят восьмом в Праге уговорил меня один наш посольский чин в городе за бутылочкой посидеть. «Есть, — пообещал, — одно занятное местечко, «У маркиза»

называется, сервис на высшем уровне и к нам — к русским — с полным почтением».

Завернули, устроились, смотрю, и в самом деле, место подходящее: заведение небольшое, человек на двадцать, в старинном дереве с бронзовой подсветкой по стенам, тихая музыка, обслуживание, как в кино, хозяин к нам со всем расположением: хлопочет около нас, смазанным пробором поблескивает, лошадиными зубами поигрывает, не знает, чем угодить. «Вот, — отогреваюсь, — выходит, не все к нам с вилами, есть кто с песнями, значит, не зря старался генерал Воробьев». Засиделись мы за полночь, расставались, расстаться не могли, чаевые я такие отвалил, что он нам до самой двери кланялся, но уже на пороге обернулся я ненароком, и тут будто кипятком меня ошпарило: стоял позади меня хозяин с моими чаевыми в кулаке, и такая из него злоба клубилась мне в спину, что, думаю, был бы у него в руках автомат, прошелся бы он по мне косою очередью до самого последнего патрона.

Долго мне потом эта его лютость мерещилась. А сколько ее — такой лютости — к нам со всех сторон света тянется, не захлебнуться бы нам в ней в одночасье. Жаль, не дожид до этой поры старый учитель мой по академии, пришел бы я к нему сейчас и спросил: «Ради какой России переступили вы через присягу, лили братскую кровь на гражданской, гибли потом и в боях, и в подвалах пыточных и доживали свой век на генеральских пенсиях?»

Ради вот этой, где черный люд забыл, когда хлеба ел досыта, где человек на ночь не ведает, проснется ли утром у себя дома, где сивушная лжа не только душу — землю проела и что перестоявшей квашней расплзается во все концы земли, разъедает все сущее на ней своим страхом и собственной нищетой?» Если так — то лучше ей не быть вовсе — такой России. Встряхнуться бы нам всем миром, встать с карачек и осадить себя, пока не поздно: хватит! «Ишь ты, как поумнел, — казнюсь я. — О чем же ты раньше думал, когда на коне красовался, на обочине все умники». И то правда. Ведь сколько нас, таких воробьевых, на разных командирских насестах кукарекает. И каждому без очков видно: не туда гребем, не по себе ношу взвалили, вот-вот надорвемся, а тогда конец — со святыми упокой, никто, никакой Бог не спасет.

Сговорились бы мы да и прикрыли эту лавочку, я со своим округом и то мог бы, но нет, ни один не спохватится, голоса, словно заведенные в ту же дуду: вперед, заре навстречу! И я голосил, а как иначе, сорвешь голос или смолкнешь, заклюют,

такой задан порядок. «Ну, а если, чем черт не шутит, позовут снова, — поддразниваю я себя, — взойдешь, Иван Никанорыч, не отступишься?» Позвать, знаю, не позовут, в такой речке дважды не окунешься, но, уверен, стрясись чудо, вожжей бы не упустил, повернул бы телегу на ровный большак. «Бодливой корове Бог рогов не дает, — посмеиваюсь я над собой. — Если бы да кабы, грибов бы завалилось стало».

И снова из коридора, следом за телефонной трелью, я слышу жену: «Иван, тебя!» — «Опять с поздравлениями, — с неохотой беру я телефонную трубку, — надоело». Но голос оттуда заставляет меня мгновенно сгруппироваться. «Здравствуй, друже, — по легкому украинскому акценту с барственными переливами я сразу узнаю местного босса, — чого глаз не кажешь, не гоже старых друзей забувать». — «Мне теперь, — осторожно отшучиваюсь, — и до Бога ближе, чем до тебя». — «У нас, сам знаешь, — не унимается тот, — сегодня я тобой команду, завтра ты мной погоняешь, слушай меня в оба уха, Иван Никанорыч, командующий наш долго жить приказал, заступай на его место, с Москвой согласовано».

В ответ я долго ничего не могу сложить, только жадно глотаю раскалившийся вдруг воздух. «Бери свое, пока не поздно, Иван, — перекачивается в трубке, — завтра в десять ноль-ноль ко мне. Бывай».

Я было выталкиваю из себя первые сложившиеся во мне слова, но тут же просыпаюсь: жена легонько трясет меня за плечо. «Хватит спать, именинник, — посмеивается она, — гости собрались, ждут». Я встаю и покорно иду за ней, а в голове у меня, будто пластинка заезженная крутится: «Пока не поздно... Пока не поздно... Пока не поздно...» Но звук этот вдруг обрывается жгучим и резким толчком в сердце: поздно, Иван, поздно, слишком поздно. Ничего уже не спасешь. И никого.

1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАГЛЯНУТЬ В БЕЗДНУ. Роман	7
<i>Глава первая.</i> Адмирал	7
<i>Глава вторая.</i> Егорычев	41
<i>Глава третья.</i> Она	54
<i>Глава четвертая.</i> Удальцов	75
<i>Глава пятая.</i> Бержерон	98
<i>Глава шестая.</i> Адмирал	107
<i>Глава седьмая.</i> Егорычев	148
<i>Глава восьмая.</i> Она	157
<i>Глава девятая.</i> Бержерон	178
<i>Глава десятая.</i> Удальцов	184
Вместо послесловия	211
КАК В САДУ ПРИ ДОЛИНЕ. Маленькая повесть	238

ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
МАКСИМОВ

Собрание сочинений

Том седьмой

Редактор *А. Пятковская*
Художественный редактор *И. Сайко*
Технический редактор *Г. Смирнова*
Корректор *И. Сахарук*

Подписано в печать 25.05.92. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная.
Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,28. Уч.-изд. л. 17,07.
Тираж 100 000 экз. Заказ 926.

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций. Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано с оригинал-макета на Ярославском полиграфкомбинате
Министерства печати и информации Российской Федерации.
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

